

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000024058854

Автор бестселлера
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»

Елена
Чиждова
Город,
написанный
по памяти

...В моем прекрасном,
в моем несчастном городе.
В моей семье...

*Елена
Чижова*
Город,
написанный
по памяти



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУВИНОЙ

Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44
Ч-59

Художественное оформление переплета и макет
Владимира Мачинского

На переплете — фрагмент фотографии
Michael Hummel

Чижова, Елена Семеновна.

Ч-59 Город, написанный по памяти / Елена Чижова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 315, [5] с. — (Проза Елены Чижовой).

ISBN 978-5-17-114492-0

Прозаик Елена Чижова — петербурженка в четвертом поколении; автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург, «самый прекрасный, таинственный, мистический город России», так или иначе (местом действия или одним из героев) присутствует в каждой книге писателя.

«Город, написанный по памяти» — роман-расследование, где Петербург становится городом памяти — личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-полукровка, которая «травит романы» дворовым друзьям на чердаке, — четыре поколения, хранящие память о событиях XX века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжелое послевоенное время.

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114492-0

© Чижова Е.С.
© ООО «Издательство АСТ»

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы перед тем, как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок.

Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан»

С истиной спорить можно. С памятью — нет.

*Из фрагментов рукописи,
не вошедших в основной текст*

Раньше я знала, она бывает. В сказке — про царевну, про мальчика-с-пальчика, в яйце, в ларце, в сундуке, под златом, над которым *кощейбессмертный* чахнет. Или в слове, если скажут: умер, и лицо говорящего затуманится как зеркало, когда на него надышишь.

Однажды, проснувшись среди ночи, я осознала: она есть.

Там, за ширмой, отгораживающей мою кровать от комнаты.

Она — ничто. Не похожа ни на что, у нее ни знака ни образа, ни рук ни ног, ни глаз, которыми она на меня смотрит, ни ушей, которыми она слышит.

Но она стоит.

Замерев — на кончике иглы, в яйце немого безъязыкого страха, — я ждала: сейчас она сдвинет створку, и теплая темнота моей жизни обернется крошечной тьмой.

Я и теперь не знаю, что заставило ее дрогнуть, но она дрогнула, замутнилась, точно хрусталик под старческой

катарактой, напоследок дав мне понять: ужас не в том, что я исчезну, а в том, что растворюсь. Позабуду себя, родителей, бабушку...

Так осознавал смерть древний человек — душа без остатка растворяется в тотеме, совокупной душе его рода-племени. Много лет спустя я прочту об этом в книге, обнаруженной в чьей-то домашней библиотеке. Но той ночью — вглядываясь во тьму широко открытыми, остановившимися глазами, — я задумала ее посрамить.

С этих пор — со страстью, с какой средневековые скупцы копили свои динарии, гроши и талеры, — я собирала слитки памяти, стараясь запомнить все, что видела и слышала. То, что, в отличие от звонких монет, они не имеют свободного хождения, меня нисколько не смущало. Я и не собиралась пускать их в оборот. Мне хватало и моих сундуков, чтобы, время от времени запуская в них пальцы, убеждаться: они, мои слитки, здесь.

Пройдет немало лет прежде чем, решившись их отчеканить, я пойму, что наряду с благородным металлом в них присутствует неустраняемая примесь моей и чужой беспамятности, опасливой недоговоренности, а то и преднамеренной, хотя и объяснимой, лжи.

Пойму, но не смирюсь.

Смерть — беспамятство. Чем глубже становится моя память, тем мутнее я вижу смерть. Похоже, я имею дело с ее заместителями. Порой она видится мне долгожданным отдыхом. Иногда — сном. Временами во мне крепнет надежда на посмертную встречу с теми, кто ушел прежде меня...

Но все эти взрослые соображения меркнут перед лицом настоящей смерти, чью близость я однажды пережила.

Смерть, где твое жало?

Год за годом задаваясь этим неотвратимо-мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не дога-

далась: оно здесь — в моей бедной, в моей загубленной стране.

В моем прекрасном, в моем несчастном городе. В моей семье.

Так сложилось ходом истории — общей, семейной, личной.

За этим триединством мерещится отсылка к трем аристотелевым правилам. В сущности, мнимая. Из трех классических единств на долю моего города осталось два: места и действия — эта трагическая пьеса имеет один главный сюжет. Что касается времени, его течение столько раз нарушалось, что ни о каком единстве и говорить не приходится.

Разве что в тех, впрочем, нередких случаях, когда события чьей-нибудь жизни наводят на мысль о повторении — того, что было прервано. А поскольку прерванного не восстановишь, остается только надеяться, что от прошлого — теней, лежащих на моей жизни, — я сумею как-нибудь отделаться. Одним словом, избыть.

Другой вопрос: как?

Однажды, путешествуя по Италии, я наткнулась на римскую крепость, разрушенную еще в древности, но в наши дни поднятую из руин. Эти подлинные руины-обломки реставраторы не заложили камнями — напротив, окружили их новой кладкой.

Обломки, на которые я могу *положиться*: несколько семейных фотографий; бабушкины слова, застрявшие в моей детской памяти; мамины рассказы — года три назад я записала их на пленку. Если не считать нескольких непреложных условий, образующих канву прошедшего века: революция, советская власть, война, блокада, — у меня больше ничего под рукой.

Все остальное — новодел. Плод разгулявшегося воображения и более-менее вольных интерпретаций. Окажись

на этом месте любой из моих родственников, наша семейная история могла бы предстать иной.

Не знаю, насколько меня это оправдывает. Скорее, не оправдывает вовсе. Пусть хотя бы послужит объяснением того, на что я потратила свою единственную, теперь уже иссякающую, жизнь.

Те, кто идут за мною, будут и мудрее, и дальновиднее. Я за них рада. И вправду, сколько можно кружить, вглядываясь в прошлое. Пора, пора отрясти его прах и двинуться дальше, строя новую жизнь без оглядки на то, чего давно нет. А быть может, и не было...

Например, войны — не той, о которой можно прочесть в любом учебнике истории: готовясь к очередному экзамену, освежить в памяти ее даты. Речь о другой войне, чью историю, вопреки расхожему мнению, пишут побежденные.

Победители не пишут, а творят; а потом слагают о ней мифы.

Но дело не только в лживых мифах (в конце концов, на то и существует историческая память — если понимать ее не как мешок, набитый опорками стоптанного прошлого), а в том, что и нам, побежденным, случается впасть в соблазн: возомнить себя победителями. Надеюсь, меня он не коснется. А с другой стороны, чем только черт не шутит — особенно здешний черт.

Именно на этот случай: пока я — на пустом месте — не возомнила себя победителем, я обязана сделать важную оговорку: единственное, за что я по совести могу поручиться, — ширма, за которой *что-то* стоит.

Глава первая

I

Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград. Мне приходится делать над собой усилие, чтобы за этим названием расслышать имя Ленина, о существовании которого я узнала, когда имя города уже занимало отдельную клеточку моей памяти: сквозь ее прочную мембрану вождь мирового пролетариата так и не сумел просочиться. *Городленина* — привычное советское сочетание — осталось для меня посторонним звуком. На вопрос, где я родилась, я отвечаю: на Театральной площади. Что, строго говоря, не так.

На самом деле — на улице Маяковского в знаменитой Снегиревке. Причем незаконно. Или, скажем, противозаконно. Короче, я не имела права являться на свет. Дело в том, что мама болела туберкулезом (тогда его именовали противным мушиным словом: *тэбэце*). Но мушиным оно слышится мне. А в те годы оно звучало страшно. Как для нас, положим, онкология и другие смертельные болез-

ни, от которых, в принципе, вылечиться можно, и все-таки каждое выздоровление — чудо.

Теперь, когда эта зараза не то чтобы побеждена, но меньшей мере знает свое место, известно, что ее широчайшая распространенность была связана со скудным питанием, худой одеждой и обувью, теснотой и перенаселенностью коммуналок, а также общим уровнем фармакологии, когда в отсутствие эффективных лекарств туберкулезные больные пользовались экзотическими паллиативами, самый желанный из которых — барсучий жир. Считалось, что, принимая его перорально, можно «залить каверны». К этим экзотическим средствам маме прибегнуть не пришлось.

Спасло ее то, что первая — «открытая» — стадия заболевания совпала с появлением в советских больницах чудодейственного средства. Пенициллин. В сочетании с пневмотораксом плевральной полости, а говоря по-простому — поддуванием (эту во всех отношениях неприятную процедуру Томас Манн романтически описал в романе «Волшебная гора»), пенициллиновые инъекции давали поразительные результаты: в мамином случае каверны затянулись буквально месяца за три.

Во всем остальном эта история дает мало поводов для сравнения с «волшебной горой». Тут у нас свои *горы и горки*. Одна из них та, что года за два до болезни и примерно за год до знакомства с моим отцом мама успела выскокить замуж за некоего «Зарубаева». Беру его в кавычки потому, что мое отношение к этому (к счастью, третьестепенному) персонажу нашей семейной истории зиждется на одной весьма колоритной сценке: когда мама, говоря прямо, умирала, этот тип явился в больничную палату в компании неведомой шалавы, чтобы задать ей прямой вопрос: когда ты наконец сдохнешь? (Специально для любителей подобных вопросов: Бог — хоть верь в Него, хоть нет, — внимательно отслеживает такого рода инвективы,

при случае посылая их авторам *обратку*. Здесь я замолкаю, чтобы, в общих чертах зная дальнейшее течение событий, не впасть в рассуждения, не слишком благочестивые с точки зрения общепринятой морали. Тем более что тело со следами насильственной смерти, найденное в глубокой Сиверской канаве, говорит само за себя.)

В продолжение этой сценки мама лежала лицом к стене. Но вопреки пожеланию Зарубаева (тогда — официального супруга) не сдохла, а наоборот выздоровела. Точнее, ее болезнь перешла в «закрытую» фазу, безопасную для всех, кроме самого больного и, сильно забегая вперед, будущей меня.

До болезни мама работала кассиршей в угловой булочной на Театральной площади, что, в сравнении с прежними записями в ее трудовой книжке, можно назвать карьерным достижением, поскольку начинала она продавцом. Не знаю, как обстоит с этим в наши дни, но в начале пятидесятых к «учебе на продавца» подходили серьезно. Прежде чем встать за прилавок, полагалось пройти годичное обучение на специальных курсах, носивших гордое название «Школа торгового ученичества» — на мой вкус отдающее легким безумием. Равно как и перечень предметов на ее «Молочно-мясном и колбасном факультете»: ладно бы всякие мясо-молочно-колбасные премудрости, но за каким чертом мучить торговое ученичество историей КПСС и политэкономией?..

— Как за каким?! — я слышу голоса возмущенных методистов. — За тем самым. — С коим мама познакомилась еще в седьмом классе, получив от него предложение, от которого не то что в те — даже в мои школьные годы было не принято отказываться. Но меня, знающую мамин характер, изумляет не столько сам отказ (кстати, не основанный на каких-нибудь более или менее антисоветских принципах, а так, *нипочему*, будто что-то внутри, в крови, не дает согласия), сколько формулировка, предвосхитив-

шая все последующие блевания, к которым смельчаки моего поколения прибегали в схожих обстоятельствах: дескать, где я и — где комсомол, куда уж мне с эдаким рылом, да в ваш калашный ряд...

Впрочем, ни трудовой ее карьере, ни дальнейшему образованию этот решительный отказ не помешал. Завершив пристальное изучение советской гастрономии и устроившись работать по специальности, мама поступила в вечернюю школу (тогда это называлось «школой рабочей молодежи»), где и получила законченное среднее. 10 классов.

В нашем теперешнем понимании отличный аттестат (7 классов на круглые пятерки) не слишком вяжется с идеей вечерней школы. Не говоря уж о мясо-молочных курсах. Да, конечно, мечтала о большем: поступить в медицинский, стать врачом. Но, как нередко бывает, не спилось. Все одно к одному: отец погиб на войне, мать тянула ее одна, неудачное первое замужество, тяжелая, едва не смертельная болезнь — а еще раньше жестокий фурункулез, предвестник *тэбэце*, не распознанный вовремя... По обычаю русской жизни пришлось применяться к обстоятельствам, но сейчас не о жизни, а о школе.

Широкий доступ к среднему и высшему образованию — бесспорное «завоевание социализма». Но как и многое в отечественных широтах, эта условная правда требует уточнений¹.

В первые советские годы образование — с упором на ликвидацию безграмотности — оставалось бесплатным. Однако осенью 1940-го (ввиду активной подготовки к войне стране нужны рабочие) Совет Народных Комиссаров вводит общеобязательную плату за обучение в старших

¹ До времени закроем глаза на классовый подход, когда детей «бывших», будь ты хоть семи пядей во лбу, в вузы не принимали — что, кстати говоря, декларировалось открыто, в отличие, скажем, от отбраковки по «пятому пункту» в семидесятых-восьмидесятых, когда государство действовало исподтишка.

классах дневной средней школы, а также в техникумах и училищах, не говоря уже о вузах, где фигурировали весьма ощутимые для личных и семейных бюджетов суммы¹. Попробуйте в течение пяти лет выкраивать по 300–400 рублей ежегодно (при том что средняя месячная зарплата — те же самые 300 дореформенных) — если цены на товары первой необходимости, вопреки расхожим представлениям, бытующим в наши дни, очень даже кусаются.

Кстати, основным мотивом поставленного ребром вопроса, с которым «товарищ Зарубаев», сопровождаемый вышеупомянутой шалавой, явился в мамину туберкулезную палату — кроме, конечно, чистого удовольствия от собственного хамства, — были 50 (пятьдесят) рублей. Именно эту сумму по тогдашнему закону вносила в государственный бюджет сторона, виновная в разводе. Собственно, признания вины с последующей оплатой он и требовал от мамы, не слишком надеясь, что она и так со дня на день помрет.

Иными словами, получить образование можно, но для этого требуется железная мотивация — такая, как у моего отца.

Под раздачу СНК отец не попал единственно по причине возраста. Приехав в Ленинград из далекого Мозыря с одним картонным чемоданчиком, он (в 1929 году четырнадцатилетний выпускник хедера, с трудом изъяснявшийся по-русски) успел пройти все стадии бесплатного обучения: сперва «ремеслуху», за ней — вечернее отделение Политехнического института, которое закончил с отличием и без отрыва от производства не то танков, не то тракторов — в общем, того, что накануне войны наладился выпускать знаменитый Кировский завод (до из-

¹ Постановление СНК № 638 от 26.10.1940 действовало вплоть до его отмены в 1956 году.

вестных событий, с которых «вождь и учитель» начал разгром ненавистного ему Ленинграда, — Путиловский). С этого предприятия, имея на руках инженерскую броню, он ушел добровольцем в ленинградское ополчение, не раздумывая ни дня. Но, в отличие от большинства ополченцев, сложивших свои образованные головы, выжил, и в 1943-м, успев повоевать под Москвой командиром этого самого «трактора», изготовленного его родным заводом, стал начальником автоколонны, подвозящей снаряды к линии фронта. От «соискателей» на эту смертельную должность (колонне грузовиков, идущей, скажем, по лесной дороге, сворачивать некуда; как начальник колонны, чья машина идет первой, отец знал: когда немец отбомбится, он, если, конечно, выживет, не досчитается двух-трех грузовиков со всем их содержимым как в живой силе, так и в материально-техническом выражении, взлетевшими в воздух и к такой-то матери столбами дыма и огня) требовался инженерский диплом.

Учеба, работа, война — на устройство личной жизни свободного времени не оставалось. Притом что все более или менее настойчивые попытки, предпринимаемые семейством (найти для него «хорошую еврейскую девушку»), отец мягко, но решительно отвергал. А если учесть, что его родные братья в ту пору были давно и правильно женаты — он, единственный из всей их дружной семьи, шел поперек. По какой причине — доподлинно я не знаю, однако, зная отцовскую натуру, догадываюсь: ждал «настоящей любви». Полагаю, свою роль сыграла и классическая русская литература: перебравшись в столичный город, отец, наверстывая упущенное в хедере, много и увлеченно читал.

Между тем его любовь работала кассиршей.

Фотографии сохранили образ русской красавицы, недостижимый многочисленными нами — полу- и четвертькровками двух грядущих поколений (женские стати третьего пока не проявились). И хотя, скажу без ложной

скромности, мы тоже *ничего*, но, увы, тенденция убывания налицо.

Красноречивый пример — мой любимый снимок, где мама запечатлена на фоне аккуратного стога сена. С серпом в руке. Хрестоматийный сельский антураж подчеркивает ее изумительную красоту. И хотя серп она держит вполне по-человечески, не задирая к небу, меня не покидает ощущение незавершенности идеологического гештальта: фотографической инсталляции недостает конгениального по красоте рабочего — разумеется, с молотом.

Мельком и забегая вперед: паразит-Зарубаев, до поры выдававший себя за интеллигента, на эту роль явно не подходил. Да и странно рассуждать о гештальтах, когда семья живет на зарплату молодой супруги, которую молодой супруг не гнушается тратить на рестораны, норовя утопить в веселом и пьяном омуте не только тоску по «красивой благородной жизни», но и скромные суммы, отложенные на первоочередные житейские нужды, к примеру, зимнее пальто с меховым воротничком.

Впрочем, не только эта одна — все фотографии недолгой поры маминого девичества хороши как на подбор. Причина в том, что сделаны они профессиональной камерой: Коля, ее тогдашний кавалер, учился в Ленинградском институте киноинженеров. Чтобы «набить глаз», а заодно набраться профессиональных навыков выдержки-проявки-печати, он щелкал направо и налево, снимая едва ли не все, что попадалось на глаза и под руку, но, надо ж было так случиться, что именно этот его снимок завоевал первое место на всесоюзном конкурсе фотографов-любителей. И, в качестве награды, право публикации на обложке «Огонька».

Фотографическому триумфу помешало тонкое обстоятельство, на которое очарованные члены высокого жюри не обратили должного внимания. Не то бдительные цензоры. Они-то и заметили, что «крестьяночка»



одета в шелковую блузку. Казалось бы, и что такого — растет-де зажиточность советского крестьянства. Но, похоже, цензорские мозги торкнула другая мысль: шелковая — читай «городская». В общем, непорядок, не лезущий ни в какие, даже самые соцреалистические ворота: спору нет, грань между городом и деревней стирается, но все-таки до шелков и бархатов на стерне дело пока что не дошло.

Бог весть, как сложилась бы дальнейшая Колина судьба, рассуди цензоры иначе, но попал он — вместо главного иллюстрированного журнала страны — на Пряжку, в знаменитый «желтый дом». Чему предшествовало его в высшей степени скандальное поведение. Вообразите советского студента, который бегаёт по родному вузу, обращаясь к каждому встречному и поперечному с навязчивым вопросом: «Где моя Вера?» Пока разобрались, пока поняли, что тут всего лишь женское имя, а не поиски экзистенциальных смыслов в отдельной сбрендившей голове представителя интеллигентской — в первом поколении — прослойки, дурдомовская карета уже приспела.

Угодив в скорбное заведение, запросто оттуда не выберешься, так что Колины матримониальные планы рассыпались сами собой¹.

¹ Пересказывая эту давнюю историю, я вовсе не утверждаю, будто она во всех деталях совпадает «с жизнью». Тот, кого я самочинно нарекла Колей, в действительности мог быть Валентином. И в Институте киноинженеров, вполне возможно, учился не Коля, а, например, Сергей. Здесь важен собирательный образ маминых воздыхателей, пылких — но лишь с их стороны. Мама сохраняла на диво трезвую голову, во всяком случае, замуж ни за кого из них не собиралась. Главным препятствием служило то, что по роковому (для них) стечению обстоятельств все ее «женихи» были иногородними. Что — согласно советскому домостроевскому принципу: куда иголка, туда и нитка, лежавшему в основе послевузовского распределения, — означало неизбежный отъезд из Ленинграда. Чтобы этого избежать, она и вела себя как Пенелопа: завязав романтические отношения, вскорости их распускала.

На их развалинах, собственно, и возник Зарубаев — писанный красавец и ленинградец. А через год, когда молодая семейная жизнь рассыпалась тоже, в булочную на Театральной площади зашел мой отец.

Увидев маму, сидящую за кассой (и, видимо, не приходя в сознание — ничем иным мне не объяснить отчаянной решимости скромного до застенчивости человека, ко всему прочему отнюдь не блиставшего красотой), он — вместо «мне, пожалуйста, половинку черного, одну *городскую*» и горстки звонко пересыпаемой мелочи — передал в окошечко кассы сложенную вчетверо записку (вернее, письмо, составленное в таких куртуазных выражениях, что впору задуматься не о косвенном, а о самом что ни есть прямом влиянии классической русской литературы на ход моей семейной истории). Еще одно вероятное объяснение: храбрость недавнего фронтовика, смело входившего в чужие столицы. В отцовском случае ту, от которой до Веры — в именительном падеже — всего-то одна буква.

Эту записку — до сих пор хранящуюся в маминых личных бумагах — она, протянув руку за мелочью, машинально приняла. Развернув клетчатый листочек по окончании рабочей смены, но отчего-то не впечатлившись ни стилем, ни слогом (мельницы бога, во всяком случае, в головах молодых красавиц, и впрямь мелют медленно), она обратилась к коллегам-продавицам из гастрономии с предложением поделиться нежданно-негаданно привалившим счастьем: мол, если интересуетесь завести серьезного, в годах, кавалера (храброму автору записки было прилично за тридцать), вот, мол, его домашний телефон. В ответ она получила звонкий девичий смех и: «сама звони, гражданин тебе написал». В общем, посмеялись и забыли, крутим дальше колесо, точнее жмем на кнопки кассового аппарата. Или исправно, по первому требованию покупателей, нарезаем сырно-

колбасную продукцию ломтиками, тонкими в той мере, в какой позволяют несовершенные средства производства — огромные ножи. И уж если речь зашла о ножах: у тех, кто орудует ими с утра до вечера, на ладонях остаются жесткие трудовые мозоли. От которых навсегда избавлены благоразумицы, догадавшиеся закончить двухмесячные курсы кассового мастерства.

Так и не дождавшись звонка, отец явился снова и — нынешним девушкам на заметку — здесь же, не отходя от кассы, сделал официальное предложение. Взяв время на размышление, мама ответила согласием, в составе которого (да простят меня участники событий, прожившие в счастливом браке тридцать восемь лет — до самой папиной смерти) преобладали не столько нежные чувства, сколько вполне прагматические резоны: от Зарубаева, к которому прописалась после замужества, она уже ушла, но в восьмиметровую комнату, где была прописана раньше, так и не вернулась. И тут мы ступаем на сакральное поле пресловутого «квартирного вопроса», выцедившего немало крови из советских граждан — отнюдь не только москвичей. Не желая быть вовлеченной в давние семейные распри, а также обходя стороной не красящие мою прабабушку подробности, отмечу, что приют она нашла у подруги своей матери (обе: и мать, и ее подруга — трудились на одном производстве).

Со стороны этой доброй женщины жест, вне всякого сомнения, широкий, хотя и не вполне бескорыстный, сделанный с расчетом на устройство личной жизни единственного сына. Не исключено, что ее расчет мог оказаться верным — если бы в дело не вмешался фурункулез, предвестник *тэбэцэ*.

Наряду с незстетичностью внешних проявлений, это заболевание характеризуется неотвязной болью — порой острой, но чаще ноющей, — что никак не способствует за-

рождению любви. На которой, вконец обалдев от свалившейся с неба красоты, настаивал хозяйский сын, предаваясь мечтаниям в своей комнате, смежной с материнской.

И что прикажете делать бедной девушке, кроме как выбирать из двух зол?

Но ведь и для отца — в то время проживавшего на ул. Декабристов (и тоже через стенку со своей матерью) — выбор оказался не из простых. С одной стороны, высокие романтические чувства, но с другой-то: провинциальная еврейская семья, в материнском поколении воистину патриархальная, со всеми непреложными, окрепшими в веках, принципами мясо-молочной кулинарии, далекими от советской нераздельности — к тому же возведенными в абсолют.

Собственно, отличные знания, полученные на молочно-мясном факультете, маму и подвели. Вступив в права и обязанности младшей невестки (NB! Жены любимого сына, к тому же самого талантливого из всех многочисленных детей, «за которого с охотой пошла бы любая хорошая еврейская девушка, так нет, этот шлимазл выбрал шиксу, к тому же разведенку»: я не цитирую, а пытаюсь воспроизвести ход мыслей моей будущей бабушки — что не так-то легко, ведь единственная наша с нею встреча продлилась каких-нибудь три минуты, после чего старая женщина, которую мне заранее было приказано называть «бабушкой», но до слов дело не дошло, погладила меня по голове и ушла в дом, оставив нас с мамой на крыльце), — короче говоря, на другой день после свадьбы мама решила сварить мясной суп. И с этой целью взяла первую попавшуюся кастрюлю. Как назло именно ту, что предназначена «под молоко».

Оскверненную емкость пришлось немедленно, тем же вечером, выбросить — что свекровь и сделала, на первый раз деликатно смолчав. Видимо, надеясь, что ужасное осквернение случилось по недоразумению и впредь никогда не

повторится, особенно если тактично поговорить с сыном, чтобы тот, в свою очередь и тоже тактично, но твердо...

Беседа о кастрюле действительно состоялась, но кроме кастрюль в хозяйстве случаются еще и сковородки, а также разделочные доски, половники, тарелки, ложки и прочее, включая ножи, не слишком отличные от тех, которыми нарезают то сыр, то колбасу попеременно и по первому требованию советских покупателей. По мере того как мама осваивалась на свекровкиной кухне, эти предметы обихода, опороченные мясо-молочной неразборчивостью, постепенно переключивались из кухонных шкафчиков в дворовые помойные баки. Надо отдать должное папиной матери: проведя вводную беседу, далее она молчала как партизан. Пока однажды, пошарив в подозрительно пустом шкафчике, мама сама не заподозрила неладное — результатом чего и стало *другое разделение*, начавшееся с похода в ближайший посудный магазин, где они с отцом совершили первую семейную покупку: ту самую дюралюминиевую с черным покрытием (а может быть, напылением) сковородку на деревянной ручке, которая до сих пор живет у нас на даче. И, кстати сказать, исправно служит.

Берясь за ручку сей исторической посуды, я думаю о матери своего отца. Скорее, с благодарностью. Моей благодарности не в силах помешать даже ее стремительный отъезд в Мозырь, ровно через четыре месяца от начала совместного хозяйствования, когда врачи обнаружили в легких ее невестки «открытый процесс». Слава богу, ни отец не нуждался в материнском благословении, ни она не стремилась как-нибудь по-ветхозаветному его проклясть. Просто собралась и уехала на родину доживать век со старшей дочерью — все лучше, чем курочить собственную душу и сыновью жизнь.

Оглядываясь назад — но уже не на отцовскую, а на мою собственную, на одном из этапов которой я (подобно

многим в моем, Бог знает что пережившем и передумавшем, поколении), предалась поискам высоких религиозно-нравственных идеалов, — я думаю так: яви она, моя бабушка по крови, бóльшую широту воззрений в ущерб традиционной иудейской жестоковыйности — не избежать бы мне «путаницы в понятиях». Но этот ее урок, преподанный без лишних слов, одним-единственным жестом, убедил меня в том, что всякая духовная традиция, застывшая в своей последней, непререкаемой форме, призвана не соединять, а разъединять. А уж если на то пошло, крепость духа можно выковать и на других наковальнях. Этим уроком кузнечного дела я обязана своему неверующему отцу.

Да, конечно, любовь. Однако палочки *тэбэце*, выходящие наружу буквально с каждым шепотом, с каждым робким, равно и не робким, дыханием, а тем более при отсутствии штампа в паспорте, удостоверяющего законность брака, — это вам не кухонный инцидент. В особенности если не знать, что «открытая стадия» продлится недолго, всего-то месяца четыре — после чего опасность заражения скукожится. Сойдет на нет.

«Закрытая стадия» позволяла вести почти нормальную жизнь: раз в неделю ходи на поддувания, в остальном делай что хочешь. Этой возможностью мама и воспользовалась, во-первых, уволившись с работы (с кассой, исполнившей свое судьбоносное предназначение, она рассталась без сожалений); во-вторых, записавшись на очередные двухгодичные курсы: «Кройки и шитья».

С течением времени выяснится, что и это ее решение станет судьбоносным. На сей раз для меня. Но поскольку меня еще нет — как принято говорить, даже «в проекте», — скажу лишь, что параллельно с учебой она начала подрабатывать и мало-помалу собрала довольно обширную коллекцию состоятельных дамочек, готовых платить за индивидуальный пошив. А шила она великолепно.

В этом были убеждены не только ее клиентура, но и преподаватели, с первых дней признавшие в новой курсистке «настоящий швейный талант».

Единственный запрет для больных *тэбэце* — беременность. О чем мама, имея опыт больничного соседства с разговорчивыми женщинами, разумеется, знала — а потому к гинекологу не пошла. Во всяком случае, на ранних сроках, как предписывается правилами. И, явившись на седьмом месяце, услышала, что она — не мать, а преступница — носит заведомого урода. Далее следовал перечень вероятных последствий, ожидающих ее несчастного первенца, и радикальное предложение, которое она, заранее набравшись решимости, отринула, поставив подпись под документом, где значилось черным по белому: «О последствиях беременная предупреждена».

Собственно, по этой причине я и родилась в Снегиревке, в единственном на весь Ленинград туберкулезном родильном отделении, куда свозили таких же преступниц, как моя мама: на тот момент их набралось две. Как потом мама утверждала, она-то была уверена, что ребенок родится здоровым — но, говоря объективно, врач, предупредившая о вероятных последствиях, несколько не преувеличила. Мамина соседка по палате родила мальчика с тяжелым неизлечимым диагнозом: водянка головного мозга.

С оглядкой на эту, вполне реальную, возможность, можно сказать, что нам обоим повезло: мама отделалась испугом, я — повышенным внутричерепным давлением. Которое в ту пору еще не научились диагностировать, да и вообще относились проще: орет младенец с утра до ночи, и пусть себе орет, легкие развивает.

Но как бы то ни было, в первом раунде со смертью мы с мамой одержали победу, самым исходом схватки доказав: то, что в конечном счете смерть всегда и неизбежно

выигрывает, отнюдь не означает, будто в промежуточных раундах ее невозможно победить, обставив «по очкам».

Впрочем, в этой истории интересно и другое. Едва родив, мама принялась умолять нянечку, чтобы та меня не перепутала. Не дай бог, подменила каким-нибудь мальчиком. «У меня девочка, девочка!» На что нянечка, на своем веку повидавшая всякого, ворчала: «Не бойсь, не перепутаем, сёдни одни мальчишки идут».

Вспоминая первые месяцы своего трудного материнства, мама утверждает, что я «вообще не спала». Так, во всяком случае, ей казалось. Не удивительно, что только месяца через три она заметила: ребенок держит голову «как-то странно». В какую сторону ни поверни, отворачивается к стене.

Окажись на мамином месте я, наверняка задалась бы вопросом: а бывает ли такое, чтобы младенец помнил события, случившиеся, ну скажем, в каких-нибудь больничных палатах, куда заявляются бывшие мужья со своими шалавами? На мое счастье, маме, умученной хронической бессонницей, было не до экзистенциальных вопросов. Не мудрствуя лукаво, она поделилась своими тревогами с участковым врачом.

Тут-то и выяснилось: кривошея. Скорей всего, следствие родовой травмы. С быстророждающими (точнее, быстро-рождающимися)¹ такие неприятности случаются. Предупредив молодую мать о новых грозных последствиях (если меры не принять немедленно, кривизна останется на всю жизнь), участковая продиктовала заветный телефон. Тем

¹ Обратившись к русской литературе, можно сказать, что родила она по-крестьянски — у литературных крестьянок так заведено: рожать на меже. Посудите сами. В роддом она поступила в 8:00. По совету санитарки, дежурившей в приемном покое, будущий отец кинулся за шоколадкой. Соседний магазин открылся в 9:00. В 9:10 он примчался обратно, но из окошечка ему сообщили: сам ешь. Нельзя. Уже родила.

же вечером, позвонив по указанному номеру, мама узнала, что у лучшей, по версии нашей участковой, массажистки заказы расписаны на полгода вперед. Другая на ее месте заматалась бы в поисках альтернативных возможностей, но маму заворожило слово «лучшая».

Попросив выслушать ее, не перебивая, она внесла встречное предложение. Попутно объяснив, что также не чурается частного предпринимательства (это не ее, это мои слова, свою мысль мама наверняка выразила иначе: мол, подрабатываю надомным шитьем). Причем шью не абы кому, а *такой-то* и *такой-то* — перечень имен и фамилий «знатных» городских женщин говорил сам за себя. И, переждав паузу, продолжила: вы будете делать массаж моей дочери — двадцать дней без перерыва. А я вам хорошо заплачу. Но не деньгами, а платьями. В количестве пяти штук. Учитывая уровень мастерства советских швейных фабрик (если коротко: что ни надень — сидит как на корове седло), не приходится удивляться, что частная и честная сделка была немедленно заключена.

Результатом стала, с одной стороны, моя выправленная шея, а с другой, оговоренное число готовых изделий, одно из которых мама помнит до сих пор: отрезное, с прилегающим лифом и юбкой «колоколом», из тонкой зеленоватой шерсти (оттенок назывался *бутылочным*), отрез которой (2,5×1,5 метра) она выстрочила тонкими защипами, причем не только по долевой — это-то не фокус, но квадратами 10×10 — воистину идея *от кутюр*, невиданная по тем временам.

Кстати, к моменту маминого швейного подвига их брак с отцом был давно зарегистрирован — но это так, к слову, данью постороннему праздному любопытству. Куда важнее то, что сейчас, прямо на ваших глазах, я заключаю в твердые кавычки: «мальчики и девочки»; «шитье как твердая валюта» — этот ряд можно продолжить. Что я и сделаю по мере дальнейшего повествования

и в согласии с его внутренней логикой, когда, используя заковыченные слова как своего рода ствольные клетки, буду выращивать историю своей семьи.

Для меня эти слова звучат словно из затакта. Там, в затакте моей жизни, случился и переезд на Театральную площадь в одну большую, 30 квадратных метров, комнату, которую родители (после скоропалительного отъезда папиной матери и скоропостижной, в сорок два года, смерти маминой мамы, напоследок успевшей *посидеть* у дочери на свадьбе, но не дождавшейся появления внучки — этот раунд смерть выиграла вчистую) выменяли, соединив две.

Кстати, о свадьбе. Со стороны родственников невесты никакой национальной напряженности не было. Если мамину маму что-то и смущало — возраст жениха. (Разница в шестнадцать лет. Ей казалось, чрезмерная. Но, с другой стороны, «закрытая форма *тэбэце*» даже писаной красавице не оставляет особого выбора.) Так что грусть, с которой я, заглядывая в затакт, думаю о своей бабушке Капитолине, соотносится не с «высокими материями», а с глаголом *посидела* — скромно, как все, что она делала в жизни. На уголке стола.

II

Будь целью моих записок возделывание личной памяти, с этой комнаты на Театральной площади мне бы и следовало начать. Рассказать о раннем детстве во всех его подробностях, каждая из которых занимает свое особое место в иерархии памяти: остается только понять, к какому уровню относится тугой водопроводный кран над *облупившейся* кухонной раковиной; к какому — сами облуплены эмали; сквознячок, шевелящийся под дверью на черную лестницу, где стоят *поганые* ведра с плохо подогнанными крышками; сама черная лестница, существующая как бы в назидание другой, парадной; или высокие окна, выходящие на площадь, однако не прямо, как подобает тем, кому нечего бояться, а выглядывая из-за широкой спины Консерватории — как мне и до сих пор кажется, исподтишка.

Если предаться этому промыслу, на промывочном лотке моей памяти останется весомая горстка золотого для

меня песка (песчинки так малы, что приходится собирать их подушечкой пальца).

Впрочем, попадаютсЯ и вполне полновесные слитки.

Вообразите раннюю тьму ленинградского зимнего вечера: мы с отцом едем в гастроном за икрой. По тем временам в этом нет ничего особенного: икра, красная и черная, продавалась едва ли не в каждом гастрономе. Мои ровесники должны помнить: высокие икорные грудки на белых эмалированных поддонах, обыкновенно потревоженные только с одного края. Так что дело не в икре, а в том, что мы едем. Точнее, еду я. На санках, которые отец тянет за веревочку. Еду и смотрю — то вверх, то по сторонам, то на тротуар, от стен до поребрика укрытый свежевыпавшим снегом, — так серьезно и внимательно, словно наперед знаю: именно этот, а не какой-нибудь другой вечер останется со мной до конца моих дней.

Ах, как же мне хочется, отступив на обочину, порассуждать об этих вспышках памяти, таких ярких и осмысленных в сравнении с тысячами случайных снимков, коими нынешняя эпоха набивает свои бесчисленные гаджеты. Не исключено, что к ним я еще вернусь.

А пока расскажу о настольных играх (методисты называют их развивающими), к которым я пристрастилась лет с четырех-пяти.

Первым стало «языковое» лото.

На суконном языке вложенной в коробку инструкции описание игры звучит примерно так: стандартный набор (ГОСТ 1960 г.) включает ряд тематических картонок, а также мелкие карточки; с лицевой стороны каждой карточки напечатана картинка, с обратной — соответствующее слово на четырех языках (русском, английском, немецком, французском). Участники получают по одной большой картонке. Карточки раздает ведущий. Цель: покрыть соответствующие изображения, расположенные по периметру картонки. Выигрывает тот, кто сделает это первым.

Считалось — и, вероятно, справедливо, — что ребенок, увлеченный такого рода играми, обретает навыки логического и образного мышления, одновременно запоминая иностранные слова: их значение, правописание, произношение.

На первых порах мы играли с отцом. А поскольку с работы отец приходил усталым и довольно поздно, на мои призывы он не всегда откликался с одинаковым энтузиазмом. Так что, довольно быстро запомнив английские слова (других иностранных языков отец все равно не знал, впрочем, и английский он знал условно, в затруднительных случаях прибегая к словарю), дальше я играла сама.

Методический недостаток одинокой игры состоит в том, что некому поправлять ошибки. Преимущество — в отсутствии конкуренции. Независимо от того, в каком порядке выпадают карточки, ты выигрываешь всегда.

С отцом мы играли за обеденным столом. Одна я устраивалась за письменным, покрытым плексигласом. В наши дни это слово, означающее стекловидную пластмассу, давно и прочно забыто, но в годы моего детства им, в отсутствие полноценного стекла, покрывали что ни попадя, любые ровные поверхности, на которых — и все благодаря плексигласу — можно было писать чернильной ручкой (собственно, других и не существовало), а потом — и тоже украдкой — стирать.

Вот я, игрок и ведущий в одном лице, выбираю себе картонку. Пусть это будет, например, *семья*. Папа (father, Vater, père) читает газету «Правда»; мама (mother, Mutter, mère) с бабушкой накрывают на стол; сын-пионер мастерит модель аэроплана (о, эта вечная поза правильных советских мальчиков: голова слегка откинута, в правой руке крылатая бумажная «птица», глаза, подернутые мечтательной поволокой, устремлены в светлую коммунистическую даль); дочь-октябренок с неопределенной улыб-

кой на устах готовит школьные уроки; дедушка, сидя в кресле, любит внаками.

Теперь, аккуратно подбивая с боков, складываем маленькие карточки аккуратно стопочкой. Если играть честно — картинками кверху (чтобы ненароком не впасть в соблазн).

Потом (на память, не подглядывая), начинаем бормотать: мама — mother — подходит, бабушка — grandmother — тоже подходит, cucumber — нет, это к овощам, для которых предусмотрена своя, *огородная*, картонка.

По замыслу методистов — в той мере, в какой я в состоянии проникнуть в их замыслы, — ребенку (в игровой форме) предлагается усвоить базовый объем понятий, исчерпывающих заданную тему. В нашем случае, учитывая выбранную картонку: *семья*. Подспудно маленький человек должен привыкнуть к мысли, что семья — явление природное, ограниченное тремя поколениями. Своего рода овощная картонка: проклюнулся, расцвел, дал плод — исчез. Все остальное, выходящее за рамки плодотворного цикла, не следует брать в расчет.

Надо признать, замысел точный. Четырехлетний ребенок верит взрослым. К тому же еще не умеет, одновременно шевеля губами и закрывая пробелы, строить логические цепочки. Например, такую: ну хорошо, с бабушками понятно. Одна умерла, «для меня недавно, для тебя — давно, ты еще не родилась»; другая пожила немножечко в Ленинграде, а потом уехала к себе на родину, «помнишь, мы ее навещали». Ну да, навещали, стояли на крыльце... Это я помню. Но ведь тут, на картонке, тут еще...

Однажды, обыграв саму себя, я сообразила: дедушка — это не соседский старик, с которым, встретив его на лестнице, полагается здороваться («Скажи дедушке: здравствуйте... Простите, Иван Федорович, она хорошая девочка, просто очень стесняется»), а кто-то, кому полагается быть в семье.

Или, выражая мысль взрослыми словами: если мы семья — где же мой дед?

Трудно понять, почему, споткнувшись об этот вопрос, я не задала его родителям — быть может, чувствовала тающую за ним опасность. В случае нашей семьи — ложную. Ведь родителям было что ответить: «Твой дед погиб под Ленинградом»; «Твой дед погиб в Мозыре», — если не углубляться в детали, и то и другое правда.

Но если все-таки углубиться... От эвакуации из родного Мозыря — как ни просили, ни умоляли жена и старшие дочери, — мой дед отказался наотрез, положившись на образ «благородного германского офицера», который застрял в его памяти со времен Первой войны. Тому, памятному, офицеру попросту не пришло бы в голову сгонять стариков, детей и женщин — пусть даже и евреев — к расстрельным ямам и оврагам. В письме, которое мой отец получил от него, уже будучи на фронте, дед рассказывал, как, проводив домашних, бродит по дому в одиночестве, сомневаясь в правильности своего решения. Итогом этих раздумий стало следующее: накануне отправки в гетто он и еще несколько таких же дряхлых старцев — дабы избежать уготованных им унижений, а заодно плюнуть в морды эсэсовским карателям — заперлись в его доме и, не прерывая громких молитв, совершили то, что на языке «протокола осмотра места происшествия» называется *актом самосожжения*. Хотя в этом, последнем, пункте белорусы-очевидцы расходятся: будто бы дом подожгли не сами обреченные, а соседка не иудейского вероисповедания — по их просьбе. Но можно ли полагаться на свидетельства, которые вышли наружу не над свежим пепелищем, а спустя десятилетия?

И уж раз мы заговорили о временах. Специально я не проверяла, но что-то мне подсказывает: до войны никаких таких лото с *семейными картонками* не было. Ведь если бы

они были... «Ну как — где? Разве ты не знаешь, твой дедушка умер». Вариант: отец. Тут единственно правильный ответ: «Погиб». Относительно самой гибели есть варианты. Разбился в самолете, когда летел покорять Северный полюс. Или просто: над просторами Арктики. Ледяные торосы, белое безмолвие. А еще лучше: защищая границу. Которая всегда на замке. Который попытались открыть. Как — кто? Враги, диверсанты. Задумали перейти границу, которая — круг логически замыкается — всегда на замке. Игра начинается заново. Тем более полно подходящих карточек: отец — *рядовой, сержант, капитан* — стоит — *за кустом, на краю оврага, у полосатого пограничного столба*, — *целясь из — винтовки Мосина, револьвера, пистолета* — в проклятых диверсантов, — *один, в составе пограничного наряда, без собаки, с собакой*. Отдельный важный вопрос: как звали собаку? На этот случай также предусмотрены варианты: *Шарик, Дружок, Джульбарс*.

Если мать не готова к играм в отшибленную память, тогда ее ответ: «Молчи. Вырастешь — поймешь».

Впрочем, методисты моего детства уже не слишком рисковали. На дворе хрущевская оттепель. «Черные ма-руси», тая в спецгаражах, превращаются в грязные лужи, подернутые бензиновыми разводами. Радужный слой год от года истончается. Силой поверхностного натяжения (руки так и чешутся уточнить: нечистой силой) молекулы бензина цепляются друг за дружку, пыжась сложиться в зловещие «Хлеб» и «Мясо». Как принято выражаться в их *всесильном ведомстве*: встать в строй. Пусть не в этом поколении, пусть хотя бы в следующем, когда все «лишнее» выветрится из ненадежной людской памяти. Растворится в нашем общем, нашем первобытно-общинном то-теме...

Но — еще раз: в моем случае методистам было не о чем беспокоиться («Оба ее деда ушли в мир иной по объективным, не зависевшим от их собственных сограждан, при-

чинам. Да и с бабушками в общих чертах понятно», — я слышу их бензиновые голоса), но их, потирающих нечистые ручонки в надежде на хитрый замысел, ждало разочарование. Говоря по-нынешнему: облом.

Почему? Да по кочану. А если всерьез, если отложить овощную картонку: в те далекие времена — сестра родилась позже — моя семья состояла отнюдь не из трех человек. Была еще одна бабушка, которая (чурики-фурики, военная хитрость!) только называлась бабушкой. На самом деле доходясь мне прабабушкой с маминной стороны.

Евдокия Тимофеевна. Девичья фамилия Гладкова. По мужу — Копусова. Год рождения 1885. (И подумать-то страшно — не то что себе представить: позапрошлый век.)

Но тональность повествования меняется не только из уважения к этой дате, а еще и потому, что, рассказывая о прабабушкиной жизни, я — по большей части — буду полагаться не на свою, а на мамину память: опосредованную, доставшуюся мне в качестве семейного наследства, небогатого, хотя... Как посмотреть. Ведь оно, в отличие от круглых банковских счетов других, куда более удачливых семейств, обладает свойством сугубой уникальности.

И тут мы вплотную подступаем к вопросу о правдивости чужих воспоминаний, которую они обретают (или теряют) в переложении на язык нынешней, неведомой их носителям эпохи — иной исторический язык. В свою очередь это означает, что качество перевода обречено остаться под вопросом: нам, переводчикам, своевольно отбирающим и тасующим факты, приходится действовать на свой страх и риск.

Именно поэтому, прежде чем воспользоваться их памятью, я обращаюсь к своей.

Тонкие черты лица. На моей памяти уже покрытые морщинами. Небесно-голубой оттенок радужной оболочки. Когда бабушка Дуня задумывалась, она складывала

руки на коленях. Так я их и запомнила: крест-накрест, одна на другой. Правое запястье слегка искривлено: след закрытого перелома. Задумываясь, я складываю руки таким же точно образом: привет вейсманистам-морганистам. Но почему мое правое запястье при этом тоже слегка кривится? Кому — неужто Лысенке — следует передать привет?

Темное сатиновое платье в мелкий цветочек. Как принято говорить, старушечьей расцветки. В отличие от картонной бабушки, носившей аккуратно-жиденькую кичку, голова покрыта белым платком с тонкой, едва заметной каймой (эти платки продавались не по отдельности, а цельноткаными купонами — прежде чем покрывать голову, надо было разрезать и подрубить). Узел под подбородком, мягкие аккуратные заломы на висках. Если судить по внешнему облику, никаких иностранных аналогов. На обороте этой карточки значится: babushka — на всех без исключения языках.

Другое дело, что русские babushki носят передники. Но передника я как раз таки не помню. Зато могу проследить еще одно отличие от бабушки с картонки. *Та* наверняка была у мамы на подхвате. А моя бабушка Дуня — нет. Разве что перед праздниками. Да и то с разбором. Могла, например, испечь куличи. Или жаворонков с глазами-изюминками. Или — в будни — сварит гречневую кашу и упрячет чугунок под подушку. Та-то, картонная, небось, не вылезала из кухни: жарила, парила, варила. Впрочем, что мне до нее! У меня была своя бабушка. Которая не имела ничего общего с правильной, советской, во всех ее — расставим точки над *i* — существительных-испостасях: ни с картонной бабушкой, ни с самой властью.

Чтобы в дальнейшем не возникло лишних вопросов: никаких дворянских корней и прочих благоглупостей, модных по теперешним временам. Из простой крестьян-

ской семьи. Ее мать (мамина прабабушка), Федора Ивановна, застала крепостное право в том смысле, что сама из крепостных. Семья жила в деревне под Калязином. На конвертах так и писали: город Калязин, деревня Горбово. Бабушкиного отца (маминого прадеда) звали Тимофей. Отчество неизвестно — эта карточка потеряна, вместо нее в маминой памяти зияет пробел.

Однако крестьянами (в прямом значении слова, подразумевающим обработку собственного земельного надела, а раньше еще и барского; молебны о ниспослании дождя, опахивание села как средство от моровых поветрий и прочие обряды, из века в век формировавшие крестьянское сознание) они никогда не были.

Вся деревня испокон веку — ремесленники. Валяли валенки. В свое время от их почтенного ремесла перепало и мне. В детстве, в отличие от сверстников, я носила не черные — магазинные (бабушка звала их *колодками*), — а сливочно-белые, из пуховой шерсти, такие мягкие, что легко гнулись хоть в щиколотках, хоть в голенищах. Свойство не лишнее и в городских условиях — тот, кто любил кататься с горки, меня поймет.

В семье было шестеро детей. Сергей, Мария, Любовь; за ними Иван и Евдокия. (Через семьдесят два года она и станет моей прабабушкой. А ее брат-близнец погибнет на войне. Кстати, слово «мировая» бабушка Дуня всегда упускала. Для нее та война была просто «Первой».) И наконец — Анна¹. Анну бабушка нянчила, а потом с нею дружила. Время от времени, даже на моей памяти, навещала. Пока оставалась в силах.

Вот, собственно, и весь набор карточек, относящихся к картонке *прабабушкина семья*. Из этого набора — если

¹ То, что все дети выжили (при общероссийской-то чудовищной детской смертности) — еще один весомый аргумент в защиту ремесел против черного крестьянского труда.

опять-таки не особенно углубляться в тему — следует, что революцию 1917 года большевики делали в расчете и на них.

Когда смотришь в лица русских крестьян, какими они сохранились на старых архивных фотографиях, первое, что бросается в глаза: следы тяжкого труда. Сила этой тяготы, кажется, не зависит от возраста. Ее след проступает даже в лицах детей. Видимо, так выходила наружу многовековая — из поколения в поколение — зависимость от замкнутого годового цикла, в котором жизнь определялась милостями природы, а смерть — ее же немилостями: засухой, падежом скота, неурожаем — эти напасти шли по ряду обыкновенных. Но случались и экстремальные: «моровая язва», «моровое поветрие», «повальная болезнь». Эти общие напряженные страхи, пронизывающие жизнь от рождения до могилы, накладывали неизбывную печать на лица, сводя на нет их индивидуальные особенности; стирая врожденную красоту.

В лице бабушки Дуни следов крестьянской мрачности не найти. Прибавьте к этому правильный русский язык. Никакого тверского говора (разве что иногда, коротким промельком: «Устала, руки не владают», или «Зáдохлотно пахнет», — это если в комнате душно). И все-таки сквозь ее грамотную речь — подобно тому как языческие обряды проступают из-под покрова христианских праздников — просвечивала мудрость ее далеких предков. Не тронутая ни безысходностью крестьянской жизни, ни советским растлением. Во всей своей нравственной красоте.

Отблески бабушкиной мудрости падали и на меня.

Люди не вороны — в одно перо не уродятся. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Что народилось, то и вырастет. Другой головы не приставишь. Не бывать калине малиной. (Читатель уж ждет хрестоматийного яблочка, но этого фрукта в бабушкином репертуаре не было: не ина-

че, тверские яблоки падают от родных своих яблонь далеко.) И венцом народной мудрости — сказанной не в воздух, в качестве тихого, но непреклонного комментария к текущим событиям, — а мне лично (потому и ставлю ее слова в твердые кавычки): «Молчи — за умную сойдешь».

Легко заметить, что максимы, которые бабушка Дуня отобрала для себя из всего безбрежного корпуса русских пословиц и поговорок, касались одной темы: врожденных свойств человеческой натуры. Которую не перебить, не переиначить воспитанием. Даже в этом частном вопросе они с эталонной советской бабушкой не нашли бы общего языка. Не имея понятия ни о каких, бес их знает, генах, бабушка Дуня оставалась стихийным вейсманистом-морганистом. Что касается других, истинно народных тематических рубрик, как то: правда, справедливость или, на худой конец, семейный достаток — их в бабушкином арсенале не было. И, полагаю, не случайно. Ее жизненный опыт предоставил ей неисчислимое множество поводов усомниться в их истинности (рискуя наскучить навязчивым сравнением: в отличие от картонной бабушки).

Достоин удивления и то, что ее призывы к молчанию, обращенные ко мне, не имели под собой грубой политической подкладки. Ум бабушка Дуня трактовала не столько как сугубую осмотрительность и осторожность: держи-де язык за зубами, болтливость — опасная привычка, доводящая до беды. А в ином, я сказала бы, универсальном духе, не замутненном вульгарным советским опытом (дерзну назвать его — не опыт, а дух — космополитическим): с точки зрения бабушки, глупость, означающая необразованность, пустоту мысли и зависимость от чужого мнения — незрелого или в разной степени ангажированного, — выходит наружу с болтовней.

Не стану грешить против истины, утверждая, будто в ней самой была какая-то особая величавость или внутренняя сосредоточенность, будто каждую минуту она

владычествовала над своими мыслями, но — было, было что-то другое, особенное, что и в наши дни дается не всякому, проживи он долгую и трудную жизнь.

В согласии со своими убеждениями, бабушка говорила мало. Почти никогда в присутствии посторонних. Каковыми считала всех, кроме мамы и меня. Позже — и сестры. Даже с моим отцом, которого несомненно уважала (до такой степени, что постеснялась настоять на нашем крещении — раз уж сложилось так, что отец ее правнучек коммунист и еврей¹), она предпочитала хранить молчание. И вообще разговаривала тихо, в отличие от мамы редко повышая голос. Хотя не меньше маминого осуждала всякое безделье и баловство. Такое, недостойное, поведение решительно ею пресекалось. Однако не обычным взрослым много- и пустословием. Бабушка ругала коротко, как припечатывала: «кобылой дурдинской» или «ведьмой киевской». Загадочная емкость этих ругательств, отвечая законам художественного слова, процессу воспитания только способствовала, многократно усиливая эффект. (Подлинное, контекстное, значение этих устойчивых выражений, открывшись мне по прошествии лет, ничего им не добавило.)

Стратегия молчания, которую она для себя выбрала, таила в себе разные возможности. В частности, позволяла *смотреть*. На жизнь бабушка Дуня смотрела внимательно и осмысленно. Многое примечая и делая выводы. Но оставляя их при себе.

До последних дней ее взгляд оставался ясным, а выражение лица — «городским».

Хотя, если говорить строго, первым «горожанином» из всей многочисленной бабушкиной родни стал ее старший

¹ Быть может, ее Бог, родившийся и выросший в деревне, был тихим и нетребовательным, в кухонные дела не вмешивался, знай себе поглядывал с иконки, висевший над ее изголовьем; или, подобно Духу, витавшему над доисторической бездной, веял себе за окном.

брат Сергей, задолго до всех революций (судя по всему, в девяностых годах теперь уже позапрошлого, девятнадцатого, века) покинувший родную деревню, чтобы выучиться на портного и закройщика. И не где-нибудь, положим, в родной Твери, а в далеком Петербурге. Здесь, в Петербурге, он закончил специальные «закройные курсы», да не абы как, спустя рукава, а с полновесной золотой медалью — в те годы медали еще отливали, а не золотили. (В отличие от даты его отъезда, о медали известно доподлинно: гордая память о ней передавалась из поколения в поколение, пока не дошла до меня.)

III

С исторической точки зрения — маятник семейной истории, качнувшись в сторону «частного», устремляется в обратном направлении — его решение не выглядит чем-то особенным. В тот короткий, но емкий период времени российская промышленность (после многодесятилетнего застоя, связанного с затянувшимся крепостничеством) переживала доселе небывалый подъем. Этот промежуток: от середины 1880-х до середины 1890-х — впоследствии названный «золотым десятилетием» — заложил основу всех дальнейших российских достижений. Апофеоз пришелся на 1913 год — сакральная дата, с которой государство рабочих и крестьян невротически соотносило свои собственные достижения, налегая на выплавку *стали и чугуна*. Многие из моих соотечественников до сих пор убеждены в том, что эта навязшая в зубах парочка — в пересчете на душу загнанного в нищету населения — оправдывает чудовищные жертвы, которые «лапотная Россия»

принесла на алтарь развития промышленности. Эту горбатую идеологему — даже могила СССР не в силах ее исправить — развенчивает история моей семьи.

Но вернемся к «большой истории». К концу XIX века система российского капитализма в общих чертах уже оформилась. Ключевые отрасли хозяйства (как то: тяжелая промышленность, банковское дело, строительство и развитие железнодорожного транспорта) государство держало в своих руках — то погоняя, то натягивая вожжи. Однако в мелкопроизводственную сферу не вмешивалось. Кустари-ремесленники, имевшие амбиции, могли воспользоваться дарованной свободой. Что, собственно, и сделал Сергей Тимофеевич, бабушкин старший брат.

И все-таки нечто особенное, выходящее за рамки прямой экономической логики, в его решении есть. Ведь, если следовать этой логике, он, ступив на поле капитализма, должен был, не мудрствуя лукаво, вывести на новый производственный уровень семейное — валяльное — ремесло. Но предпочел иную стезю: портного-закройщика. Что, как я полагаю, диктовалось врожденным талантом. Время, выпавшее на его долю, позволяло этот талант развивать.

Так или иначе, Сергей стал первым (в родной деревне, в семье), кто почувствовал дух времени, преодолевающего великий исторический перевал. За этим трудным, воистину горбатым, перевалом неосмысленная работа (труд как средство физического выживания), обретала иной, системный, смысл: становилась жизненной стратегией, которую Сергей Тимофеевич строил для себя и без оглядки на семейные, архаические, ценности. Но его — в духе «нового» времени — выбор (чиркнув по правому краю обрабатываемого бортика, наш маятник Фуко устремляется обратно — к левому) определил и бабушкину судьбу. Сама она вряд ли бы на это решилась — попытать счастья в столице: уехать, но не за братом, проторившим дорогу в Питер, а на заработки в Москву.

С крестьянской точки зрения, что в лоб, что по лбу. Хотя в Москве, хоть в Питере, деревенские, перебравшись в город, становились фабрично-заводскими рабочими. Вливались в ряды пролетариата — во всяком случае, в своем большинстве. Но в том-то и дело, что мне не представить бабушку в этих пролетарских рядах. Впрочем, свойства ее характера, на которых основано мое ретроспективное утверждение, в те годы еще не сложились. Пришлось вмешаться судьбе. Чтобы раз и навсегда отвести свою подопечную от неведомой мне фабрики, куда бабушка поступила немедленно по приезде, судьба подстроила ей серьезную пакость: поставила не на вспомогательные операции, подай-поднести, а непосредственно к станку.

Это мельницы христианского Бога мелют медленно. Фортуна — богиня языческая. Посему развязка не заставила себя ждать. Ровнехонько через месяц, сунув руку куда не следует (сама она — данью тверскому прошлому — говорила: «куда не след»), новоиспеченная работница сломала правое запястье. Гипс на закрытый перелом накладывал фабричный доктор — судя по всему, тот еще Гиппократ. Но замысел судьбы он воплотил с завидной профессиональной точностью: как наложил, так и срослось¹.

¹ По праву свободной аналогии мне вспоминается другая история: Иакова, внука Авраама, родоначальника «двенадцати колен». Как известно, этот библейский персонаж, покинув отчий дом, сражается с Богом; по другим источникам — с ангелом. Однако в Книге противник Иакова назван уклончиво: «некто» — определение как нельзя лучше подходящее Истории и Судьбе. Результатом битвы, из которой никто не вышел победителем, но и побежденным ни один не остался, стало сломанное бедро. Повреждением конечностей символические (для меня) совпадения не исчерпываются: ведь подобно Иакову, имевшему брата Исава, бабушка, имевшая брата Ивана, тоже из близнецов.

В общем, о фабрике пришлось забыть. Что ожидало мою юную прабабушку, не прояви судьба жестокого милосердия? Учитывая год ее рождения — к началу двадцатых ей было бы слегка за тридцать, — красную комсомольскую косынку можно заведомо исключить. Надеюсь, что и строгую партийную кичку — в духе Н.К. Крупской. Хотя и то и другое из области гаданий. Достоверность же такова: после фабричного фальстарта бабушки-Дунина жизнь коренным образом изменилась. Она устроилась горничной в графскую семью.

Глядя с большевистской колокольни, ее выбор можно назвать чечевичной похлебкой, за которую она уступила свое крестьянско-пролетарское первородство. Но, в отличие от библейского Иакова, бабушка вряд ли об этом пожалела.

О раннем периоде своей городской жизни она рассказывала скупое. Если следовать прерывистой канве ее рассказов, жизнь в графском доме выглядела примерно так. В рабочее время она прислуживала графине. В свободное занималась рукоделием: вышивала, преимущественно бисером. Кроме того, шила тонкое белье. Трудно сказать, где она обрела навыки белошвейного рукоделия. Не исключено, что, по примеру старшего брата, окончила специальные курсы. И, видимо, успешно. Графиня во всяком случае предпочитала ее изделия французским. Но наладившееся было импортозамещение продлилось недолго. Вскоре графиня умерла. А Евдокия осталась в графском доме.

Замечу кстати, что верхнее платье бабушка Дуня тоже шила, однако не для хозяйских нужд. Сама я этого уже не застала, но знаю со слов мамы: без машинки, маленькими аккуратными стежками; и раскраивала она без выкроек, на глазок. Теперь это кажется странным, но до революции так шили многие: изделие, собранное на живую нитку, подгонялось по фигуре с помощью портновских булавок.

То, дореволюционное время бабушка именovala «царским». С некоторыми его особенностями я познакомилась еще в детстве. Какими бы скучными ни были бабушкины рассказы, в них нет-нет да мелькали отдельные колоритные детали: конфетные коробки, куда — наряду с самими конфетами (каждый конфетный слой переложен белой папиросной бумагой) — непременно вкладывались серебряные щипчики: не брать же, в самом деле, рукой! Или длинные, по локоть, перчатки; или вышитые — белым мулине по белому же шелку — бальные туфельки на гладкой телячьей подошве. Естественно, без каблука.

Может сложиться впечатление, будто набор частных, застрявших в бабушкиной памяти, определился кругом прямых служебных обязанностей, за границы которого горничная не заступает. Однако это — скоропалительный вывод. Ведь есть и другие детали. Каждая из них в той или иной степени поддается объяснению. Но взятые в совокупности — с трудом.

И тут история моей семьи ступает на тонкий лед. Чтобы проделать этот отрезок пути, не поскользнувшись, начну издалека.

Капитолина, бабушки-Дунина старшая дочь (собственно, моя бабушка) родилась в 1911 году. По прошествии короткого времени молодая мать оправляет новорожденную в деревню, где та — под присмотром своей бабушки, Федоры Ивановны — воспитывается до одиннадцати (по другим свидетельствам — до двенадцати) лет. С позиций тогдашнего семейного кодекса это может иметь двоякое объяснение. Первое и очевидное: ребенок рожден вне брака. Но, положим, дело все-таки в работе, которую бабушка Дуня боялась потерять.

Младшая, Раиса, родилась незадолго до революции. Точная дата неизвестна: вроде бы в 1917-м. Так или иначе, в деревню ее не отправили. Но речь уже не о деревне, а о том, что в нашей семейной хронике эти два историче-

ски не сопоставимых события — революция и рождение младенца — объединяет тема «голода».

Здесь следует заметить, что Петербург, столица Российской империи, никогда не голодал. Первые перебои с продовольствием начались уже в Петрограде. Как трудно догадаться, в связи с затянувшейся войной. Растущие цены на хлеб побуждали производителей этот товар «придерживать» — в надежде на дальнейший, еще более существенный, рост. Да и сметливые купцы-оптовики (кому война — кому мать родна), хрустя аппетитными французскими булками, не спешили пронести свою выгоду мимо рта. Количество переходило в качество постепенно. Страна уже балансировала над пропастью, но заинтересованным, а главное, влиятельным лицам все еще казалось: Бог не выдаст, свинья не съест, прадеды-отцы устояли, глядишь, и нас пронесет.

Голодный колокол грянул к исходу 1916-го. Той, предреволюционной, зимой рыночная система снабжения — казалось, давно и прочно устоявшаяся, — начала стремительно и неудержимо разваливаться. Осознав наконец серьезность положения, правительство попыталось организовать продразверстку по твердым ценам. Что — подобно многим другим «царским» начинаниям — завершилось полным провалом.

При этом сами по себе перебои с продовольствием причиной Февральской революции назвать нельзя. Тем более что хлеб в Петрограде был; городские власти (фатально не отличавшие запасов хлеба от запасов прочности политической системы) даже оценивали его запасы как «достаточные». Но когда в последних числах февраля сработали все предпосылки в совокупности, спусковым крючком стал именно хлеб.

Первые яростные призывы к бунту раздались в бесконечных хлебных очередях, по-тогдашнему — «хвостах». Никто еще не догадывался, что это еще не голод, а полго-

лода: настоящий, смертный разыграется позже, когда австро-германская оккупация Украины и части Северного Кавказа — плюс Гражданская война от Поволжья до Урала — оставят под контролем большевиков территории, дававшие прежней России 10% товарного хлеба.

Цифра, равная беспросветности. Особенно если вспомнить, что и раньше, в «царское время», деревня голодала: в годы тотальных неурожаев крестьяне ели хлеб с лебедой. Но и лебеда не спасала. «Дурная боль» — крестьянское наименование голода — сводила с лица земли целые деревни. Выжившие, называвшие себя «нежелателями», устремлялись в города. Путь к спасению преграждали жандармско-казацкие заставы. Эти заставы бабушка Дуня именовала «рогатками».

Те, кому правдами-неправдами удавалось за рогатки перебраться, собственно, и становились горожанами, вливаясь в городской пролетариат. Им, спасенным, было с чем сравнивать. За проходными фабрик и заводов их, по крайней мере, ожидала сытость. Иными словами, городская жизнь — при всех тяготах наемного труда — размыкала тяжкие цепи: освобождала от колодок беспросветной крестьянской судьбы.

«Царские» зарплаты и городские цены бабушка Дуня помнила. В переводе с ее разговорного: «Кто работал, тот не голодал», — на сухой язык цифр средние дневные зарплаты таковы: квалифицированный столичный рабочий получал не менее пяти рублей; чернорабочий — трех. При том что фунт черного хлеба стоил 5 копеек, говядины — 40, сливочного масла — 50¹. Учитывая, что в январе семнадцатого года большинство основных продуктов питания все еще в свободной продаже, трудно

¹ Кстати, деревенские цены она тоже помнила: например, корова — в зависимости от молочной продуктивности и прочих важных качеств — стоила от 3 до 5 рублей.

понять, почему Российскую империю «сотряс» именно хлеб?

Объяснения даются самые разные: от тлетворного влияния революционных партий до возросшего уровня потребления (умирающим-де от голода не до социальных революций). Но бабушка рассуждала по-другому. Если перефразировать ее рассуждения: для крестьянской России «хлеб» — понятие сакральное, выходящее за рамки того, что принято называть «едой». Он — основа существования; главное «лекарство» от «дурной боли». Мало-помалу обживаясь в городе, недавние крестьяне (моя мысль следует за бабушкиной) привыкали к тому, что голод остался в прошлом. Им верилось: навсегда. Эту-то уверенность и разрушили булочные и хлебные лавки, пустив «хвосты».

Фотографии тех, зимних, месяцев сохранили их лица — лица горожан в первом поколении. Не надо особенно вглядываться, чтобы понять: куда бы эти люди теперь ни смотрят, пусть даже в фотографическую коробку-камеру, на самом деле они глядят назад. В их глазах — словно историческое время, дав «хлебный» сбой, пошло в обратную сторону — стоит крестьянское прошлое, от которого они чаяли избавиться, перебравшись в города.

Крестьянская родовая память сродни утрюмой растерянности.

Раньше они знали твердо: как, в случае чего, надо действовать — вековые рецепты борьбы с «дурной болью» языческое сознание усвоило прочно и глубоко.

Первым долгом: опяхать хлебное поле.

В этом обряде (русская провинциальная глубинка практиковала его вплоть до конца 1930-х) участвуют исключительно женщины — затесавшемуся в женские ряды мужику грозит немедленная расправа. Важен и подбор участниц: в опаживальщицы берут далеко не всех. Главный критерий — отрицательная плодовитость. Соху (впрягшись на манер лошади, ее следует протащить гра-

нищей хлебного поля) доверяют девицам, включая «девок, решившихся нейти замуж»; солдаткам и вдовам.

Летом 1918 года моя — уже вдовствующая — прабабушка этому критерию соответствует. Но впрягаться во что бы то ни было, а тем более в хлебные хвосты она не торопится. С годовалым ребенком на руках бежит в деревню. Однако не в Тверскую губернию, где вся ее родня, включая старшую дочь Капитолину. А под Саратов. Как сама она потом говорила: в глухомань. (Где, по прошествии малого срока, девочка Рая умерла.)

Выбор по меньшей мере странный. Тем более что ее родная деревня Горбово ни теперь, ни прежде не голодала, ибо не зависела от неурожая, живя ремеслом. Быть может, решала не она? Знать бы, в каких краях находилось графское имение...

И тут впору задаться вопросом: а, собственно, когда она стала вдовой?

О своем недолгом замужестве бабушка Дуня вспоминала коротко: «Мой муж — солдат». Из этого — если сопоставить даты «похабного» Брестского мира и рождения ее младшей дочери — следует, что осенью 1916 года отец Раисы приезжал на побывку. Но, согласно документам, Яков Копусов, призванный на фронт в самом начале Первой мировой (с тогдашних высоких трибун ее называли Второй Отечественной, меж собой — Германской), погиб в том же, когда его и призвали, четырнадцатом году.

Ну, положим, в похоронные документы закралась ошибка. Более или менее представляя себе бардак, царивший в прифронтовой полосе, этого нельзя исключать. Но что делать с квартирой, принадлежавшей бабушке на правах частной собственности? Конечно, не в дорогом аристократическом районе, вроде Английского проспекта, где семья бабушкиного графа занимала целый этаж (чтобы покончить с графскими адресами: переехав в Петербург из Москвы, они на первых порах сняли дом на Нев-

ском; сюда, на Английский проспект, перебрались позже), — но ведь и не на выселках вроде Васильевского острова, Коломны или каких-нибудь Рождественских улиц, где по моим представлениям должны были селиться семьи солдат.

Отдельная трехкомнатная квартира на Забалканском, 18 (нынешнем Московском) в двух кварталах от Сенной площади — даже по нынешним временам это звучит. А тогда, до революции, и подавно. Особенно если вспомнить, что Петербург — не Москва, где в собственниках состояло едва ли не большинство городского населения. Здесь, в Петербурге, было принято снимать квартиры. Тогда говорили: нанимать. Форма найма зависела от имущественного положения съемщика. Встречались экономные семьи, въезжавшие в городскую квартиру с осени, чтобы к лету съехать и коротать жаркие месяцы на даче. Были, однако, и те, кто превращал нанятую жилплощадь в дополнительный источник дохода, сдавая «лишние» комнаты жильцам.

Кстати говоря, надежного заработка арендодателя бабушка тоже не чуралась.

Первые годы замужества (и это известно достоверно) она провела на съемной квартире, во втором этаже дворового флигеля по адресу: Загородный проспект, 28 — на полпути от Звенигородской к Пяти углам. Свою же, просторную, сдавала студентам. Троицей — по числу комнат. В эту квартиру на Забалканском, по дороге заехав в деревню за старшей дочерью, она вернулась в 1922 году.

К тому времени граф уже исчез. Уехал. Но, если верить дворнику, не в Херсонскую губернию, куда в те годы отправилось немало представителей эксплуататорских классов (дорога в херсонский край начиналась здесь же, поблизости, на Гороховой улице, в известном всем и каждому подвале). Однако чрезвычайных мер социального воздействия граф счастливо избежал. Угоди он в лапы «чрезвы-

чайки», бабушка бы об этом знала. Ведь должна же она была, вернувшись из первой в своей жизни эвакуации, сходить на Английский проспект. Поговорить по старой памяти с *ихним* дворником.

Мне, исходявшей Ленинград вдоль и поперек, не нужна карта, чтобы представить ее горький маршрут: сперва по Забалканскому до Фонтанки, потом по набережной и дальше, перейдя Английский мостик, в сторону Пряжки, минуя Екатерингофский и Офицерскую — отсюда до графского дома уже рукой подать.

Еще не зная бабушкиной истории, я ходила этой дорогой, всякий раз испытывая неизъяснимую грусть: словно оказывалась в печальной декорации давно прошедшей жизни, от которой ничего не осталось — кроме этих домов, подернутых ленинградской влагой, похожей на что угодно, кроме слез...

В 1922-м гопота уже не гуляла. Но, помня бравых революционных матросов, громивших частные квартиры наперерыв с гопниками, дочь Капитолину она взяла с собой. (Через двадцать лет, в 1942-м, она снова возьмет за руку девочку, мою маму, и отправится в путь с той же самой целью: проверить, что стало с теми, кого ей пришлось оставить волей-неволей.)

О чем думала девочка Капа, выросшая в деревне... Скорей всего просто шла, поглядывая по сторонам. Принимая все, что видит, за чистую монету. Значит, вон он какой, их хваленый Питер. *Огромный и пустой*. А говорили, будто тьма народу, ходят туда-сюда, ездят кто в каретах, кто на извозчиках, дамы в нарядных платьях, щеголяют, хвастают друг перед другом, дядя Сергей обещал, и мне такое сошьет, синее, кружевное по подолу, будто с картинки в модном журнале...

Вряд ли Евдокия обращала внимание на дочь. Шла, погруженная в себя. В ее памяти эти дома — живые: в них живут прежние хозяева. Семейные, одинокие. Днем они

ходят по делам. Господа — в присутствие, их жены — по своим дамским надобностям, кухарки — на Сенной рынок за провизией, гувернантки с детьми — в ближайший, открытый для «чистой» публики, сад.

От размеренной «царской» жизни не осталось и следа. Город в прямом смысле обезлюдел. Вместо предреволюционных 2 400 000 — 700 тысяч. В отличие от меня, знающей голые цифры, она своими глазами видела эту пустоту... Но не только течение жизни — что-то нарушилось и в самих людях: нынешние, попадавшие навстречу, глядели мрачно и настороженно.

Они выходят на Английский проспект. В здешней местности у меня свои ориентиры: слева — на углу Офицерской и набережной Пряжки — дом, где в квартире на четвертом этаже все последние годы жил Александр Блок. Но она вряд ли слышала его имя. Хотя завсегдатаи графской гостиной наверняка цитировали то, знаменитое, написанное в далеком четырнадцатом: *Рожденные в года глухие...* В 1922-м поэт уже год как умер — не от голода и даже не от сыпняка, — задохнулся в пухнувшей день ото дня густопсовой пролетарской свободе, приближение которой с энтузиазмом неопита приветствовал, еще ни сном ни духом не догадываясь: недалек тот день, когда Россия съест его как *глупая чушка своего поросенка* — о его горестной судьбе бабушка, понятно, не знала. А если б знала, как назвала бы этот мертвящий дух — *задохлотью*?

Наконец дошли. В мирные годы графский дом, построенный в стиле модерн, гляделся сущим барином. Теперь, одичав, он смотрит бирюком. Входная дверь забита. Парадной лестницей не пользуются. Новые жильцы привыкли ходить черной. Замок на воротах выломан. Чугунные створки — настезь.

«А эт-та кто ж у нас такая?»

Она узнает дворника по голосу. «Моя дочь. Капа... Капитолина... — отвечает машинально, косясь на кухонные

окна: петербургские кухни, как правило, выходят во двор. — А... где?..»

«Барин-ти?» — дворник по-новому, по-плохому, усмежается. Раньше его семья ютилась здесь же, в подвале, теперь переехала в графский бельэтаж.

И то сказать — где он, тот граф! Нетути. И след евоный простыл...

При полном здравомыслии, которым бабушка всегда отличалась, вряд ли она надеялась повторить судьбу Полины Жемчуговой. Но фотографическую карточку хранила. В коробке из-под конфет, где лежали все ее документы. (Судя по ангелам на крышке, шоколад съели еще в «царское время».) Однажды я эту карточку видела. Всего одно мгновение — потому и не запомнила лица. Но помню контекст.

Накануне родители обсуждали, в кого я все-таки *пошла*. В этом схоластическом споре — мама настаивала, что в ее отца, — мы с бабушкой не участвовали, но, сидя за шкафом, слушали. (Этот посудный шкаф, поставленный поперек комнаты, играл роль пятой стены. Слева от него, окнами на Театральную площадь, жили мы с родителями. Бабушка Дуня — справа: окно ее выгороженной «комнатки» глядело во двор.)

На другое утро бабушка заплела мне косы, но умываться не отправила. Достала конфетную коробку. Открыла, вынула карточку.

«Знамо в кого».

Не слова — слова я пропустила бы мимо ушей (бабушка часто говорила непонятно), — а интонация, похожая на шлейф старинного бального платья. Бабушкин голос держал ее так, что ткань, расшитая бисером, не касалась земли. Завороженная этой воображаемой картинкой, я встала на цыпочки и прежде, чем она спрятала карточку в коробку, успела заглянуть.

Однако сопоставлять одно с другим и вообще *думать в эту сторону* я начала уже после ее смерти. По молодости

лет (разве не интересно обнаружить в себе следы «благородной крови», пусть и не подтвержденные документально) — это волновало. Не зная ни имени, ни фамилии, я пыталась угадать его судьбу.

Единственное, что представлялось достоверным: унося ноги из Совдепии, беглый граф держал в голове Европу, о которой у него сохранились самые светлые воспоминания. Его путь мне неведом. Остается только гадать: с проводником через отпавшую от российского тела Финляндию, или сперва на Украину? А, может, и вовсе через Крым? Самому ему мнилось — ненадолго: месяца на три или, скажем, на шесть. Пока власть большевиков не растает яко воск от лица огня. Крайний срок — год.

Графское легкомыслие меня не удивляет. Родовая память — она ведь не только у крестьян. Благородным классам их память нашептывала: да, русский бунт бессмыслен и беспощаден. Но, к счастью, короток. Побунтуют-побунтуют и выдохнутся.

Вряд ли — в той исторической нервозности, которая людям его круга виделась предотъездной суетой и спешкой, — он нашел время взглянуть в лица горожан, замерзавших в хлебных «хвостах». Склониться к совету Блока, призывавшего слушать музыку революции. Да и что бы он в ней услышал? Сумбур.

Чем я могу его утешить... Тем, что его постигла не самая тяжкая участь? Даже в сравнении с бабушкиной: она-то осталась тянуть советскую лямку. Я уж молчу о тех, кого он почитал ровней. Ведь не я, а кто-то из них сказал: «Профукали Россию». Но у меня есть что добавить к этим горьким словам.

Раньше, господа, надо было чухаться. Не порхать по бальным залам в белых вышитых туфельках. Не надеялись бы на свое извечное, крепостное (мы-де — ваши отцы, вы — наши неразумные дети) — глядишь бы, и пронесло... Так я пеняла исчезнувшему графу, воображая нашу



невозможную встречу: не поколений — цивилизаций. Тех, что до революции стояли на разных берегах.

Но теперь, когда я сама себе и графиня, и горничная, и портниха (прежде чем отправить себя на бал, собственноручно шью себе бальное платье, а могу и вышить, как то, школьное, выпускное), — мне больше неинтересна эта игра. Меня не проведешь на мякине «благородства» и прочей «голубой крови». И если однажды, из самых достоверных источников, я узнаю, что Яков Филимонович Копусов и вправду прикрыл венцом графские грехи, я скажу твердо, как моя прабабушка: «Ваши источники ненадежны. Мой прадед — солдат».

С Японской, на которой успел повоевать прежде, чем уйти на Германскую, Яков вернулся с трофеем — привез жене портновские ножницы. Черные, неимоверной длины. В нашей семейной фуге они сыграли свою скромную партию: этими удобными ножницами, пока окончательно не затупились, я долгие годы кроила. Теперь они лежат в верхнем ящике комода. Там, где мой семейный архив.

Сохранились три бабушкиных фотографии. На первой, «царского» времени, она — молодая женщина лет двадцати. Чуть припухший, как свойственно юности, овал лица; светлые волосы разделены на прямой пробор и подняты узлом на затылке или (модель стоит анфас) убраны в косу; темная слегка расклешенная юбка в пол, талия перетянута широким поясом (горничной корсет не по чину); шелковая полосатая блузка с продольной планкой под застежку (судя по тому, как планка прилегает к полочке, флизелин еще не изобрели).

Глядя на бабушкины руки — левая кисть лежит на столике, правая касается спинки стула, — я узнаю в них свои. На второй она уже с дочерью и зятем.

Вместо прежнего, «царского» интерьера, которым я любовалась в детстве (изящный столик о трех резных ножках, покрытый вышитой салфеткой — через много лет,

A black and white studio portrait of three people. On the left, a man stands in a dark suit and tie, leaning his right hand on a small, dark, three-legged table. In the center, a woman is seated, wearing a dark dress with a prominent white collar featuring decorative buttons. On the right, another woman stands in a dark, sleeveless dress. The background is a dark, mottled studio backdrop.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

обнаружив его подобие на ближайшей к дому помойке, я не удержалась, взяла его себе; букет цветов, на мой взгляд искусственных; невнятная картина маслом в дубовой раме; складчатая занавеска, подхваченная витым шнуром, — сказать по правде, на «графский дом» это не похоже: слишком много навязчивых деталей, выдающих дешевую, мелкотравчатую имитацию), — вместо всего этого стул и голый столик.

Бабушка сидит.

Миновало четверть века. Ее молодость осталась в прошлом. Овал лица стал жестче. Черты суше и собраннее — девичья припухлость ушла. Она — зрелая женщина, на удивление элегантная — видимо, сказалась прежняя, петербургская, «закваска». Строгое темное платье, отделанное тесьмой, отдаленно (не фасоном, а общим видом) напоминающее стиль мадам Шанель. На мой взгляд портнихи с многолетним стажем, глазом и подгонкой дело не обошлось. Тут требуется выучка профессионального кройщика. Я бы не удивилась, узнав, что бабушкино платье — дело рук Сергея, ее старшего брата.

СССР, напротив, переживает бурную молодость: коллективизация в общих чертах уже завершилась, индустриализация разворачивается полным ходом. Вглядываясь в бабушки-Дунино лицо, я пытаюсь найти следы времени, но не личного, прошедшего в стороне от всех «великих свершений», а общего, о котором по сию пору ведутся яростные споры (нам, болтливым потомкам, досталась в наследство расколотая страна). В зависимости от того, чья сторона получает позиционное преимущество, характеристики времени разнятся: в диапазоне от небывалого энтузиазма до невиданного страха.

Глядя на бабушкину фотографию, ни того ни другого я не нахожу. В ее глазах сдержанное достоинство. Ему соответствует платье, пошитое строго по фигуре (не какой-нибудь колхозный *спинжак* с подкладными плечами).

Но главное — спина. Не деревянная, как на старых крестьянских фотографиях (в народе говорят: будто аршин проглотил), а именно ровная. В том, как бабушка держит спину, видна укоренившаяся привычка к независимости. Рискну сказать: к свободной жизни. По тем временам уже незаконная.

НЭП доживает последние дни; «Дело Промпартии» уже шьется. Но что ожидает страну в ближайшем будущем, этого не знает никто. Даже граждане с университетскими дипломами, привыкшие ловить, а вернее, подлавливать пролетарскую власть на тактических противоречиях: дескать, расстрел царской семьи уравнивается философским пароходом, да и НЭП — его ведь тоже не сбросишь со счетов.

Как во всем этом смогла разобраться женщина, закончившая три класса церковно-приходской школы... Причем не тогда, когда уже жжет пятки, а лет за десять до пылающих, именем инквизиторской власти, костров. Но факт остается фактом: она поняла. И, осознав, к чему клонится дело, приняла контрмеры.

Задолго до того, как эта новая власть превратила захваты жилплощади в стройную и по-своему эффективную политику «уплотнения», бабушка, распознав за ней грядущую государственную многоходовку, сыграла на опережение. Не дожидаясь, пока в две (из трех ее изолированных комнат) поделят кого ни попадя («Маню с трудоднями», — так она говаривала уже на моей памяти, высокомерно путаясь в советских реалиях), уплотнилась сама, пригласив к себе заведомых, в глазах власти, еретиков, по-тогдашнему «лишенцев», которых злокозненная пролетарская справедливость согнала с насиженных мест, лишив своего угла. (Прикидывая это решение на себя, я восхищаюсь бабушкиной решимостью: я-то наверняка бы промедлила — а вдруг само рассосется. Ну и дождалась бы: за стенкой стукача.)

Второй шаг стратегии, которую, вернувшись в Петроград, она для себя выработала, — подходящая работа. Бабушка устроилась в больницу Коняшина. Нянечкой в приемный покой. (Кстати сказать, слово «хожалочка» я узнала не от нее, а от Галича.)

Кроме прямых служебных обязанностей (благо, нехитрых: принять от больного его собственную одежду, выдать взамен казенную и, если ходячий, проводить), было и общественное поручение: в рабочее время бабушка ходила за тканями. Выстаивала длинные очереди. Тканями она обеспечивала всех сотрудников приемного покоя: врачей, санитарок, медсестер.

Работа нянечки позволяла экономить. В дни дежурств бабушка питалась в больнице. Кормили хорошо, накладывали большие порции. Что не доедала, забирала домой. Дополнительная статья экономии: постельное белье. Как рассказывает мама, «бабушка пользовалась больничным. За ней всегда числился комплект. Грязное она приносила обратно, меняла на чистое. Мылась она тоже в больнице», — дома, на Забалканском, нет горячей воды.

Может сложиться впечатление, будто, рассуждая о сознательно выбранной стратегии, я выдаю желаемое за действительное. В то время как особых ее заслуг нет. И вообще, уже если такая умная, почему так бездарно распорядилась своим умом. Ну пусть не бездарно. Неблагоразумно. Три церковно-приходских класса? Так другие и во все начинали с нуля. Заканчивали курсы ликбеза. Но не останавливались на достигнутом, а, как тогда говорили, *тянулись*. Некоторые, особо упорные, дотягивались до института Красной профессуры¹. Другие благоразумицы,

¹ Авторефераты докторских диссертаций этих светильников разума мне доводилось читать. В мое время их «научные выводы» казались смешными. Однако старорежимным профессорам, которых они постепенно вытесняли (в лучшем случае «за штат», в худшем — на нары, а то и подводили под расстрел), было не до смеха.

бог с ними, с институтами, создавали крепкую семью. Вот и ей бы. Тем более Иван Леонтьевич Превалов, мамин крестный, до войны работавший в «Метрополе» (не то шеф-поваром, не то метрдотелем — этого его крестница не помнит), не раз и не два делал предложение. По крайней мере питалась бы по-человечески, не казенной, а ресторанной пищей.

На этот вопрос у меня нет внятного ответа. Мне не примерить ее опыт на себя. Бабушка жила в другую эпоху, когда время, встав на этот скорбный путь во дни революции, катилось вспять. На нем, словно на лицах горожан в первом поколении, лежала густая тень. Осененная этой тенью, страна погружалась в новое Средневековье. Все быстрее и быстрее, час от часу, год от года — вопреки оптимистическим заклетьям: «Время, вперед!»

Это для нас их будущее стало прошлым. Вот мы и слышим метроном времени, ведущий обратный отсчет.

Под звуки этого метронома я думаю о ее дружбе с «бывшими» — в это понятие она вкладывала не государственный, а свой личный смысл: те, кому революция переломила суставы жизни; отняла — даже не скромную собственность (не дворцы или, скажем, особняки), а все, что они сами считали нормальным человеческим существованием. Разрезала по живому. Как языческий плуг, «опахивающий» деревню: будто они — жалкие полевые цветы, на чьи корни революционный плуг не обращает внимания, когда походя режет их и рвет.

Быть может, именно потому, что не чувствовала укорененности в новой, пролетарской, эпохе, бабушка нас не воспитывала. Скорее, учила. Дочь Капитолину — терпению. Внучку Веру — нормальной человеческой жизни, не похожей на ту, какую ее внучка (моя будущая мама) видела окрест себя. Чтобы продолжить эту цепочку поколений, я должна вспомнить, чему она учила меня.

IV

На третьей, последней, фотографии мы вдвоем. Бабушке Дуне семьдесят пять (прошло еще четверть века). Мне — четыре, и я уже умею читать. О чем свидетельствует раскрытая книга, с которой мне не расстаться. Но читать меня учила не бабушка, а отец.

Вечерами, когда он разворачивал газету (как сейчас помню, «Известия»), я, подсев поближе и тыча пальцем в заголовки, канючила: ну скажи, какая буква, скажи... На первых порах он отвечал машинально, но потом, видно, удивившись настырности, с какой трехлетнее существо рвется в грамотеи, принялся писать на листочке из блокнота. Сперва вразброс, потом в строгой алфавитной последовательности: от «А» до «Я». Как складывать буквы в слова, я сообразила сама. Через год, обнаружив, что я худо-бедно читаю, мама решила записать меня в кружок английского языка, одновременно — каши маслом не испортишь — купив языковое лото. Против лото бабушка не

возражала, но к затее с кружком отнеслась скептически: «Чему надо — выучится. Успеет».

Собственно, по-бабушкиному и вышло. При том что учили меня многому, мои главные умения: складывать слова и шить. Шить я начала лет с шести. Улучив момент, когда в комнате никого не было, села за машинку и, крутанув боковое колесо, проложила первую в своей жизни строчку.

Хочется сказать: строку.

Но еще раньше бабушка научила меня штопать. Следила, чтобы я работала медленно и аккуратно: нить за нитью, вверх-вниз, изнанка-лицо. Не прощала ни малейшей небрежности. Чуть что, заставляла переделывать. Будто на моем «грибке» не рваный носок, а нечто неизмеримо большее. Положим, прореха во времени. Которую надо не залатать, наложив грубую заплату, а медленно и аккуратно заштопать.

Вверх-вниз, с лица на изнанку, с изнанки на лицо.

Теперь, по прошествии десятилетий, я могу сказать, что в основе моей жизни лежат разные нити. Но именно бабушка Дуня, не отдавая себе в этом отчета, проложила ту, единственную, держась за которую, я — уже после ее смерти — выбралась из лабиринта советской жизни.

В тот день мы шли к Никольскому собору. Помню, бабушка остановилась. «Пожить бы еще лет двадцать...» На что я — нет бы за умную сойти — ляпнула: «Зачем? Ты и так старенькая». Теперь-то я уверена: бабушка разговаривала не со мной, но поняла меня правильно: «Поглядеть, чем дело закончится. У большевиков». И, не дожидаясь встречного вопроса (который вертелся у меня на языке — в то время я и понятия не имела, кто такие эти большевики), ответила: «Разворуют царское и сгинут».

Черт с ними, с большевиками. Я не о них. И даже не об уме. Кто из умников — тогда, в начале шестидесятых, когда случился этот разговор (который я запомнила, не поняв ни слова), — мог такое предположить?

Единственное, в чем бабушка ошиблась, — в сроках. В начале девяностых нам казалось, лет на десять. На этом шатком основании мы возомнили себя победителями. А с другой стороны, история-то не закончилась. Так что, почем знать...

В 1930-м, после замужества дочери, бабушка осталась одна. Одиночество ее не тяготило. Скорее, наоборот. И раньше не особо хлопоча по хозяйству, теперь она и вовсе не заморачивалась.

Что вовсе не означает, будто в вопросах питания бабушка была не переборчива, или хуже того, всеядна: ела, что Бог послал. К божьему пайку она всегда добавляла. Свежие фрукты с рынка (в те годы фрукты считались барством, их и в магазины не завозили — кроме, кажется, мандаринов к Новому году); шоколадные конфеты; хороший крепкий чай. Чаевничала она по всем правилам: скатерть, тонкая фарфоровая чашка (от «царского» времени сохранились два сервиза: с японками и с незабудками), серебряные щипчики. Сахар бабушка признавала исключительно колотый. Конфеты разрезала на мелкие кусочки. Чтобы пить вприкуску. Не дай Господь — с песком!

Через год у нее родилась внучка. Моя будущая мама.

Родильное отделение больницы Коняшина находилось по соседству — в одном из корпусов Новодевичьего монастыря. К началу тридцатых монастырь, разумеется, разорен.

За решением властей (там, где до революции жили монашенки, теперь пусть корчатся роженицы) явственно виден замысел, отвечающий большевистской *изнаночной* логике. Согласно этой логике, прошлое надо не просто стереть из памяти — его следует «перекоммутировать», вывернув наизнанку (языческое сознание, глубоко погруженное в древние сакральные смыслы, ко всякого рода «перекоммутациям» относится всерьез).

По маминым словам, бабушка «очень переживала, расстраивалась, что не мальчик. Говорила: нельзя ли поменять?» (Тут, в отличие от «квартирного» вопроса, она, что называется, дала маху, не распознав замысла судьбы, уже строившей на мальчиков свои, далеко идущие, планы.) Судя по возмущенной реакции: «С ума сошла, девка красивая, умная, таких не меняют!» — медсестра, явившаяся с радостным известием, бабушкиной шутки не поняла.

По этой ли причине (как сказали бы нынче: гендерного разочарования), или, пережив смерть Раисы, боялась брать на себя ответственность за младенца — с новорожденной бабушка не сидела. В гости на Забалканский внучка стала ходить, когда немного подросла. Но и тогда бабушка брала ее к себе ненадолго. На день-два, редко — на неделю. Однако эти недолгие гостевания сыграли в маминой жизни особую роль.

Погостить у бабушки — казалось бы, что здесь особенного? Чтобы ответить на это вопрос, придется сравнить жизнь на Забалканском с жизнью на 1-й Красноармейской, в маминой родной квартире. Забегая вперед: между ними лежала пропасть. По сути, непреодолимая. Не два различных уклада — а две цивилизации. *Две формы жизни.*

Мамина, на 1-й Красноармейской¹, началась в июле 1931 года, когда из бывшего женского монастыря ее привезли в пятикомнатную коммуналку, где ее родители — Капитолина и Василий — занимали свои законные 8 квадратных метров. Эта односторонняя квартира (нынешние риелторы сказали бы: «гребенка») выходила окнами

¹ Еще один пример «перекоммутации»: до революции Красноармейские улицы назывались Ротами. Всего их насчитывалось двенадцать (тринадцатая — Заротная) по числу ротных подразделений Измайловского лейб-гвардии полка.

на банный двор. Беря выше и шире (как если бы google-карты в те годы уже существовали), в окрестностях дома можно разглядеть Военно-механический институт и большой гастрономический магазин. Однако центром предвоенного мироздания остается все-таки баня. В будние дни работавшая как «женская». Но по субботам и воскресеньям в ней обслуживали солдат. На помывку их приводили строем. Спустя годы (хотя сама она в этом не участвовала, для подобных развлечений была еще маловата) мама рассказывала: «Наши девушки висели на окнах, болтали с солдатами, заодно, наверное, подсматривали...»

Мне, доподлинно знающей, что станет с этими чистыми мальчиковыми телами, слышится слово: *напоследок*. Из мальчиков, отправленных на фронт летом 1941-го, в живых останется 3% от общего числа.

«В первой комнате, — рассказывая о своей родной квартире, мама считает от кухни, — жила другая моя бабушка, Мария Лукинична. Кроме моего отца, у нее было еще три сына: Александр, Андрей и Григорий».

В маминой памяти их комната выглядит так: «Все пространство занимали кровати. У двери деревянный резной буфет. Шкафа не было. Посредине стоял дубовый стол на толстых ножках».

Раньше им принадлежала и восьмиметровая комната, но после женитьбы Василия ее отдали молодой семье. Мамин брат Виктор родился в ноябре 1939-го, но отец так его и не увидел: как раз тогда, в ноябре, он ушел на Финскую, а когда вернулся (в апреле 1940-го), младенец Виктор уже умер от менингита.

Еще один мамин брат родился мертвым. Потому и нет имени: не успели дать.

Счет мальчиковых смертей на этом не останавливается. Сын соседки Муси умер зимой сорок первого (не бло-

кадной, а предвоенной). Мамин двоюродный брат Алик годом позже — в блокаду. Потом, после войны, они говорили: в нашей квартире мальчики не живут.

Война — рубеж. В маминих рассказах все строится на этом разделении: «перед войной» и «после». К этому я давно привыкла и почти не замечаю. Но зачем, рассказывая о жизни соседей, мама, в качестве предупреждения, неизменно указывает метраж? Словно все, что случится с ними в дальнейшем — не слепой замысел судьбы, а точная математическая функция от площади их комнат: закономерность, над которой можно сколько угодно ломать голову, но нельзя разгадать.

«Следующую, метров восемнадцать, — мама рассказывает, я записываю на диктофон, — занимала полячка Варвара Феликсовна. Она умерла перед самой войной. Но успела пригласить к себе каких-то дальних — скорей всего, по мужу, — родственников. Александру Ивановну с тремя дочерьми: Шуркой, Валею и Люсей...»

В июле 1941-го Александра Ивановна, чью голодную крестьянскую память еще не отшибло, увезла младших дочерей назад, в деревню. Ей казалось: на деревенские хлеба.

«Осталась одна Шурка».

За маминими словами мне слышится интонация из дневника Тани Савичевой¹. Будто мы обе, и я и мама, идем у него на поводу.

На самом-то деле Шурка вывернула Танину судьбу наизнанку, догадавшись — ранней осенью 1941-го, когда большинство ленинградцев еще надеялись, что все будет как в Финскую: победно, быстро и на чужой террито-

¹ Ленинградцы знают этот дневник, маленькую записную книжку, обтянутую шелком, в котором одиннадцатилетняя блокадная девочка ведет свой страшный учет. Последняя запись, сделанная одереvenелыми пальцами: «Осталась одна Таня».

рии, — устроиться работать управхозом. Но не по месту жительства, где ее знали, а на какой-то из дальних Красноармейских.

Блокадная должность управхоза — «золотое дно». От тех, кто умирал, оставались не только карточки (для нечистых на руку управхозов, а таких, по мнению выживших ленинградцев, было большинство, эти выморочные карточки — программа минимум), но и ценные, весьма ценные, вещи. В общем, есть где разгуляться, особенно если ты — девка-хват. После войны Шурка не могла удержаться, хвасталась перед соседями. «Показывала ожерелье необыкновенной красоты».

Вот так, преуспев в блокаду, она — из простой деревенской девахи — превратилась в интересную и весьма состоятельную дамочку, которой нет дела до родни.

Следующая комната: тети-Настина. По маминой экспертной оценке, метров 13. (Тетю Настю я помню: в моем детстве она — маленькая сморщенная старушка. Повторяя за мамой, я называла ее не бабушкой, а «тетей Настей».) У нее было две дочери: Надя и Женя. Про довоенную жизнь их семьи мама рассказывает так: «Тети-Настин муж, дядя Тима, в мирное время служил в пожарной охране. С тетей Настей они не были записаны. Она — Каковкина, он и дети — Харлампиевы. Но до войны все было проще: записаны, не записаны — прописывай кого хочешь».

Если прочесть слово за слово, бросается в глаза обилие производных от глагола *писать*. Кажется, мама упомянула все, характеризующие отношения советского человека с родным государством. За исключением одной — по тогдашним временам решающей. Но доносов в их квартире не писали. Те, на кого можно было донести, не давали поводов: молчали и таились. Те же, у кого мог возникнуть такой соблазн, решали свои жилищные проблемы другими путями. Как, например, Шурка, отвоевавшая себе от-

дельную, собственную, комнату путем взаимной переписки с выжившими в оккупации родственниками. «В сорок шестом, когда ее мать и сестры хотели вернуться, Шурка их не приняла. Написала им письмо: дескать, не приезжайте, все равно не пропишу».

Пример красноречивый, но, как впоследствии выяснилось, не единственный.

До войны у тети Насти тоже жила деревенская родня. Племянницы, племянники, приезжавшие в Ленинград на время. На время же и прописанные. «Приезжали, уезжали, тетя Настя никому не отказывала». Единственная из неиссякаемого потока, о ком мама никогда не упоминала: тети-Настина двоюродная племянница Марфа. Почему — об этом позже.

Еще одна соседка — Мария. Она жила в тупике на месте бывшей прихожей — восемь метров без окна. В ленинградских коммуналках такие тупики — обычное дело (как правило, со стороны парадной лестницы, которой пользовались прежние жильцы: в новой жизни с барами покончено, барские привычки нам чужды), но чаще в них устраивают кухню. «В войну эта Мария исчезла. На ее место вселилась новая жиличка — тоже Мария. И обе стервы», — в маминых рассказах отголоски коммунальных распрей звучат до сих пор¹.

На другом конце коридора — со стороны черной лестницы — тоже устроена выгородка. Мама называет ее «тамбур». Общий для двух квартир: 22-й, маминой, и 23-й — соседней. Сперва я поняла это так, будто в тамбур открывались обе квартирные двери. Оказалось — нет.

¹ Уже перенося мамин рассказ на бумагу, я задумалась, стоит ли оставлять в тексте все без исключения имена. В конце концов, читателю нет до них дела. А потом решила: пусть эти люди останутся. Хотя бы здесь.

В плане их три (вообразим себе технический паспорт, нарисованный на плексигласе, — а потом, украдкой, со-трем). Третья ведет в соседскую кухню. Расположенную *отдельно* от квартиры. Что создавало для жильцов известные трудности. Только представьте: сто раз на дню, туда-сюда. С кастрюлями, со сковородками, с тазами. А если еще и с ключом?.. Потому и не запирали. «Кухня стояла пустая — никакой утвари, только голые столы и плита».

Кстати, дверь на лестницу тоже не запирали. На ночь ее закладывали на крюк.

Чтобы завершить тему замков (вернее, их отсутствия): «Раньше с внутренней стороны была защелка. Потом, видно, надоело стучать, звонка ведь тоже не было, из двери вырезали кусок доски». В результате нехитрой операции образовалась дырка: сунь руку, отодвинь защелку и входи. Из тамбура попадали прямо в кухню. Длинную, метров четырнадцать. «На все про все одна раковина: хочешь, умывайся или мой посуду, хочешь — ночные горшки». Грязную воду сливали туда же, в раковину. Хотя туалет в квартире был. Мама вспоминает: «Унитаз стоял на бетонном основании. Нам, детям, казалось: высоко».

Этаж над квартирой занимала школа. «От беготни и топота у нас все дрожало, особенно на переменах». С перерывом на уроки топот стоял с раннего утра. Преимущества такого соседства открылись позже, когда она сама стала школьницей. «Нянечка, дежурившая на первом этаже, никого не выпускала. Но там была еще одна дверь, на нашу лестницу. Дверь не запиралась. Надоело сидеть на уроках — снимай крюк и выходи». В первом классе мама частенько это проделывала. Так же решительно, как двумя годами раньше раз и навсегда разделалась с детским садом: позавтракала, поиграла с детьми и (придя к выводу, что во дворе в сто раз веселее), никому не ска-

завшись, ушла. Благо детский сад близко. Буквально через дорогу.

Теперь о хозяйственных делах. Мелочь стирали в кухне, там же и сушили. Крупное: платья, рубахи, постельное белье — во дворе. В подвальном этаже действовала общественная прачечная. «Большая, может быть, метров сорок. Там были печи и два огромных котла. В одном кипятили белье, в другом — воду. Холодная лилась из крана. Стирать пускали по записи, запись вел дворник. Стирали в деревянных лоханях. В этих лоханях были затычки — грязную воду лили на пол». Выстиранное белье сушили на чердаке, разгороженном на отдельные секции — по числу квартир.

«В сентябре, после первой бомбежки, дощатые перегородки разобрали и выкинули. По всему периметру чердака выставили бочки с песком». Этим песком взрослые, дежуря по очереди, тушили зажигалки. Однажды она тоже затушила. За это ей влетело от матери: зачем ходила на чердак!

Белье обязательно гладили. Чугунным утюгом. Раскаленный утюг голой рукой не возьмешь. Пользовались прихватками. Запах горелых прихваток я помню. Чугунными утюгами — одним гладишь, другой в это время греется — я успела попользоваться, пока не обзавелась электрическим. Некоторые хозяйки еще и катали. «Валиком и каталкой — такая длинная палка, волнообразная», — этого объяснения я так и не поняла.

Катая белье, мамина мама пела.

Готовили на керосинках и примусах. Газа не было. Ленинский район, к которому относятся Красноармейские, газифицировали перед самой войной. «Нет, конечно, газ — это было великолепно, но на двадцать человек четыре конфорки. Вокруг плиты вечно возникали стычки. Особенно по вечерам. Те, кто не работал, старались управиться в дневное время».

Но детей эти стычки не касались.

Главная детская жизнь протекала во дворе или в Польском саду¹. «Летом мы болтались на улице до самого вечера, пока не позовут».

Со двора дозваться легко. Из сада — еще попробуй: Польский сад небольшой, но в те времена очень густой. Деревья, высокий кустарник — летом в кустарнике можно прятаться. Зимой в саду заливали каток и устанавливали горку. Деревянную, высокую. Мама говорит: «Как два этажа», — для городского ребенка *этаж* — мера высоты. Поблизости был еще один сад, побольше. Сейчас там Молодежный театр, а раньше, до войны, театр Буфф. «Летний, в одну досочку, точь-в-точь сарай. Иногда, когда зрителей было мало, нас туда пускали. Говорили: сидите тихо». *На протырку* — понятие не из девчачьего лексикона: в кино на протырку ходили мальчишки.

Двор большой. «По всему периметру стояли дровяные сараи, в большинстве двухэтажные. А еще в нашем дворе жила лошадь. При ней состоял конюх, дядя Кирилл — он возил дрова. Его дочку звали Полина Иванова».

Полин Ивановых во дворе две. Чтобы как-то различать, дочку дяди Кирилла называли «По́ля дворника». Другая Полина Иванова — мамина подруга, «по национальности мордва». Их семья занимала комнату в подвальном этаже, «громадную, метров пятьдесят». Кроме Полиной, там жили еще две семьи. «Если заглянуть в окно — одни сплошные кровати. А шкафа у них не было. Одежда висела на гвоздях». Но в те годы этим никого не удивишь.

Другая подруга: Ляля Харьковец — на два года старше мамы. А еще Зоя, Ева и Ата (Рената) — родные сестры.

¹ На самом деле сад бывшей усадьбы Г.Р. Державина (теперь его дом-музей). Фасадом усадьба выходит на Фонтанку. Название Польский — по близости католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, куда ходили в основном поляки.

О том, что они еврейки, мама понятия не имела. Из чего я заключаю: про «мордву» взрослые упоминали, про евреев — нет. Акцентуация на «еврейской теме» возникнет позже, в конце сороковых.

Девчоночки дворовые забавы переходят из поколения в поколение: «Мы скакали на скакалках, играли в классики. Или в куклы». У мамы был деревянный ящик с игрушками. Дешевые, пластмассовые, ей покупали родители. Куклы шила бабушка. Свой ящик мама частенько выносила во двор. Еще одна игра, из любимых: «в магазин», взвешивали «продукты» — без бабушки и тут не обошлось, это она принесла из больницы сломанные весы.

Иногда всей дворовой компанией ходили гулять «на шесть улиц». Если считать от Витебского вокзала: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Чтобы легче запомнить последовательность названий, кто-то из местных жителей — давно, еще в XIX веке — придумал мнемоническую присказку: *разве можно верить пустым словам балерины.*

На Серпуховской жила Соня (тоже «бывшая», из бабушкиных петербургских знакомых). Потом она стала маминной крестной. Крестным — Иван Леонтьевич Превалов, тот самый: не то шеф-повар, не то метрдотель из «Метрополя», за которого бабушка так и не вышла замуж, но во внучкины крестные позвала. Крестили в Измайловском соборе. В 1931-м собор еще действовал, но крещения уже не поощрялись. Секретный циркуляр «О мерах по усилению антирелигиозной работы», приравнявший борьбу с религией к классово-политической, разослан по инстанциям в 1929 году. Впрочем, кроме ответственного работника «Метрополя», остальным терять нечего: мать новокрещаемой — прачка, отец — рабочий.

«С мальчиками-одногодками мы играли в казаки-разбойники, в пятнашки, в ножички, в Тимура и его команду. — Была, оказывается, и такая игра. Я-то думала, как

в книге. Оказалось, все наоборот: — Мы никому не помогали, просто считалось, что помогаем».

Но самая любимая забава — лапта. «В лапту играли все, даже большие мальчишки».

«Большим» в то время лет по пятнадцать-шестнадцать. Наряду с общими, у них свои, опасные, развлечения. «Случалось, они выгоняли нас, малышню, со двора. Говорили: уходите, уходите отсюда».

Один такой случай мама прекрасно помнит: «У нас на 1-й Красноармейской был гастроном. Когда продукты подвозили с вечера, холодильников-то не было, их запирали в кладовую. Там деревянная дверь с решеткой. Однажды большие мальчишки эту решетку выломали, влезли и взяли колбасу. Эту колбасу они раздавали всем — каждому из нас досталось по целому батону. Домой нести нельзя — это мы уже соображали. Что-то съели, остальное выбросили. Прекрасная была колбаса, ароматная».

Вообще говоря, «больших мальчиков» могли посадить. Но обошлось. Им судьба готовила иную участь: погибшего поколения.

«В войну их всех постепенно призывали. Назад не вернулся ни один. Про кого я потом ни спрашивала: не знаем, не знаем, не знаем...»

Но пока что все они — и девочки, и мальчишки — живы. На дворе 1937-й.

Перекоммутация общественного сознания идет ударными темпами. Ее пространство расширяется (обращаясь к реалиям грядущей, электронной эпохи: игры государственного разума выходят на следующий уровень).

В маминой жизни им, государственным, противостоит другая игра: в нее играют в бабушкиной, спасенной от нашествия варваров, квартире. Да, собственно, уже и не квартире, скорее — здесь я забегаю вперед — в пристрой-

ке к маленькой деревенской церкви, где на чердаке кудахчут куры и хранится всякое никому не нужное старье...

Правила такие.

Во-первых, лестница: судя по мраморным ступеням, парадная. Эти пологие ступени запомнились особенно отчетливо — что, впрочем, неудивительно: лифта в доме нет, бабушкина квартира на шестом, последнем, этаже. Кроме парадной лестницы, есть и черная. По ней можно взойти на чердак, но здесь, на Забалканском, он не бельевой, а «куриный»: бабушкины соседки, Анна и Мария Дмитриевны, держали кур и петуха. «Иногда, — вспоминая, мама улыбается, — меня угощали свежим, еще тепленьким, яичком».

Из важного, отложившегося в памяти: «Входная дверь запиралась на замок». (Замок, ключ, звонок — атрибуты нормальной городской жизни, о которых я и упоминать бы не стала, просто не обратила бы внимания.) Большая прихожая: но здесь, в отличие от 1-й Красноармейской, в прихожей не живут. Старинная вешалка красного дерева с подставкой для обуви. Ковровая дорожка — красная, шерстяная; черные широкие полосы по ее краям. Дорожка чистая: на Забалканском принято переобуваться. Слева от входной двери бабушкин шкаф. «Зеркальная дверца, выдвижные ящики, верх такой... с изгибами, очень красивый».

Шкаф и вправду красивый. Декоративная планка по внешнему контуру карниза — изогнутая, в стиле *art nouveau*. За долгий век ящики потихонечку разошлись, теперь они выдвигаются с трудом. В зеркале, подернутом разводами времени — амальгама отсырела с исподу, — отражается моя нынешняя комната. Вглядываясь в мутноватое отражение, я жалею, что это не бабушкин шкаф. Его я купила в начале девяностых. На первые «свободные» деньги. Шла по Васильевскому мимо антикварки, смотрю — сгружают. Раньше, в восьмидесятых, и в голову бы не пришло. А тут — будто шум крови в ушах — и непреодолимо: сколько бы ни стоил... Моё.

Из обстановки мама помнит кровать — никелированную, «с шариками»; круглый туалетный столик с большим зеркалом; кованый, с металлическими накладками по углам, сундук, где бабушка хранила вещи: постельное белье, льняные полотенца, платья, но главная драгоценность — ткани, не зря же она маялась по очередям; огромный плюшевый диван — на этом диване мама спала, когда оставалась ночевать.

Перво-наперво полагалось переодеться: здесь, у бабушки, негоже ходить в том, в чем привыкла *там*, у себя. Нарядные платья, достойные *здесьней* жизни (шерстяные, шелковые), бабушка шила ей сама. До войны у нее была машинка «Singer». В эвакуации ее обменяли на козу.

Спустя годы я еще долго о ней жалела. Не из сентиментальных — из самых практических соображений¹.

¹ Финская «Tikka-koski», в русском просторечии «Тика», которую мама купила в середине пятидесятых, давала неплохое качество строчки, но до «Зингера» не дотягивала. Лет через десять в доме появилась «Veritas», производства ГДР, — эта считалась «белошвейкой»: тонкую ткань брала хорошо, с толстой то и дело капризничала. Следующая, уже моя собственная, «подольская», отечественного производства — года через два, отчаявшись добиться более-менее сносной работы, я перевела ее в разряд тумбочек. Мои мучения закончились с появлением «Brothers» — этому детищу японских инженеров подвластно всё. Но меня — в первый же день, едва я за нее села, — изумило даже не число операций (сказать по правде, мне хватило бы и четверти), а странное ощущение: будто эти, дай им Господь здоровья, инженеры, прежде чем принимать конструктивные решения, нашли время, чтобы поговорить со мной по-человечески, разузнать, а чего мне, собственно говоря, хочется. Не надоело ли колдовать над втачными петлями или, скажем, тупо слюнявить нитку, чтобы вдеть ее — с третьего, а то и с четвертого захода — в игольное ушко (а вдруг, паче чаяния, я мечтаю о «петле-автомате» и нитевдевателе); или, вставив шпульку в колпачок, шарить в нутре челночного механизма слепыми пальцами, пока этот чертов колпачок не сядет в конце концов на штифт. Я уж молчу про смелую лапки: одним движением и безо всякой тебе отвертки, обрыдшей до такой степени, что семь раз подумаешь, прежде чем эту лапку поменять.

Однако куклы — в подарок внучке — бабушка шила на руках. Больше всего маме запомнился негритенок: улыбочивый, в красной рубашонке, в синих широких шароварах, ручки из черного шелкового чулка. Оглядываясь назад, можно сделать вывод: по части кукольных головок (они продавались в магазинах), легкая промышленность и кинематограф шагают нога в ногу. Как в любимом и детьми, и взрослыми фильме «Цирк».

«У бабушки в комнате работало радио. Не тарелка, как у нас на кухне, а наушник с ручкой». На практике это означает: хочешь послушать — надень наушник. С тарелкой, вещающей от гимна до гимна, такие вольности не проходили. «У бабушки я слушала сказки. Их читала Мария Григорьевна Петрова. Читала она изумительно, просто не оторваться...»

Дома мама читала сама. Детские книжки с иллюстрациями. Маленькие стоили 3 копейки, те, что побольше, — 5. Самуил Маршак, Агния Барто. Наверняка кто-то еще, но другие не запомнились. Чтобы спокойно почитать, приходилось запирается в туалете. Когда страждущие стучали в дверь, мама уходила в соседскую кухню — благо не заперто.

Между тем обратная перекоммутация (играть так играть) выходит на новый уровень: так бывает, когда в дело вступает сильный оператор — в мамином случае Анна Дмитриевна, бывшая гувернантка. «Когда я приходила к бабушке, она приглашала меня к себе. Учила. Показывала, как правильно накрыть на стол. Мы пили чай. Потом Анна Дмитриевна снимала со шкафа толстые подшивки “Нивы”. Там были и детские страницы. Анна Дмитриевна читала мне вслух. Еще мы занимались географией. Я очень хорошо ее вспоминаю. Худенькая. Высокая. Голос тихий, ласковый. Аккуратная гладкая прическа...»

На 1-й Красноармейской тоже есть журналы, но другие: «Работница», «Крестьянка». До войны маме казалось:

скучные. В блокаду, когда они пошли в растопку, на последних страницах обнаружили кулинарные рецепты. Борщ, котлеты, каши. Голодая, мама их перечитывала. «Буквально по сто раз. Мне кажется, тогда я и научилась готовить...»

С бабушкой они ходили гулять.

Для девочки, привыкшей болтаться во дворе, эти прогулки — сгустки памяти. Твердые, но не всегда драгоценные. «Чаще всего мы отправлялись в скверик напротив Витебского вокзала. В то время канал, соединявший Фонтанку с Обводным, еще не засыпали. Приходилось обходить: мимо Военно-медицинской академии. Там повсюду люки. В этих люках жили беспризорные дети. Я их помню: грязные, оборванные. Много детей. Разного возраста, разного роста...»¹

«Время от времени мы с бабушкой заходили в церковь на Сенной. Очень красивая. Такая маленькая, круглая, с луковками...»

Однако *тема Бога* входит в мамину жизнь не этой круглой церковью с луковками, взорванной почти на моей памяти: в 1961-м (теперь на ее фундаменте вестибюль станции метро «Площадь Мира»), — а тайной монашеской, одетой в черное.

Маленькая, сгорбленная (но не согбенная), голова покрыта капюшоном. Не то чтобы мама ее побаивалась, но в комнату к Елизавете Кузьминичне заходила редко. На ребенка, выросшего в советской коммуналке, эта комната

¹ Вместо заполненных восклицаний: Как?! Разве с этим позорным для молодой советской страны явлением не покончено еще в двадцатых? — хочется уточнить: что это там за дети в люках — рабочих, чьим отпрыскам не хватило мест в детдомах, заполненных детьми врагов народа; или, наоборот, врагов народа, чьим детям, оставленным на произвол судьбы, все-таки удалось уйти незамеченными, проскользнуть сквозь пальцы «передового отряда большевиков», ленинградского ВЧК?

производит странное, едва ли не пугающее, впечатление: все завешено иконами. От пола до потолка. Скорей всего, храмовыми. Спасенными от большевистского погрома. Но сама ли Елизавета Кузьминична спасала, или выбрана хранителем — этого уже не узнать.

Из спасенных икон сложилась тайная домовая церковь. Со своими тайными прихожанами. Мама их видела: старики и старухи (впрочем, для шестилетнего ребенка любой старше сорока — старик). Они приходили ближе к вечеру, когда на улице смеркалось. В такие вечера бабушка не разрешала выходить из комнаты. Говорила: сиди здесь, у Елизаветы Кузьминичны гости. Гости пели тихими голосами. Мама говорит: светлыми. Приникнув ухом к стене, она вслушивалась, но не могла разобрать слов.

На 1-й Красноармейской песни совсем другие. «Мы, девчонки, выходили в коридор. Плясали, распевали песни из фильмов. *На московском прекрасном просторе...* Гриша нам аккомпанировал». Гриша — любимый мамин дядя, самый младший из сыновей Марии Лукиничны, играл на гитаре.

Тихие гости уходили поздно, когда мама уже спала.

Думая об этой церкви, я вижу высокий иконостас. Царские врата закрыты. Сквозь них ходить некому. Те, кто имел на это право — кто в лагере, кто на дне. Этим — обновленцам, синодникам, которым нынешние власти благоволят, не доверись: прознают — продадут.

Слава Богу, у тайной церкви свои предстоятели: евангелисты на створках — будто не только общее, но и их, спрятанное, спасенное от варваров время пошло в обратную сторону, вернулось к первоапостольским дням.

Евангелисты хранят молчание. Глаза опущены долу — говоря обыденными словами, все четверо смотрят в пол. (Им, в отличие от их прихожан, известно, что вот-вот грядет.) Место храмовой иконы пустует — уже не узнать, в чью честь этот тайный храм освящен. На дьяконских

врата ветхозаветные пророки. Дьяконские врата тоже закрыты. Там, где полагается быть алтарю, глухая стена. В центре Деисусного чина — «Спас в силах», но о спасении молиться поздно: чудовищные тридцатые длятся (маме — семь, значит, 1938-й). Вознося сугубые молитвы, прихожане смотрят выше — на следующий уровень, где для них припасена подходящая икона. Сюжет самый что ни на есть ленинградский: «Сошествие во ад».

Не пройдет и трех лет, как, приняв форму блокады, он воплотится в жизнь.

А пока — преддверие ада: за стенами, в городе творится что-то *неладное*. Носится в воздухе, крадется по лестницам, срывает чугунные крюки. Что-то, о чем взрослые молчат: и здесь, на Забалканском, и там, на 1-й Красноармейской. Только Мария Лукинична, мамина бабушка по отцу, год от году чернеет лицом.

Неладное творится втайне, в мертвой тишине.

В бабушкиной квартире стоит другая тишина. Мама рассказывает: «Там всегда было тихо: шаги, разговоры. Теперь я вспоминаю, когда к Елизавете Кузьминичне приходили гости, они всегда молчали. Придут, поздороваются, разденутся в прихожей...»

Это не я поставила диктофон на паузу. Это мама молчит, словно прислушивается. А потом, через паузу:

— Знаешь, я ведь тоже молчала. Дома — о том, что видела и слышала у бабушки. У бабушки — о том, что слышала дома...

В сознании шестилетнего ребенка две жизни — «дома» и «у бабушки» — не пересекаются, идут параллельными курсами.

Кажется, будто детское незамутненное сознание отражает двойную реальность, в которой живет страна. Два мира, лицевой и изнаночный, меж ними зияет дыра молчания — стволовая клетка нашего будущего двоемыслия. Граница соприкосновения неопределима. Она везде и нигде.

Так повелел их рябоватый желтоглазый «бог», творец видимых и невидимых. На видимой стороне счастливые лица физкультурников, ликующие первомайские толпы, трудящиеся заводов и фабрик шагают нога в ногу в едином строю. Фасад Главного штаба колышется портретами, намалеванными на тряпках — образ иконостаса, вывернутый наизнанку. По ночам с *той*, оборотной, стороны в город выходят бесы, перетянутые кожаными портупьями. Вместо лиц — личины. Римляне называли их: *larva*. Изнамочное советское время всецело их: лестницы, сведенные ужасом; проспекты и улицы; стогна града, вздернутые, повисшие в пустоте.

Бедный, бедный мой Город, ненавидимый ларвами! Обращиваясь, я проникаю взглядом за зеркальную дверцу. Отражение комнаты зыбится. Там, в глубине зазеркалья, маленькие фигурки, отданные им на откуп... Судьба, горше которой не представить. Да горше и нет.

V

Уходя с Забалканского, мама снимала нарядное платье и надевала свое. Ситцевое или штапельное. Так, возвращаясь в мир видимых, она превращалась обратно в дворовую девочку...

В счастливом, лицевом, мире эта девочка ведет счет по «лétам».

Летом 1935-го они отдыхали в Горбове, у прабабушки Федоры. В памяти сохранилась большая русская печь. В этой печи, дождавшись, когда внутри немного остынет, ее мыли. В первый раз она страшно испугалась:

— Сама посуди. Посадили в таз, таз затолкали внутрь.

— Ну да, — я киваю. — Хорошо хоть не на лопату.

Как в сказке про Бабу-Ягу.

1936. Антропшино, под Старой Руссой. Маме запомнились приземистые избы, покосившиеся от времени заборы. За штакетником, битым проливными дождями, палисадники с георгинами. Желтые головы качаются на ветру.

Но у бабушкиной золовки, сестры ее мужа, дом новый, двухэтажный и, что особенно удивительно, оборудованный городскими «удобствами»: не дворовая будка над ямой, а унитаз — фаянсовый, со сливным бачком. Своим необыкновенным, в сравнении с соседями, достатком бабушкина золовка обязана свиньям. Свиное стадо, нагуливая бока, мирно полеживало на берегу. Выбрав тушу покрупнее, мама забиралась на холку и давала хорошего пинка. Обалдев от такого обращения (ладно, бесы, для нас, парнокопытных, дело привычное, но это-то что за безобразия!), свинья, не разбирая дороги, неслась к реке. Упоительные скачки на свиньях — главное впечатление того, антропшинского, лета: как ни цепляйся за щетинистую холку, все равно сбросит. И окажешься в грязи.

Еще одна бабушкина золовка жила на другом берегу реки. В гости к ней они ездили на лодке. Берег, до самой воды заросший черной смородиной — причаливая, лодка погружалась носом в густые заросли. В памяти сохранился крепкий до одури запах: жесткого, подсморщенного на концах веток, смородинового листа.

Летом 1937-го они сняли дачу под Вырицей. Поселок назывался Третья платформа. «Бабушка Дуня приезжала редко. Чаще мама или Гриша, мой дядя. Он уже работал на заводе, но все равно приезжал. В то лето я порезала пятку — осколком стекла. Можно сказать, распорол. И Гриша носил меня на руках. Когда его не было, я лежала в гамаке».

Судя по тому, что ребенка пасли по очереди, летом 1937-го с производства никого не отпустили: страна встает на военные рельсы — не до отпусков. Ожидание войны — примета «общего» времени. Но в истории семьи этот год — тоже своего рода рубеж. Дача, снятая на лето (раньше ездили к деревенским родственникам), — примета городского обихода: так, шаг за шагом, новые горожане теряют связь с деревней.

Как и многое в жизни, эта кровная потеря осознается не вдруг.

Со временем она станет обретением: кровной связью с Ленинградом, которую мало кто из них ощущал до войны. После блокады эта связь стала неразрывной. Переходящей из поколения в поколение. «Город, который мы отстояли» — даже в XXI веке этой трагической связью можно многое объяснить.

В 1938-м они снова едут в Тверскую область (в то время уже Калининскую). Но не в Горбово, к бабушке Федоре, а в Карамзино. Там дом маминого крестного. Двухэтажный, высокий, с погребом: среди окрестных строений он такой один. (В какие годы построен — неизвестно. Скорее всего, во времена НЭПа, когда деревня на короткий срок ожила. За этим домом, построенным крестным, стоит перелом его судьбы. Построил и уехал в Ленинград. Почему не продал? Не нашел покупателя? Или надеялся вернуться, не хотел рвать с корнем?..) В доме просторная подклеть под одной крышей с жилыми помещениями: в те годы, разумеется, пустая — на должности шеф-повара «Метрополя» скотину держать не с руки. На заднем дворе фруктовый сад. За десять с лишним лет плодовые деревья успели выродиться — чеховская пьеса по-советски.

От станции они ехали на телеге, груженной картонными коробками, — собирая в дорогу, крестный снабдил их городскими продуктами: тушенка, мука, крупы, сыр, колбаса, рыбные консервы. (Что случилось с его родной деревней, пережившей коллективизацию, для него, судя по всему, не секрет.) Но сам не поехал, остался в Ленинграде. Зато поехали его дочери. «Старшие, Нина и Сима — уже большие, взрослые. Третья, Тамара, на год меня младше. С Тамарой мы ходили купаться. Там, в деревне, такие длинные водоемы. Назывались “огурчики”. В них водились пиявки. Но пиявок мы не боялись. Ложились на дно



Семья из деревни. Отец, мать, четыре ребенка. Дети в зимней одежде.

и лежали. Дорога к “огурчикам” шла через хлебное поле. Куда ни глянь, васильки. Синими кустами, букетами».

То, карамзинское, лето бабушка Дуня провела у печки. Готовила. Даже пекла: булочки, оладьи, блины. Хозяйственная активность — не репетиция ли будущей семейной жизни? С мужем, с тремя его детьми. (Подозреваю, что готовка ее и доконала. Так или иначе, летом 1938 года вопрос замужества окончательно закрыт.)

Следующие два предвоенных лета на дачу не ездили.

Но и здесь, в Ленинграде, полно развлечений. Главное из них — кино. Чаше всего ходили в «Олимпию», угол Международного и Детскосельского. «Кинотеатр красивый, дореволюционный. Входишь — круглое фойе. Высокий экран». Перед фильмом в обязательном порядке — киножурнал. Однажды показали каких-то водолазов в скафандрах. Мама закричала от страха.

Сохранились две фотокарточки, предвоенные, 1941 года.

На первой — мама с подружками: Ата, Вера (моя мама), Ева, Зоя, Ляля — все девочки кроме мамы умерли в блокаду¹.

На второй — мама с двоюродными сестрами и братом Аликом: Шура (у нее на руках Алик), Валя, Лиля, Вера. После блокады в живых осталось трое: Валя, Лиля, Вера.

Из девяти детей умерло шестеро. Пропорция смерти до ужаса точна: в 1941-м население Ленинграда 3 миллиона. В 1945-м — 1 миллион...

Еще один кинотеатр ближе к Обводному, во дворе. За давностью лет название стерлось из памяти. Пытаясь

¹ После успеха моего романа «Время женщин» к маме приезжала съемочная группа НТВ. Расспрашивали про войну. Мама достала довоенный снимок. Стараясь говорить ровно, называла имена умерших девочек. Я слышала — не просто называет — отдает последнюю дань: если не вспомнить сейчас, потом будет поздно. Телевизионщики записывали, кивали. А потом вырезали — профессионально равнодушной рукой.



вспомнить, мама перебирает: «“Рекорд”, “Пламя”, “Знамя”...» Но этот они не любили: маленький, и экран низко. Зато билеты дешевле.

— До войны очередей не было. Продукты натуральные, хорошие...

— Подожди, — я перебиваю. — Тайная церковь, о которой ты не рассказывала дома. А у бабушки — ты о чем молчала?

— О чем? — мама переспрашивает, будто это не она, а я должна вспомнить, вынуть из памяти отголоски чьих-то разговоров. — Дядя Андрей, брат моего отца, дружил с Кировым...

— С Сергеем Мироновичем?

Для меня он — огромный памятник в Кировском районе, кажется, на проспекте Газа. Фигура в два человеческих роста.

— Разве я не рассказывала? Дядя Андрей был его другом и соратником. Они работали на одном заводе. Дядя Андрей тоже занимал какой-то пост... Когда Кирова убили, он уволился. Почти сразу, через месяц. И уехал в Орск...

— Нет. Ты мне не рассказывала.

О «Деле Кирова» я узнала сама.

Кирова убили в декабре 1934-го. К прицельному выстрелу (в каком-то коридоре Смольного) современники отнеслись по-разному. Кто-то торжествовал, но в большинстве жалели и возмущались. Что касается меня — мне Кирова не жаль: грешно жалеть душегубца, на чьей так называемой «совести» десятки тысяч загубленных ленинградцев, «классовых врагов»: музыканты, врачи, инженеры, адвокаты, научные работники — тех, кто чудом избежали расстрела, высылали на восток, в Сибирь. Назад они больше не вернулись: умерли или остались там, за Уралом. Жилплощадь, покинутую «бывшими», оперативно распределяли между «настоящими». До них, «настоящих» — теперь уже ждать недолго, — очередь дойдет.

— А дядя Андрей... (Диктофон сохранил мою заминку.) Он сам догадался, куда все движется? Или подсказали?

Если и подсказали — из Москвы. Здесь, в *городеленина*, гениальным сталинским замыслом прониклись далеко не сразу. Первый расстрельный урожай по «Кировскому делу», собранный по горячим следам: 14 (четырнадцать) человек — число, за которое непосредственные исполнители расписались в ведомости. После чего история страны (на короткое, по историческим меркам, время) замерла: большедомовские следаки, не расчухав, при чем здесь бывшая оппозиция, попытались дело закрыть. Но их вскорости поправили.

С подлинным — стахановским — размахом все завертелось ближе к весне, когда число арестованных «по делу» выросло до 6500. Пропаганда тех лет именует их «зиновьевцами» (по фамилии предшественника Кирова на высочайшем, самом высоком в Ленинграде, партийно-государственном посту). Обвиняют, однако, не в уклоне — или как там у них называется, — а в заговоре против власти. По такому грозному обвинению путь, в сущности, один: напрямик к Левашовской пустоши, где их безымянным черепам с дырками в затылочной области, вкупе с костями и косточками, предстоит гнить.

Так, пока еще предварительными стопами, берется курс на то, что потомки назовут «тотальным террором». Для Ленинграда он означает вторую волну опустошения (первая, сравнимая по высоте и силе: постреволюционная). В полный рост она подымется к началу 1937-го и — ни дать ни взять бешеная корова — будет носиться по площадям и улицам, мотая железным боталом. Слизывая соль земли моего города наждачным, не знающим ни пощады ни жалости, языком.

Маминой семьи этот жесткий, в кровавых трещинах, язык коснулся самым краем — но мне хватает и «общей памяти», чтобы понять, что пережили ленинградцы, ког-

да — в ожидании неизбежного — обмирали за квартирными дверями, заложенными на чугунные крюки. (Парадная — отчужденное пространство, откуда приходит гибель. Черной ночью на черной-черной машине. По лестнице гибель идет крадучись, яко тать в ночи. Если гибели не открыть, она колотит в дверь чекистскими каблуками. Крюк — последняя надежда... Будто ночная чугунная рука может кого-нибудь спасти...)

Когда читаешь «Ленинградский мартиролог»¹ (имя за именем, словно каждое — ступень, по которым ты спускаешься в энкавэдэшные подвалы), сотни тысяч отдельных человеческих судеб смыкаются в одну «большую судьбу». Начало она берет в «Доме на Литейном» — быть может, поэтому его и зовут «Большим».

Притом что в самом Большом доме расстрельные дела не «шили»: «портные», герои заплечного коммунистического труда, работали на Нижегородской (в наши дни: улица Академика Лебедева) — в СИЗО № 4. Из этого невзрачного (если не знать, ни в жизнь не догадаешься) здания обреченных увозили к расстрельным полигонам — чтобы уже через несколько часов свалить их тела в стометровые траншеи: свежеврытые рвы. До войны их рыли за чертой города — *в черту* эти кольчатые черви переползут позже. Блокадной, смертной, зимой.

Но в ленинградском травмированном сознании именно «Дом на Литейном» тлеет зловещим символом. Рядом с ним все другие дома даже не маленькие — ничтожные. От людей, выведенных из их парадных под конвоем, не осталось ничего, кроме теней. Изломанные тени никуда

¹ Многотомное издание (серия книг памяти о репрессированных в советское время ленинградцах, издаваемая Центром «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке) — дело жизни А.Я. Разумова, которое он, петербургский историк, начал тридцать лет назад на свой страх и риск. Серия должна состоять из 17 томов. К настоящему времени (февраль 2019) вышло 13.

не исчезают — лежат на лестничных пролетах: будто, навалившись грудью на перила, смотрят вниз.

На место прежних жителей, пущенных в расход и распыл (ленинградской жилплощади пустовать негоже), оперативно завезли новых — их, точно кукушат, подложили в опустелое городское гнездо...

Мамин голос возвращает меня обратно, в 1935-й.

— Другой папин брат, Александр, он тоже работал на Путиловском. В январе он уволился и устроился на новую работу. Точно я, конечно, не знаю, но где-то под Ленинградом. Не то в Гатчине, не то в Луте. Там ему дали новое жилье. Во всяком случае, с 1-й Красноармейской он съехал. Дядю Сашу я помню плохо. Приходил, стоял в коридоре. Потом, после смерти бабушки Муси — всё. Как отрезало.

— Постой-постой... Что-то я не пойму. Этот дядя Саша, Александр... Он-то кем работал?

— Разве я не сказала? Сперва на заводе. Рабочим. Потом охранником. На зоне.

— В смысле... вертухаем?

«Дядя Саша» приходится мне двоюродным дедом, седьмая вода на киселе — но все равно жмет сердце.

Трудно дышать, будто окунули в грязную воду времени. Меня — с головой.

— А в семье они *это* обсуждали? — Я пытаюсь примерить на себя безумную коллизию: один брат в бегах, другой — подался в вертухай...

— Наверное. Только не при мне. Когда я спрашивала, Гриша говорил: ах, Верушка! Потом мы все тебе расскажем, это совсем не интересно...

Потом, обещанное Гришей, так никогда и не наступило.

Некоторые подробности той давней истории мама узнала от двоюродных сестер (после долгого перерыва они встретились в начале пятидесятых).

Если коротко. Пересидев в нетях, Андрей, друг и соратник Кирова, энкавэдэшного крюка избежал. В Ленинград он возвратился перед самой войной, когда ларвы, сделав «кировский» круг, пришли в исходное агрегатное состояние: вернулись к ординарной репрессивной практике. Тогда же, перед войной — и это известно достоверно, — дядю Сашу, Александра Семеновича, перевели на Дальний Восток. Разумеется, по службе. Сделал ли он мало-мальски видную карьеру в органах — неизвестно. Там, на Востоке, его следы теряются. Единственное, что мама о нем знает: «Дядя Саша не воевал».

По мне — да и черт с ним! Что мне этот, двоюродный. У меня есть родной, Василий Семенович — остался на той, уже упомянутой фотографии, где они втроем: бабушка с дочерью и зятем.

VI

Молодые стоят. Бабушка Дуня сидит. Капитолине двадцать лет. На ней нарядное платье с полупрозрачными рукавами, слегка присборенными в запястьях. Бабушкино платье строгое, с отделкой по рукавам и воротнику.

Если не знать, кем они приходятся друг другу, трудно поверить в близость их родства. В лице бабушки Дуни — словно мать и дочь разделяет цивилизационная пропасть — нет податливой бесформенности, из которой вырастает тихая покорность: родителям, традиционному укладу, судьбе. В Капитолине она, наоборот, есть; или, зажигая свечу с другого конца, нет «самостояния» — того основополагающего свойства городского сознания, которым сама бабушка Дуня, даром что родилась в деревне, обладала. Но дочери не передала.

Но меня, когда я смотрю на эту фотографию, не оставляет тягостная мысль: а что, если бабушка — предчув-

ствуя, что ужасами Гражданской войны дело не обойдется, — намеренно отвела своей дочери «крестьянскую» роль? А если это так, осознавала ли она вину перед дочерью? Или оправдывалась своим всегдашним: «Что народилось, то и вырастет, не бывать калине малиной». (Я думаю: а вдруг этого никто не видит? Вот и мне засмольчить бы свой рот, обойти, не касаться этой темы. Тем более теперь, когда их обеих нет, когда они соединились по ту сторону невидимого иконостаса. Но что же мне делать, если сквозь их личную историю проступают изнаночные смыслы, важные для истории страны...)

Зять — в строгом темном костюме, при галстукe. Темные, слегка волнистые волосы, как тогда говорили, «плёйкой». По-цыгански черные глаза. Черная масть досталась ему от матери: в семье Марию Лукиничну звали «цыганкой». (Мне — от него. Не волосы. Цвет глаз. Родись я мальчиком, досталось бы и имя. Отчества так и так совпали.) Даже делая скидку на сомнительное качество снимка, трудно не заметить несоответствия: Капитолину красавицей не назовешь. Впрочем, с лица воду не пить — эту народную мудрость им, новобрачным, и предстоит доказать.

Если взглядеться в их лица, можно заметить и другое несоответствие. Но об этом после. Сейчас — о нем.

Рябинин Василий Семенович. Год рождения — 1910-й. Образование — 8 классов. Начинал рабочим мартена. Со временем дорос до бригадира. Его бригада ремонтировала доменные печи.

В раскаленную домну войти невозможно. Прежде чем приступить к работам, ее остужают, мама говорит: «Градусов до пятидесяти. Такая печь называется холодной». Трудно представить, как в таком «холоде» работать. Но это — мне, а он — молодой здоровый мужик. Спортивный. Кстати сказать, прекрасно ходил на лыжах. Осенью 1939-го это ему аукнется.

За ремонт доменных печей платили хорошо. Но жили они бедно. Причина самая тривиальная: мамин отец пил. Не запойно. «В получку и в аванс. Часто приходил без денег, его обирали. Выпьет и все забудет». Во хмелю был груб. Грешил рукоприкладством¹. Однажды, устав от такой жизни, жена оформила развод. В 1937 году процедура до изумления проста: зайти в жилконтору, отметить в каком-то grossбухе (затрепанная книга с карандашом на короткой замызанной веревочке — чтобы, часом, не сперли).

«После развода мы переехали к бабушке». Раздельное проживание продлилось недолго. Месяца через два отец пришел, просил прощения, каялся, обещал: больше не повторится. По русскому обыкновению был прощен.

Женой, но не тещей. Зятя бабушка Дуня терпеть не могла. Когда внучка своевольничала, бросала: «Ишь, рябининские замашки!» Однажды, под горячую руку, порвала его фотокарточки. У маминой мамы осталось две. Она брала их с собой в эвакуацию, потом привезла обратно.

При всех неприглядных эксцессах с женой дочь он и пальцем не трогал. Называл: «Моя королева». В маминой памяти остался хрестоматийный советский кадр: яркое солнце, демонстрация. Скорей всего, *первомай*. Ее, маленькую, отец несет на плечах... А еще он любил готовить. «Жарил котлеты. Варил борщ или щи. Все по-настоящему». Сложись жизнь иначе, вполне возможно, пошел бы в повара. Имея такого кума, скорей всего, работал бы в «Метрополе». А так готовил только по праздникам и на выходных. На неделе готовила жена. «Пекла пироги.

¹ Кардинальные подвижки в этой области случились в следующем поколении. Мой отец пил редко. Как принято говорить, по праздникам. Но, выпив, мрачнел. Однажды, уж не знаю, по какому поводу, замахнулся на маму. Дело было на кухне. Взяв за дужку кипящий чайник, мама сказала твердо: «Только попробуй». Этим и завершилось. Навсегда.

С яблоками или с мясом. — Задумавшись, мама поправляет себя: — Нет, с мясом я не помню. С яблоками. А чаще всего с капустой».

Немудрено. Мясо — удовольствие дорогое. При пьющем, хоть и редко, зато крепко, муже особо не разгуляешься. Жили-то в основном на ее зарплату. В отличие от мужниной, скромную.

Теперь — о ней.

Мамина мать, Капитолина Яковлевна Рябинина (девичья фамилия Копусова), родилась в Петербурге. Год рождения — 1911-й. Образование — 7 классов. Работала в НИИ уха, горла, носа на Бронницкой. Если точнее, в институтской прачечной. Вдвоем с напарницей (той самой Настей Каковкиной, соседкой по квартире) принимали и выдавали белье. Работа не сказать чтобы трудная — стирали другие женщины, да и те не вручную, а в центрифугах. Незадолго до войны — может быть, за полгода — обе они ушли из института и устроились в пекарню: угол Международного и 3-й Красноармейской. Но на этот раз не на приемку-выдачу, а в горячий цех.

От той, предвоенной, пекарни в маминой памяти остался пончик с вареньем: «Как-то раз я пришла, и меня угостили». Через год, блокадной зимой, этот пончик к ней возвращался, стоило закрыть глаза: «Я его представляла. Как неземное лакомство»...

А пока в нашей семейной истории сгущается тема печей. Печь русская, дореволюционная, из деревни Горбово — в этой печи, как в сказке, маму мыли; другая — тоже деревенская, но уже в доме крестного, том самом, построенном в короткий период НЭПа, где бабушка, изо дня в день наблюдая, как подрумяниваются пироги и булки, выбрала для себя одинокую женскую дорогу; третья — в горячем цеху ленинградского хлебозавода, куда ее дочь устроилась незадолго до войны; четвертая — доменная, «холодная», входя в которую, бабушкин зять, мой будущий

дед, не только обеспечивал себя двухдневным (в получку и аванс) беспамятством, но и обрел навыки кирпичной кладки.

Не имей он активных навыков, вряд ли ему пришлось бы в голову разобрать старую печь — большую, круглую, обогревавшую их восьмиметровую комнату. И сложить новую: весной 1941-го, незадолго до того, как его жена уволилась из пекарни — скорее всего, просто не выдержала¹ — и устроилась контролером на фабрику «Заказ-обувь». А тетя Настя осталась. Там, в пекарне.

Так — каждая за себя — они решили в мае. Ровно накануне войны. Но последствия этого (в какой-то степени общего: ведь не могли же они его не обсуждать) решения, с Капитолининой стороны опрометчивого, едва ли не фатального; со стороны Анастасии провидческого, чтобы не сказать провиденциального, — выйдут на поверхность еще не скоро. Месяцев через семь.

Если смотреть изнутри — из того, предвоенного, день ото дня густеющего времени, — кажется, будто между двумя этими событиями: увольнением жены и новой комнатной печью, сложенной мужем, — нет никакой связи. Она высветляется, когда житейские обстоятельства отходят на задний план.

Вперед выступают главные действующие лица, точнее, их заместители: Смерть представлена обходным листком, на котором уже стоят подписи руководителей всех отделов и подразделений пекарни; Жизнь — маленькой кирпичной конструкцией, не буржуйкой, а настоящей печкой, обшитой новым ребристым железом и сложенной

¹ В комсомольский субботник нашу институтскую группу загнали на хлебозавод. Меня определили к хлебному конвейеру. Минут десять-пятнадцать, едва дыша от жары — казалось, кровь сворачивается в жилах, — я тупо нажимала на кнопку. Пока не очнулась в «холодильнике»: что-то вроде прохладной комнаты, куда сердобольные женщины-работницы меня отволокли.

так ловко и умело, что для обогрева восьмиметровой комнаты дров требуется всего ничего, а еще — в отличие от обычной городской печи с вьюшкой и чугунной заслонкой — у нее есть специальная площадочка, куда можно ставить котелки.

И здесь, словно взойдя на верхний пролет лестницы, наше семейное время замирает. Отсюда, с этой лестничной площадки, открывается самая суть: озирая окрестности дома на 1-й Красноармейской, где вот-вот начнется их блокадная схватка, — Жизнь и Смерть скрещивают взгляды в первом, прикидочном, поединке. Пока еще заочном.

И тут уже не тепло, а горячо...

Почему, оказавшись перед выбором, мой дед принял единственно правильное решение, а его жена — единственно неправильное?

Пытаясь ответить на этот обжигающий вопрос, я прислушиваюсь. Мне надо понять, о чем они думают, о чем говорят...

По вечерам, вернувшись с работы, женщины выходят в кухню. У них полно дел: разогреть, сготовить, проверить нехитрые припасы на завтра (на долгий срок не загадывали, холодильников-то нет), увязать белье в стирку, чистое — погладить, свежее — застелить. Наконец, позлословить. На соседский счет.

«Шурка-то вчера, а? Опять черт-те когда заявила». — «А Сашка-то, гляжу, не приходит. Раньше приходил. Стоял в коридоре. Между нами, не люблю я этого Сашку — бирюк бирюком». — «Бирюк не бирюк, а жилплощадь получил». — «Лукинишна только чо-то не радовалась, лицом чернела, прям лица на ней не было...» В кухню выходит Капитолина, невестка покойной Марии Лукиничны. Разговор сбивается на полуслове. «А картошку ты где брала, в нашем или...»

Черная тарелка, висящая в кухонном углу, вещает фоном.

Не в том дело, что радио несет горячечный бред (в семидесятых, когда я входила в разум, горячки существенно поубавилось, но суть оставалась прежней), а в том, что они *за всем за этим* слышат. Думаю, в большинстве своем — ничего.

Завершив ежевечерние дела, говорливые соседки уходят. Капитолина — на этой неделе ее дежурство — берет швабру и ведро.

Черная тарелка вещает неустанно: последние известия, прогноз погоды, концерт классической музыки...

Набирая воду из крана, Капитолина сокрушается: до гимна далеко, а сил уж никаких. А хочется еще почистить, вчера в библиотеке взяла интересную книжку. Отжимая набухшую тряпку, она вздыхает: только бы опять не порвал. Аванс не скоро, но на всякий случай припрятала. (В семейной жизни маминых родителей был однажды и такой эпизод.)

Дирижер в элегантном, пошитом на заказ, фраке сосредоточенно машет палочкой.

Под музыку небесных сфер ее мысли бегут, набегают одна на другую: если дружки-собутельники не обчистят, к выходным куплю мяса, косточку — в суп, остальное — на котлеты...

Белый пластрон опадает, будто забыли накрахмалить, — тычась лицом в пустоту, тык-потык, спотыкаясь об ноги оркестрантов, дирижер спешит убраться за кулисы. Подхватив невидимые пюпитры, оркестранты — не будь дураки — торопятся следом за ним.

Пустая тарелка дышит, надуваясь черной злобой. Из злобной пустоты рождается голос Левитана. Торжественный голос призывает Смерть — пусть падет на головы троцкистских убийц и их приспешников, продавшихся врагам социализма.

Сосредоточившись на мгновение, Капитолина думает о троцкистах: предатели и бешеные собаки... Впрочем,

что ей чужая собачья смерть. В ее мыслях недавние, свои: в тридцать шестом — свекровь, потом — сыновья. Один родился мертвым: как родился, так сразу и унесли; второй, Витя: этот-то пожил, но недолго. Муж — а уж как он мечтал о сыне, — да так его и не увидел: вернулся, а Витя уже на кладбище, подхоронили в свекровкину могилу. Она думает: схожу в воскресенье. Навещу обоих. Сына, свекровку. Возьму Верушку и пойду. (Мама помнит: до войны они с матерью ходили на Волково кладбище, навещали бабушку и брата. После войны их могилы не осталось. Эту часть кладбища сровняли с землей.)

Капитолина наворачивает тряпку на швабру: троцкисты — понятно. Они враги. С теми-то расправились, теперь эти замышляют. Она думает: те, эти... В ее голове чечевичная каша из врагов. Месяц назад по радио говорили: враги — фашисты. Теперь вроде бы не они, а англичане. Англичане живут в Англии — далеко, даже не представить¹. (Она отбрасывает влажную прядь со лба.) Диктор, теперь он вещает строгим голосом, сулит короткую, победоносную и не на нашей территории. Капитолина кивает: ну да, вроде Финской. Пока муж воевал, она потеряла Витю. Сын — ее единственная потеря на той, зимней, войне... Она думает: ну все, ополоснуть ведро — и день закончился.

Предвоенная сцена пустеет. Ненадолго, минут на пять, пока на подмостки не выйдет мой будущий дед, Капитолин муж. Вот он выходит, распахивает форточку. Стоя у окна, пускает папиросный дым во тьму.

Торжественный голос не унимается.

¹ Однажды, оказавшись в Дареме, я вдруг подумала: а ведь я же ее внучка. И неожиданно остро осознала, какая между нами пропасть: для меня и эта лекция, и Darhem, городок на севере Англии, и его крепость, по-кафкиански внушительно взирающая на город с высокой горы, и я, читающая лекцию по-английски, — эпизод писательской жизни. Для нее — марсианские хроники.

Сведения самые противоречивые: то фашисты — наши смертельные враги, то наоборот — друзья и союзники, а враги — англо-американские империалисты. Он думает: те или эти — один черт. Войны не избежать. Обещают короткую и победоносную. Доказательством должна послужить недавняя, Финская, когда Суоми-красавица, покусившись на наш советский суверенитет (мамин отец усмехается: в качестве наступательных вооружений коварные финские генералы использовали линию обороны), получила от СССР по зубам...

Держа в голове первый, прикидочный, поединок Жизни со Смертью и эту его усмешку, я думаю: вот тут. Именно в этой точке. Смерть ошиблась. Промазала, дала маху. Допустила грубый промах. А он, мой дед, сумел этим промахом воспользоваться. Потому что в отличие от многих, слушающих радио, он-то на Финской воевал. Не раз и не два проделывал марш-броски на лыжах. Своими глазами видел и линию Маннергейма, и обмороженные солдатские конечности, и кукушек-снайперов, и наши (тогда ему казалось, чудовищные) потери в живой силе и технике: все, о чем черная тарелка, набравши в рот мертвой воды, молчит.

VII

На новую, большую, войну — за которой на долгие десятилетия потерялась та, малая, — его призвали в первые дни. На этот раз лыжи ему негодились. Начать с того, что на дворе лето.

В блокадных дневниках то первое военное лето — июнь-июль-август 1941-го — описано во многих подробностях: что делали, о чем думали; как гуляли по Невскому. Враг на пороге, но пирожки и мороженое продаются на каждом углу. Это потом, из зимних страниц, написанных без оглядки на довоенные страхи — под жалом голодной смерти все изнаночное меркнет, — словно росток из-под асфальта, пробивается страшный вопрос: *почему?*

Не запаслись, не купили — пусть не помногу, хотя бы по паре килограммов: риса, пшена, макарон, муки, гречи, овса, ячменя, на худой конец, гороха или чечевицы, богатой клетчаткой и клейковиной, витаминами и белками. Тем более было же время, четыре без малого недели: кар-

точки на основные продукты питания введены 18 июля — через двадцать шесть дней от начала войны.

Боялись, что обвинят «в паникерстве»? Но ведь и по карточкам выкупали далеко не всё. К чему, мол, лишние макароны, еще жучок заведется. (Первые горькие сокрушения по упущенным припасам датируются ноябрем-декабром, когда счет жизни идет на недели. В первой и последней декадах января припасы и жизнь считают уже на часы.)

Что это, если не беспечность... Особенно если вспомнить, что всего каких-нибудь двадцать пять лет назад царскую империю сотряс именно хлеб. И не где-нибудь, а здесь, в «колыбели революции». В июне-июле 1941-го жители «революционной колыбели» не просто молчат — попробуй, пикни! — но *ровно ничего* не предпринимают. (Как я в 1991-м. Но я — горожанка в четвертом поколении: для нас булки и буханки растут не в поле, а в магазинах. А они-то — выходцы из деревни, во всяком случае, в своем большинстве.) По мне, так одно из двух: либо голодная память рубежа десятых/двадцатых вытеснена из их сознания относительно сытыми годами (ну, положим, слухи о голодоморе 1932/1933-го до их городских ушей не долетали), либо за прошедшую четверть века что-то коренным образом изменилось — в них самих...

Читая блокадные дневники, я искала ответы на эти вопросы, пока однажды не догадалась: в полуграмотной стране письменная культура — достояние узкой прослойки. Дневники — нерепрезентативная выборка, значит, к ним нельзя относиться как к общей памяти.

В отличие от анналов НКВД. Где собрано все, о чем ленинградцы разговаривали между собой в коммунальных квартирах, на заводах и фабриках, в научных и учебных учреждениях, в больницах, в очередях. Основываясь на этих сведениях, энкавэдэшники составляли подробные

сводки. Раз в месяц, а смертной зимой чаще, эти сводки уходили в Москву¹.

В них, в этих сводках (разумеется, под грифом секретности), утверждается, что паника в городе была: хвосты в продуктовых магазинах (сметали сахар, соль, спички), толкотня в сберегательных кассах (пытались закрыть счета довоенных накоплений, а если повезет, еще и сбыть с рук добровольно-принудительный госзайм). Однако уже через несколько дней паническая атака сходит на нет. Этот факт принято объяснять самыми разными причинами: от «победного энтузиазма», вспыхнувшего в ответ на радиообращение вождя — то, знаменитое, которое он, напуганный до зубовного стука (или скрежета?) о край стакана, начал с евангельских «братьев и сестер», — до элементарной нехватки средств. Чтобы делать запасы, нужны свободные деньги. Большинство ленинградцев живут от аванса до зарплаты.

Возможно, и так, я и не спорю. Но, думаю, была еще одна причина. В этом перечне она стоит особняком.

Эта, летняя, паника — не первая. Предыдущая накрыла город осенью 1939-го. Если точнее, в последних числах ноября — с началом Финской войны. Тогда для «стабилизации в сфере торговли» понадобилось прямое вмешательство Москвы. Карточек не вводили: в те осенне-зимние месяцы Ленинград получил дополнительные эшелоны с продовольствием. Но даже на этих условиях панику удалось погасить лишь ближе к весне. В городе об этом помнили. Что, собственно, и стало ловушкой: многие верили, Москва и на этот раз поможет. Кому могло прийти в голову, что летом 1941-го — в те-

¹ Доказательства чекистского служебного рвения вышли на свет в 2004-м, когда издательский дом «Нева» (да простятся ему за это чудовищные корректорские ляпы!) выпустил двухтомник Никиты Ломагина «Неизвестная блокада».

лефонном разговоре со Сталиным — товарищ Жданов, 1-й секретарь Ленинградского обкома-горкома-или-чего-то-там-еще партии, побоится просить о помощи. Тот, роковой для города, разговор пропитан темным ждановским страхом: первый раз Вождь и Учитель простил, второго не жди.

Но даже на этом — более или менее стабильном — фоне в общественных настроениях (по свидетельству тех же самых сводок) наблюдаются разброд и противоречия: от самых что ни на есть «идеологически здоровых» («речь Сталина положила конец всяким кривотолкам и опасениям», «нам не страшны никакие лишения во имя общего дела победы над фашизмом») до «не надо было давать немцам хлеб и нефть» и «не русские нами управляют, а евреи, вот и получилось...» — такова городская многоголосоица. Vox, так сказать, populi.

Vox Dei не слышен. Бог смотрит и молчит.

В маминой семье запасов не делали. На вопрос: почему? — она отвечает: не знаю, отца призвали, мама с бабушкой заняты, они на работе.

— Но ты? Ты же сидела дома. Могла сходить в магазин, купить. Сегодня килограмм макарон, завтра — гречки, послезавтра — пшенки. (Это говорю не я, а они, мои блокадные гены.) Только представь, купить и спрятать.

— Спрятать, а зимой найти... — Она смотрит в пустоту, будто пытается представить запасы еды, огромные... — Да, но ты не забывай, мне десять лет. В этом возрасте о запасах не думаешь. Тем более если в магазинах все продается. Мама оставляла мне десять копеек. — Образ огромной еды тает, сходится к детскому минимуму. — На гривенник можно было купить сто грамм колбасы. Любительской, вареной. Или пирожное, большое. Или два маленьких. А мне хотелось и колбасы, и пирожных. Приходилось выбирать...

Кажется, единственное, от чего летом 1941-го пришлось отказаться: поездка к родственникам в Тверскую

область. Загодя приготовленный подарок (двухлитровую банку, набитую дешевыми конфетами: «такие плоские лепешечки, помадки») бабушка, любившая исключительно шоколадные, принесла на 1-ю Красноармейскую. В июле-августе с помадными конфетами вприкуску они пили чай. Зимой эти летние чаепития отзовутся запоздалым сожалением, мучительным, как голодная боль.

— И потом... Это ты сейчас знаешь, что будет дальше. А для нас, для меня почти ничего не изменилось. И вообще было очень интересно. Все говорят: война, война, а ничего не происходит. Не стреляют, не летают. Мы с ребятами играли в войну. Самое трудное — разделиться на «фашистов» и «наших». Наши, конечно, побеждали... Потом, кажется, в конце июля, в Польский сад попала фугасная бомба. Образовалась огромная воронка. В ней стояла глубокая вода. Мы притащили дверь и плавали — как на плоту. А рядом стояли зенитки. Поэтому сад и не бомбили. В то время появилось много сигнальщиков, помогавших фашистам. Они сверкали фонариками, сигнализировали — куда бросать бомбы. Люди их видели, ловили...

Плот — это я понимаю. В десять лет и я не отказалась бы поплавать. Но сигнальщики, сверкающие фонариками... И ведь не один-два на район (ну, положим, заслали перед войной, или, не знаю, завербовали из местных, снабдили специальными пистолетами) — а столько, чтобы их то и дело видеть и хватать!¹

¹ Через много лет выяснилось: слухи о «сигнальщиках» пустили те же самые «компетентные органы». Они же их и пресекли. Когда «бдительность» граждан, хватавших сотни «подозрительных личностей», перешла все разумные пределы. А то, что граждане «видели своими глазами» — разноцветные выстрелы из ракетниц. Так, в темноте, в грохоте оружейных залпов, «переговаривались» друг с другом командиры стоящих в садах и скверах зенитных батарей.

Получается, ленинградцы бегают по улицам, крадутся переулками, кого-то там, в темноте, выслеживают? Будто для них, взрослых, война — тоже немножечко игра.

Верят, что ничего страшного с ними не случится, а если случится — не с ними, не с их детьми?

Так — бочком-бочком, шурша чревом по земле, — вползает тема блокадного спасения. Сколько раз я читала или слышала: «Слава богу, спаслись. Бог нас спас». Нет, не от моих. Иначе я бы не удержалась: «Вас — спас. А других, которые лежат во рвах, их-то почему НЕ?»

НЕ оградил, НЕ вывел, НЕ уследил за ладожским льдом, дал проломиться под колесами. Или под ногами — если у вас в руках нет даже самой маленькой пайки хлеба или пакетика табака, чтобы сунуть в руки тому, кто формирует очередную партию живых скелетов, сажает их в грузовик. Что ж это за такой бог, всевидящий и справедливый, чтобы, наряду с праведниками блокады (да какое наряду! — в самую первую очередь), спасти от голодной смерти работников высших партийно-государственных сфер, директоров продуктовых баз и прочих, нажившихся на ленинградском горе? Неужто все они — божьи любимцы...

Не vox Dei. Я слышу голос бабушки: «Засмольчи свой рот», — так она говорила всегда, когда хотела, чтобы я заткнулась.

Раньше я приняла бы ее слова как должное. Но теперь, начитавшись блокадных дневников, чувствую горечь. Черную, как смола на губах.

Потому что не Бог.

Бог уехал в эвакуацию, за Урал, в одном из летних вагонов, груженных эрмитажными картинами, станками тронувшихся с насиженных мест заводов, тракторами-танками, которые город отправлял на Большую землю до последнего доблокадного дня.

Может быть, Он еще надеялся вернуться: крупинкой сахара, зернышком хлеба, желтовато-прозрачной капель-

кой растительного, не машинного, масла... Эти надежды не оправдались. Обратно вагоны шли пустыми: ни крупички, ни зерна, ни капли, в которых можно воплотиться, облечься в плоть и кровь.

В отсутствие Бога работали механизмы блокадного спасения. В каждой спасшейся, уцелевшей ленинградской семье этот механизм — свой.

Зенитная часть моего деда стояла в городской черте. Первое время — в парке Лесотехнической академии. Мама вспоминает: «В начале войны мы туда ходили. Они жили в землянках с накатом». Потом их перевели в сквер на углу Обводного и Международного. До 1-й Красноармейской рукой подать. Но домой — за все блокадное время, пока их часть не отправили в Синявино, а потом под Лугу, — он приходил дважды. Последний раз — в ноябре. Пробыл недолго. Мама помнит, сидел за столом, пил пустой чай. Перед уходом, не дожидаясь, пока стекла вылетят, забил фанерой окно¹.

От голода фанерой не загородишься. Но холод куда большее испытание, на этом сходятся многие блокадники: кто спал, не раздеваясь — в пальто, под ворохом одеял и тряпья; кто не мылся месяцами; чьи лица, черные от вьевшейся копоти (буржуйки нещадно коптили — хоть самопальные, хоть купленные на рынке), стали символом блокады. Той, ее первой смертной зимы.

До этого он приходил еще раз, в июле. В тот жаркий июльский полдень — числа мама не запомнила — и включился механизм блокадного спасения.

¹ Летом, в централизованном порядке, все окна заклеили бумажными крестами. После первых бомбежек выяснилось: от взрывной волны кресты не спасают. Кто мог, вызывали стекольщика. Зимой о стекольщиках уже не помышляли. Голые рамы закладывали тем, что попадалось под руку: одеялами, подушками, тряпками — лишь бы удержать остатки тепла.

Для них, а значит, и для меня...

Из окна моего сегодняшнего дня я вижу, как по Измайловскому проспекту (тогда — Красных Командиров, но ни мама, ни бабушка так его не называли) движется грузовик с дровами. Мои глаза различают каждое расколотое полешко. Всё — вплоть до годовых колец.

В этой сцене, разворачивающейся на моих глазах как свиток, соединяется прошлое с будущим; видимое с невидимым. В видимом мире он, мой будущий дед, отпущенный на побывку, подходит к воротам своего дома... я слышу шуршание шин по сухому июльскому асфальту... вижу: он оборачивается, смотрит на грузовик...

В невидимом — по ту сторону проспекта, у стены Измайловского собора, где крестили его дочь, — стоит Смерть. Предвкушая близкую победу, вострит блокадное жало. Кроме него, моего будущего деда, ее не видит никто. Ведь у них у всех, включая его жену, мамину маму, наряду с обыкновенными человеческими чувствами, есть еще одно, шестое: уверенность в завтрашнем дне. Так их воспитала родная власть. Власть рабочих и крестьян.

Мой дед тоже рабочий. Но в этот миг, когда, обернувшись, он видит грузовик, он — солдат. Два года назад воевавший на Финской. Теперь его снова призвали. Для него эта короткая передышка между двумя войнами не прошла бесследно: он не избывал время, заливающее сознание его сограждан варевом из черной тарелки. Он думал и сопоставлял.

Обретение способности к самостоятельному мышлению — в масштабах жизни одного-двух-трех поколений — сродни эволюционному скачку, когда предок человека, волокущий по земле передние конечности, вдруг выпрямляется. Становится *Homo erectus*. Встает во весь рост.

Еще раз о пяти чувствах. Нет, он не голоден — даже в страшные зимние месяцы солдат кормили более или

менее сносно, а летом и подавно. Его слух не разрывают взрывы — первые страшные бомбежки падут на Ленинград 8 сентября. Его глаза не видели живых скелетов. Его пальцы не касались холодной печки — не той, якобы холодной, в которую он привык входить во времена счастливого межвоенного бригадирства, а зимней, блокадной — ледяной. Его ноздри не вдыхали запаха тления — когда *так* (Смерть сказала бы: «сладко») пахнет не солдат, когда его не положили в землю, а ребенок, которого нет сил похоронить. На стороне пяти его чувств играет и довоенная привычка: как и все ленинградцы, он привык запасаться дровами осенью. В октябре или в ноябре. Но теперь-то жара, июль...¹ «Война долго не продлится, неудачи на фронтах временные», — кто-то нашептывает ему на ухо. Судя по кривой ухмылке, мелькающей на границе видимого с невидимым, это, убаюкивая отца и мужа своих будущих жертв, шепчет она, Смерть.

Теперь уже не я, живущая в своей земной оболочке, а та, что не ведает воплощения (от кого воплощаться, если все они умерли в блокаду), смотрит и видит: вот, вот он, миг неустойчивого равновесия, начала схватки Жизни со Смертью. Жизнь — это он, мой будущий дед.

Собственно, в этот миг он и становится дедом: моим и моей сестры, и прадедом наших дочерей — когда, подняв руку (граница видимого мира: рукав его пыльной солдатской гимнастерки), дает отмашку водителю:

— Эй, друг! Сворачивай, сгружай.

Рыча на первой передаче, грузовик сворачивает с Измайловского проспекта (всем невоплощенным существом

¹ Хочется послушать «отцов города» — они-то, интересно, чем думали? Почему не обратились по радио: пока, мол, суть да дело, запасайтесь дровами. Без паники, потихоньку. Зима все равно наступит. От генерала Мороза «ежами» не загородишься, не говоря уже о рвах, которые мы гоняем вас рыть.

6660
И.В.
Н-Вершинин
Районный Военный
Администрация
Молотовской обл.
№ 1-2
9 июля 1944г.
№ 103.

Извещение № 103.

КОПИЯ

Ваше письмо зам. ком. отд.
ст. аэрофлота. Районный В.В.В.В.
Семинский уроженец Ярославской обл.
Вятский Р-н. В дою за боевыми
действиями родины, верный боевой товарищ
проживавший в Молотове и Москве с 1941
года 27-го января 1944г.

Похоронен Ленинградская обл. д.р. Горь.
Настоящее извещение является документом
для восстановления государственности о нем.

ПРИНТИ
15.1X44
Исключено по
неиспользованию

Районный /подпись/
Нат. 1-го /подпись/

2. Лекс-

я слышу зубовный скрежет посрамленной Смерти) и въезжает во двор дома № 3/5.

Машина дров — блокадная мера жизни. Сложив маленькую печку и снабдив ее дровами, мамин отец эту меру наполнил. «Если бы не те дрова... В блокаду у нас всегда было тепло. Иначе нам бы не выжить», — это не мои, это мамины слова.

Мой дед, Василий Семенович Рябинин, погиб в бою под Ленинградом 27 января 1944 года. В самый день снятия блокады. На эту дату, которая значится в его похоронке, приходится и первый за всю военную историю ленинградский салют. Двадцатью четыремя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Победные залпы, раскрываясь невиданными по красоте букетами, падают на землю, покрывая свежие рвы. (Через много лет, когда моя трехлетняя дочь, заслышав такие же разрывы, опережаемые широкой, вполнеба, огненной россыпью, закричит так страшно, что, подхватив ее на руки, мне придется бежать к трамвайной остановке, я вспомню *тот* салют.)

Но если оставить за скобками артиллерийский грохот, снятие блокады Ленинград празднует тихо. Не сравнить со взрывом ликования 25 декабря 1941-го, когда по радио объявили, что «прибавили хлеб». Те рыдания и крики, когда в очередях обнимались, качали продавщиц и завмагов, — реакция еще живых людей.

Теперь горькую победу над Адом празднуют души горожан — их тела уже почти сошли. Праздник выживших? Поминки по умершим?

Кому придет в голову задавать такие вопросы... Здесь, где по улицам ходят бесплотные тени, живые неотделимы от умерших, умершие — от живых.

Сделав свое солдатское дело — сняв с города блокаду, — мой дед встретил праздник на земле. В землю он ляжет на другой день, когда его останки захоронят в деревне

Красные Горы Лужского района Ленинградской области¹. Место захоронения неизвестно — я имею в виду клочок земли. В сорок шестом, вернувшись с Урала, они ездили, искали, но так и не нашли.

Мы, потомки, обязаны ему жизнью — мысль проста и осязаема, как машина дров.

Как он погиб? Как все. Солдаты, погибавшие под Ленинградом. И все-таки я хочу видеть, как он упал. Раскинул ли руки или сжал винтовку? Была ли у него винтовка или только связка гранат? Или не связка, а одна-единственная? Что он крикнул в последний миг, пока губы не сомкнулись...

Его губы, останься он в живых, могли назвать и меня: моя королева. Без него я так и не стала королевой.

Но откуда во мне эта неотступная уверенность, будто он, лежащий в безымянной могиле, знает мое имя... Все наши имена...

Кроме двух его фотографий и заверенной копии похоронки — оригинал прибрали к рукам инстанции, назначившие вдовью пенсию, — здесь, на земле, больше ничего не сохранилось. Разве что глаза — дедово наследство, которое досталось мне.

У нас с дедом разные профессии. Он входил в домны, я ищу слова. Мне нечем отдать ему долг — кроме слов.

¹ По google-карте 115,1 км от Гатчины. Примерное время в пути — если не пешком, а на машине — 138 мин.

VIII

В блокадной памяти смерть обозначена голодом и холодом. Их сочетание — особое агрегатное состояние, не имеющее ни конца, ни начала. Еще вчера тебе представлялось, будто ты не голодаешь, а подголадываешь. И вдруг оказывается: никакого «вчера» нет. Как нет ни позавчера, ни завтра. Голод — жизнь, выпавшая из хронотопа.

Время движется еле слышно, будто стрелки часов, замороженные звуком метронома, впали в анабиоз. Из анабиоза они выходят на время приема пищи, когда время стремительно тает — с каждым проглоченным довеском, корочкой или мякишем, с каждой порцией каши или супа, с каждой чисто-начисто вылизанной тарелкой...

Голод подступал медленно, тихими стопами. Первые свидетельства о нехватке продовольствия датируются последними числами сентября.

«Сентябрь выдался холодным. Я помню, мы ходили в пальто. У Женьки (младшей дочери тети Насти Каковки-

ной. — Е.Ч.) шарф был завязан. Первого сентября я как обычно пошла в школу. Недели через две школу закрыли».

На военной карте начало ленинградской блокады выглядит так: 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру и, захватив Шлиссельбург, блокировал Ленинград с суши. Разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. С севера город блокируют финские войска. Рубеж, на котором они стоят, — государственная граница 1939 года, разделявшая СССР и Финляндию накануне советско-финской войны. Общая площадь, взятая в кольцо: 5000 квадратных километров, включая пригороды.

У детской блокадной памяти свои рубежи и ориентиры.

8 сентября случилась первая *настоящая* бомбежка. Теперь мама все чаще гостит у бабушки. Дома оставаться страшно: то, что летом виделось игрой, кажет свою гнусную изнанку.

«В бабушкином доме был магазин сувениров. В сентябре, перед самой блокадой, я купила слоников. Из мраморной крошки. И еще карты. Зимой я в них играла. Сама с собой. Или перечитывала журнальные рецепты. Очень хотелось есть».

Между «очень хотелось» и алиментарной дистрофией (медицинский справочник приводит и другое название, но язык не поворачивается его произнести) стоят страшные блокадные вопросы.

Поставить можно — решить нельзя.

Первый и главный: о карточках. А если прямо: о *селекции*.

В послевоенной историографии это слово закрепилось за фашистским режимом, где отбор, как правило, осуществлялся по расовому принципу. У советской власти принципы социальные, но приносить в жертву живых людей ей тоже не привыкать.

Первые жертвы — беженцы из Ленинградской области. В город они хлынули осенью сорок первого. Десятки

тысяч. Кто-то пришел пешком, другие на телегах: с детьми, с дряхлыми стариками. Некоторые вели за собой скот. (Плач измученных детей и рев голодных коров — один из начальных звуков блокадного ада, потому и запомнился.) Если не случится чуда, эти люди, не имеющие ленинградской прописки, очень скоро умрут.

На другом полюсе блокадной судьбы — новое привилегированное сословие: от обитателей Смольного до видных деятелей НКВД. Эта «категория граждан» пользуется литерными пайками. Для них открыты и спецстоловые. Простым ленинградцам доступ туда заказан.

Простые — от мала до велика — распределены на 4 категории: I — рабочие и ИТР; II — служащие; III — иждивенцы; IV — дети (до 12 лет). Три последних категории, если мерить индивидуальными выдачами декабря-января, *заведомо* обречены.

В действительности алгоритм выживания сложнее: многое (далеко не всё) зависело от сочетания категорий в каждой отдельно взятой семье. Двое рабочих и ребенок; рабочий и иждивенец — такие сочетания (при условии, что хлеб делится поровну) дают шансов больше. Инвалид II (нерабочей) группы и ребенок, а то и двое-трое — шансов практически никаких. Матери, оказавшиеся перед нечеловеческим выбором: кого из детей кормить — как пра-вило, из таких семей¹.

Впрочем, случались и чудеса — когда какой-нибудь незнакомый капитан (майор, лейтенант — в легендах блокадного времени воинские звания ангелов-спасителей разнятся, однако высших чинов, соответствующих пре-

¹ Одна из невыносимых сцен мирового кинематографа: «Выбор Софи», те несколько секунд, когда она сама выбирает, кого — сына или дочь — отправить на смерть. Пережив эту сцену однажды, я отключала изображение и звук. Но в блокадном Ленинграде выбор еще страшнее. Потому что *длится*: в ноябре — недели, в декабре-январе — дни.

столам и властям, среди них нет) *вдруг* — этому русскому слову, обыкновенно означающему беду, за редкие блокадные чудеса простится многое — открывает вещмешок и достает буханку хлеба, ничего не требуя взамен; или в сумке — которую до этого, кажется, уже раз сто прощупывали и перетряхивали, — но вот же она, конфета, завалившаяся за подкладку. (Ленинградцы знают: даже считанные граммы сладкого могли остановить необратимый процесс.)

Но общее правило такое: чтобы выжить, надо что-то *предпринять*.

В блокадном Ленинграде этих способов не так уж много. Некоторые из них противоречат «довоенной» морали — но этический аспект я, не пережившая смертного времени, *заведомо* оставляю в стороне.

Там, а вернее, по другую сторону от ленинградского смертного человечества, остаются те, кто по роду службы связаны с распределением продуктов, чьи лица, «розовые, лоснящиеся от жира», описаны в блокадных дневниках. Весной 1942-го ленинградцы узнают их с первого взгляда — задолго до Страшного Суда. Под прицел тяжких, словно из-под земли идущих взглядов попадают и без вины виноватые: прилетевшие с Большой земли по служебным надобностям. Им, не носящим примет близкого исхода (несгоняемых отеков, иссохших древообразных скул, истончившейся сверх предела кожи: кажется, тронь пальцем — порвешь), — хоть на улицу не выходи.

Но я — не о них, а о способах выживания.

Черные рынки. Все, что до войны считалось ценным, можно обменять на еду: золото, вещи — свои или соседские, если соседи умерли либо успели уехать.

Помойки — больничные и столовские, куда по вечерам выносят бачки с отходами: для дистрофиков, живущих по соседству, картофельные очистки — манна небесная.

Грузовики с хлебом — когда на них бросается голодная толпа. В сводках НКВД такие случаи зафиксированы. Наряду с разграблением булочных они приходится на первые числа января, когда в течение нескольких дней карточки не отоваривали вовсе (притом что на другом берегу Ладоги скопились тысячи тонн продуктов, но власти с доставкой не справляются), и на третью январскую декаду, когда мука в городе была, однако хлеб не выпекали — от чудовищного мороза полопались трубы: хлебозаводы стоят без воды.

Утаивание карточек — выморочные карточки полагаются сдавать в домоуправление, но родственники шли на риск.

Мародерство — квартирное и уличное: покойников не только обшаривали (в поисках денег и карточек), но и раздевали. Особенно ценилась обувь: нередко случаи (они также проходят в закрытых сводках), когда ноги отпиливали ножовкой — по колени, если не удастся стянуть с одеревенелых ног сапоги.

Употребление в пищу суррогатных и технических продуктов: олифа, машинное масло, обойный клей, костяные пуговицы (из пуговиц варили «бульон»), вазелин для смазывания деталей (на вазелине жарили или намазывали его на хлеб). Кроме суррогатных и технических, были условно натуральные: дуранда (жмых), гнилые капустные листья («хряпа»), лепешки из кофейной гущи; ремни из свиной кожи — их вываривали до мягкости, чтобы разрезать и прожевать.

Особняком в спасительном перечне — точно в голодном горле — стоит «сладкая» земля из-под Бадаевских складов. Страшный пожар, унесший 2,5 тыс. тонн сахара и 3 тыс. тонн муки (в масштабах города не запасы, а слезы), в ленинградском сознании остался символом начала блокадных мук. Этот пожар мама видела своими глазами: «Зарево вполнеба. Мы с девчонками стояли, смотрели...» Зимой,

в смертные месяцы, куски «бадаевской» земли, пропитанной горелым сахаром, ленинградцы варили. Жирный земляной отвар можно пить, предварительно процедив.

Забегая вперед. Ни к одному из перечисленных способов *моим* прибегнуть не пришлось. Говоря точнее и определеннее: нечеловеческих мук мамина семья не претерпела. Читая блокадные дневники («добрые люди мрут, а сволочи здравствуют»), невольно ищешь — нет, не оправданий, — объяснений.

Первое и главное: пытка холодом их не коснулась. В их восьмиметровой комнате всегда тепло. В верхней одежде они не спали. Грязную посуду мыли. Умывались каждое утро — у печки удобная приступочка, на которой всегда стоит чугунок с теплой водой. Сочетание печного жара и кипятка давало фору и в борьбе с паразитами. Когда бабушка (дровами она не запаслась, с первыми холодами перебралась на 1-ю Красноармейскую) притащила на себе платяных вшей: в декабре больничные пациенты сплошь и рядом поступают завшивленные — ее дочь справилась с напастью буквально за один день: вшивые простыни сожгла в печке, нижнее белье прокипятила, для верности еще и прогладила раскаленным утюгом.

Карточек не теряли. Одежду стирали. При необходимости штопали. Прохудившуюся обувь Капитолина носила к себе на фабрику (в войну там шили сапоги для фронта), договаривалась с мастерами. Ее должность контролера давала право на рабочую карточку. У десятилетней мамы карточка детская. К какой категории относилась бабушка, мама не помнит. Но помнит, что хлеб делили поровну: в дни, когда бабушка оставалась дома, — на троих.

Зимой 1941-го расписание больничных дежурств поменялось. До войны она дежурила сутки через трое, теперь — сутки через сутки. «Возвращаясь после суток, бабушка растапливала печку и ложилась спать». Все домашние заботы ложились на плечи Капитолины. Самая

трудная: отоварить карточки. Эти долгие продуктовые очереди она отстаивала либо до, либо после работы.

Маму в очереди не посылали, боялись, что отнимут: не карточки, так хлеб. Хотя свои обязанности у нее были. Принести воды (2 раза в день по 3–4 литра: на углу 1-й Красноармейской и улицы Егорова из открытого люка бил фонтан). Вынести «туалетное» ведро. Его содержимое мама выливала в подворотню. (В зимние месяцы, когда иссякли последние силы, многие выплескивали прямо в окно, а бывало, что и на лестницу.) Однажды, когда шла обратно, за ней увязался страшный мужик. Шел по лестнице, бормотал: «Какая толстая девчонка...» Толстая — потому что голодные отеки: к январю мама заметно отекала. Ясно представляя себе его намерения (о людоедах бабушка рассказала еще в декабре: «Утром подходишь к больнице, с ночи — тела. Голые, штабелями. Вечером идешь обратно, мягкие части вырезаны»), она успела вбежать в квартиру и накинуть спасительный крюк.

Мой глаз — первого не пуганного войной и блокадой поколения — спотыкается на «мягких частях». Из них (как из клетки: но не столовой, а раковой) вырастает иная стратегия выживания, о которой мне, вслед за бабушкой, нельзя умолчать.

Впрочем, для ленинградцев бытовой каннибализм — не тайна. Вырезали, варили, ели. Кто-то — на продажу. «Фаланги пальцев, кусочки ногтей и кожи», которые находят в купленном на рынке студне, встречаются во многих блокадных дневниках. Эти свидетельства (чаще опосредованные: «Сама я не видела, но в очереди за хлебом говорили» или «соседка мне рассказывала») подкрепляются цифрами из закрытых сводок.

По сводкам первой зимы сведения о каннибалах проходят регулярно. Борьба ведется в двух направлениях. Выявленных людоедов расстреливают. Одновременно НКВД запускает слух: вставшие на этот путь не выживают. Уходя

в народ, слух обрастает «живыми» подробностями. Считается, что каннибала узнать легко: по сияющим глазам.

Бабушка в «сияние» верила. Я — нет.

Сварить и съесть «мягкую часть» — на это решаются в голодном бреду, когда все человеческое уже ушло. Осталось звериное: добыть, запихнуть в рот, проглотить. Эта, последняя, стадия алиментарной дистрофии выражается по-разному: у кого-то — предсмертной апатией, у кого-то — приступами нервного перевозбуждения; сиянием глаз.

Для нас, не переживших блокадных страданий, — inferнальный ужас. Для блокадников — едва ли не обыденность. В их представлениях о каннибализме есть истории страшнее кусков мяса, вырезанных из чужих мертвых тел.

— Но твоя-то прабабушка, — я слышу голоса блокадников, — работала в больнице... Раньше, до войны, она всегда приносила: пироги, ватрушки, котлеты, гарниры...

Блокадники знают, о чем говорят. Устроиться в больницу (стационар, столовую), где циркулировала «живая» еда, мечтали многие. Акты проверок отдельных больниц и госпиталей содержат схемы махинаций — подробные, с цифрами. Продукты в общий котел недокладывают, особенно жиры и картофельную смесь; для себя варят отдельно; медработники, прикрепленные к больничной столовой, карточек не сдают. Переводя с блокадного языка: питаются за счет больных. Объедали не только взрослых, но и детей. Сколько таких случаев, в точности неизвестно: все больницы и детские дома проверить невозможно. Но у блокадников есть глаза: «Зина и Маруся (когда Маруся работала поваром в детдоме) приобрели много хороших вещей за хлеб, например, ручные часы за 1 кг хлеба»¹.

¹ Из блокадного дневника Л.К. Заболотской. Цитирую по книге: Сергей Яров. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.

Предел мечтаний: пекарня или хлебозавод. В первую блокадную зиму, когда у проходных военных заводов лежали штабеля трупов, из 713 работников кондитерской фабрики им. Н.К. Крупской *не умер ни один*.

Разумеется, на выходе досматривали: сумки, голенища, карманы. Но не с ног же до головы. Клочок теста — в лифчик, горстку муки — в носок; катышек дрожжей — подмышку, да мало ли куда. В человеческом, особенно в женском, теле немало полостей, чтобы спрятать, хотя бы самую малость, идя на смертельный риск. Дома голодные дети: риск не риск — лишь бы спасти.

В приемном покое досматривать некому. «Но домой бабушка ничего не приносила. Иначе я бы запомнила. — Десятилетний ребенок, мучимый голодом, *видит* каждый “лишний” кусок: продукты, те, что выдавали по карточкам, мама знала наизусть. — Но сама она, я думаю, подкармливалась. Большинство пациентов при смерти... Они не успевали доесть. Бабушка говорила: сколько привозили, столько и умирало».

В первые январские дни ее уже не отпускали из больницы — поток умирающих таков, что одной дежурной нянечке не справиться.

На третий день (накануне, отстояв безнадежную очередь, Капитолина снова вернулась домой с пустыми руками), мама начала умирать.

Кто-то кричит, рвется, просит хлеба, кусочек, маленький, напоследок — но моя мама умирала тихо. «Я лежала и ждала, когда все исчезнет...»

Стол, окно, забитое фанерой, маленькая ребристая печка, чугунный котелок с водой, карты, слоники из мраморной — несъедобной — крошки; работницы и крестьянки с рецептами небывалой еды: щей, борща, котлет, гурьевской каши, картофельной запеканки, тушеного мяса,

заливного, салата с майонезом, жареной картошки. «Я думала: странно... зачем их едят с хлебом... с хлебом...»

Мысль о хлебе отступает. Умереть — снять с себя изорвавшееся тело, сбросить, точно камень с души. Вот она снимает. Аккуратно расправив, вешает на спинку стула... Теперь оно больше не мешает: выйти в коридор, из коридора на лестницу — чугунный крюк услужливо откинут, — спуститься вниз по горбатым, в леденелых фекалиях, ступеням. Ах, как же это просто, если нет никакого тела. Бывшие ноги не скользят, слушаются.

Она уже во дворе. Впереди, за чугунными створками ворот, белеет — белым-бела — улица. В просвет между сугробами видно далеко...

Она стоит и смотрит.

Из женской бани — строем, по трое, сверкая чистыми белыми телами — выходят большие мальчики. За ними, в арьергарде колонны, следуют ленинградцы, закутанные в белые простыни. Будто это им, каждому из них, сказано: встань и иди. Ненадежные простыни свиваются прочными надежными пеленами — кажется, еще один шаг, и больше не шелохнуться, не двинуть ни рукой ни ногой. Но они идут — вперед, по 1-й Красноармейской, по проезжей части, пользуясь тем, что нет ни трамваев, ни машин.

На углу Международного белые мальчики сворачивают направо — к Пулковским высотам, к Гатчине, к Луге... Дождавшись, пока минуют последние, белый всадник на белой лошади, похожий на довоенного милиционера, опускает Среднюю рогатку. Пеленашки покорно останавливаются. Проводив глазами мальчиков, отходят к обочине, ложатся в свежие рвы. Снег, падая с небес на землю, сливается с белыми пеленами...

— Ты не подумай, — мамин голос доносится издалека, из мертвой тишины, из снежного ленинградского крошева, — я не просила. Я знала, еду просить нельзя... Тетя Настя сама...

Заглянула в комнату. Потом пошла и принесла. Стакан муки, полный, до краев. Эту муку (пополам с отрубями: в обычной городской пекарне, откуда Капитолина перед самой войной уволилась, а Настя осталась, другой и быть не могло) они, растянув на несколько смертных дней, заваривали как клейстер.

Об этой муке, пронесенной через проходную, мама молчала семьдесят пять лет. Боялась *бросить тень...*

Бабушка Дуня начала умирать в последней декаде января. Тогда у нее начался голодный понос. (Кто не в курсе: стадия дистрофии, предшествующая летальному исходу.)

— Я помню, когда это случилось в первый раз, она привела домой какого-то военного. Отдала ему золотые часы. Большие, с кулак, похожие на луковицу. Длинная цепочка, медали на крышках, крышек четыре или пять, с обеих сторон.

В обмен она получила буханку хлеба, 200 грамм сала, брикет горохового супа.

Прежде чем отдать часы, бабушка их поцеловала: в крышку, как в губы. С кем она в этот миг прощалась, уже не узнать...

Голодный понос вернулся ближе к весне. С марта, стихая на неделю-другую, он мучил ее регулярно. В те дни, когда бабушка совсем не могла подняться, она посылала маму в больницу — предупредить, что пока еще не умерла.

Блокадная весна выдалась холодной; таяние снега началось в апреле. В марте лед Обводного канала еще не сошел. Поверхность льда усеяна зимними пеленашками. Но к пеленашкам — хоть на льду, хоть на улицах — мама давно привыкла. «Мертвых я не боялась. Я боялась обстрелов»¹.

¹ Если смотреть с Пулковских высот, где закрепились немцы, Международный проспект тянется с юга на север. По условиям блокадного времени это означает, что, в отличие, скажем, от Невского, тут нет стороны, «наиболее опасной при артобстреле». Обе опасны одинаково.

Однажды она попала под бомбежку. Но в убежище спускаться не стала, пережидала в подворотне. После отбоя смотрела, как убирали убитых и раненых. Ей запомнилась женщина с разорванным лицом: «Дружинницы несли ее на носилках. Кровавая рана вместо рта». Другой раз видела, как горит дом. На углу Международного и 5-й Красноармейской. «Языки пламени до неба. Люди стоят. Ждут, пока поутихнет. Обгорелые деревяшки тащили на растопку».

После войны на месте прорех разбивали скверы. Реже застраивали. Такие дома бабушка называла протезами. Когда мы проходили мимо, так и говорила: вон, гляди, протез.

Скажет и замолчит.

А разговоров о «блокадном героизме» избегала. Когда слышала по радио, поджимала губы. В ее лице что-то натягивалось, дрожало невидимой струной (так во мне и осталось: «героизм» — дрожь и бабушкины горькие морщины, вниз, от углов рта). Для нее блокада — тяжкая повседневность.

Пройдет немало лет, прежде чем, обретя опыт взрослой жизни, я пойму, что основные тяготы этой повседневности вынесла на себе не она, а ее дочь Капитолина. Мамина мать.

Отovarить карточки, притащить дрова из сарая, сготовить, натаскать воды, постирать — за перечнем обязанностей, которые она взяла на себя, стоят невероятные усилия: выше сил. Этим кругом беспросветного ада (работа — очередь за хлебом — дом — работа — снова очередь) она ходила изо дня в день. Не жалуясь (кому? — даже в Бога она верила скромно, не утруждая Его пустыми просьбами. Мама помнит ее слова: «Как все — так и я»). Чем держалась? Надеждой. На то, что рано или поздно *это* закончится. Привычкой к упорному крестьянскому труду — которую она, выросшая в деревне, у бабушки Федоры, обрела еще в раннем детстве. Непререкаемым чув-

ством ответственности, лежащим в основе ее натуры. Дочерним послушанием — для нее (тихой, доброй и по-деревенски скромной женщины) слово матери было последним. То, что позволяла себе бабушка Дуня (лечь и отвернуться к стенке: глаза бы ни на что не глядели!), себе она позволить не могла.

Что она думала о своей жизни — ее тайна. Но если смотреть с советской точки зрения — едва ли не счастливая судьба. Отец, Яков Копусов, погиб на войне — а мог бы и в лагере (со всеми вытекающими последствиями: «дочь врага народа» или, успеет она к тому времени повзрослеть, ЧС — «член семьи»). Мужа не репрессировали. А тоже ведь могли: брат водил дружбу с С.М. Кировым. Да и с Финской он вернулся живым и здоровым. В сорок четвертом погиб под Ленинградом, но ведь погиб, а не пропал без вести, не попал в плен — случись так, она лишилась бы вдовьей пенсии. Маленькой, копеечной, но все лучше, чем вовсе никакой. Пил — а кто не пьет: главное, знал меру, два раза в месяц можно перетерпеть. Ребенка, единственную дочь, любил, называл королевой, уходя на войну, сказал: «Ты ее за оценки не ругай, девочка умная, будет учиться». Нищета? Можно подумать, другие — вокруг — жируют. Бытовая неустроенность — тоже как посмотреть. Комната 8 метров, но ведь своя, отдельная. Тяжкий беспросветный труд? Зато дают рабочую карточку... Из двоих сыновей один родился мертвым. Другого, Витю, она любила, заботилась — но, может, лучше так, до войны, от менингита, чем потом, с голоду, как Алик, племянник мужа. Витю хоть похоронили по-человечески — в настоящем хорошем гробике. А не в ров. Одного — к чужим...

Для меня — лихоманка советского лихолетья. В самом беспросветном его изводе. Для нее — жизнь. Другой она не знала. Это не она, это я ропщу на ее судьбу. Несправедливую, которая, забрав двоих сыновей и мужа, ничего не дала взамен. Хотя бы старости в окружении любящих внушек.

Ей, единственной из моих родных — выживших и погибших, — подходит слово: безответность. Самое женское из всех русских слов. Она вынесла *всё*. С лихвой. Не ропща и не жалуясь. И умерла, надорвавшись.

Когда я думаю о ней, ушедшей раньше, чем я родилась, мне хочется сказать:

— Ты меня не знаешь. Меня растили, учили, воспитывали другие. Но если бы не ты, ничего бы у них не вышло.

IX

Из Ленинграда, пережив смертную зиму, шаткую от слабости весну и голодноватое лето — в блокадную историю то лето войдет городскими огородами: беря дело спасения в свои руки, горожане перекопали и превратили в овощные грядки каждый клочок земли, — они уехали в августе 1942-го, с третьей эвакуационной волной. Первая пришла на летние месяцы 1941-го, когда за Уральский хребет вывозили то, что в большевистской бухгалтерии проходит по статье невозполнимых ресурсов: оборудование, станки, предметы эрмитажного собрания. Горожане, за исключением отдельных «ценных» категорий, в этот счет не шли. (Тем, первым военным, летом растерянные власти разыгрывали «патриотическую карту»: мол, уезжают паникеры и трусы.)

Хотя, справедливости ради, упомяну: в самом начале войны — уж не знаю, видимо, от районного начальства, — Капитолина получила предложение: отправить в тыл дочь.

Что тут сыграло бóльшую роль, естественный материнский страх («Будь что будет, а ребенка не отдам») или слухи о детских эшелонах, подвергшихся массированным бомбардировкам (в чудовищной неразберихе фронтовых сообщений, к тому же поступавших с нарочитым — из соображений государственной секретности — опозданием: ленинградское начальство отправляло поезда в южном направлении — напрямиком в пасть врагу), — но она на это не пошла.

Вторая, зимняя волна пришлась на смертное время, когда детей и женщин, балласт осажденного города, везли на полоторках по ладожскому льду — эта волна мою семью не захлестнула. Но весной военный совет Ленинградского фронта принял решение: принудительно, в течение лета, вывезти из города всех оставшихся в живых иждивенцев, пенсионеров и женщин, имеющих троих и более детей. Ни под одну из перечисленных категорий мои не попадали. Это означает, что уезжать или *все-таки* оставаться — зависело от них самих.

Бабушка Дуня медлила, боялась не доехать: летом, хотя с питанием более-менее наладилось, снова привязался понос — теперь уже кровавый. (К счастью, его удалось перебороть: в день, когда бабушка поняла, что умирает, неожиданно-негаданно пришли из больницы Коняшина, принесли дефицитное лекарство.) Но главный ее страх: комната. Никакие уговоры — мол, у тебя ленинградская прописка, если займут или, мало ли, разбомбят, государство предоставит другую жилплощадь — на нее не действовали. Имея твердые представления о большевиках, бабушка была уверена: уехать — потерять¹.

¹ Уезжать или оставаться? — в блокадных условиях вопрос вопросов. Одни делали выбор сознательно, другие подчинялись обстоятельствам. Кто-то мечтал уехать, но так и не добился разрешения. В ленинградских дневниках остались свидетельства блокадных селекций, когда, решая вопрос об эвакуации детского дома, начальство

Всю смертную зиму — с ранней осени, когда похолодало, до ранней весны, когда вроде бы оттаяло (в маминой памяти снега уже нет, но их пронизывает, подирает холодом — так дает знать о себе крайняя истощенность: даже летом, в июне-июле, старики и старухи, чьи кости, пережившие зиму, смерзлись, не решатся снять пальто) — бабушкина комната оставалась под присмотром соседок. Илья Кузьмич, брат тайной монахини Елизаветы, сподобился умереть в самый канун войны.

Как они пережили зиму, бабушка не знала, но в марте, собравшись с силами и взяв с собой внучку — на случай, если не удержится на ногах: от голода шатало, — отправилась к себе на Забалканский. Проверить, как они там.

Словно впад в невроз навязчивого повторения, история семьи двоится. Маме без малого одиннадцать — ровно столько было ее матери, когда бабушка Дуня вела ее по пустому городу. С той же самой целью: дойти и разузнать.

Но, как обыкновенно и бывает в истории, каждый следующий виток нарисован своими красками. Петроград, к которому девочка Капа приглядывалась в 1922-м, не пострадал. Теперь, через двадцать лет, глаза ее дочери то и дело натываются на обгорелые остовы. На 1-й Красноармейской их меньше — основные разрушения приходятся на Международный проспект. «Я шла и смотрела. Голые лестничные пролеты... Обвалившиеся фасады». То, что видит блокадная девочка, похоже на лица — с них будто

отбраковывало самых слабых: все равно ведь не доедет, умрет по дороге, только место займет. Умиравшие подростки старались доказать, что еще в силах — могут самостоятельно, без помощи взрослых, сделать десяток шагов от стенки до стенки. Но у воспитателей, занимавшихся естественным отбором, был наметанный глаз.

Наряду с заведомо обреченными в городе оставались те, кого бабушка называла «нёжить»: директора продуктовых баз, управхозы — эти, обогатившиеся в смертное время, от эвакуации отказывались. Боялись оставить без присмотра «нажитое» добро.

огромным чугунным крюком содрали кожу. Вместо мышц зияют комнаты, кухни, коридоры — висят над бездной: в этом театре военного абсурда довоенная жизнь словно лишена четвертой стены.

Она идет, внимательно глядя под ноги: всюду рытвины, недолго и споткнуться. «Но, знаешь, это все равно лучше, чем снежные завалы. Рытвину обойти легко». Легче, чем тело, раскоряченное поперек тропинки, вырубленной в толще снега (Смерть собирала урожай, где придется: где упал — там и умер, как умер — так и лег). «Однажды я видела сидячего покойника. Женщина волокла его на санках: будто не умер. Будто сел на санки и сидит».

Бабушка то и дело останавливается. Стоит, держась за стену, сетуя на ослабевшие ноги: «Совсем не влачают». Так, мало-помалу, потихоньку — от угла до угла — дошли.

Слава Богу, дом не пострадал. С трудом, словно на каждой ноге по гире, они поднялись на шестой этаж.

— Дверь была цела. Бабушка открыла, но меня в квартиру не пустила. Сказала, стой здесь. — Сквозь проем распахнутой двери мама видит, как бабушка открывает комнаты. — Заглянет и закроет. Потом вышла. Сказала: всё... А что она могла? — мама смотрит виновато. — Тогда работали специальные бригады, ходили по квартирам, собирали покойников...

Бабушка молчала до вечера. Когда дочь, вернувшись с работы, спросила: «Ну как они там?» — ответила коротко: «Отмучились. Царствие небесное».

Мы сидим на веранде. Снова вечер. Август. Желтый абажур над столом. За окнами лес. Тишина. В тишине я слушаю бабушкины слова.

Слушаю и понимаю: у блокадников свое царствие небесное. Там стоит холод и нет еды. Но они не помышляют о хлебе. Их посмертное воздаяние: не чувствовать ни голода, ни холода.

А потом, когда мама уйдет спать, а я останусь, буду сидеть, перебирая их имена, как карточки, — только тогда я пойму: эти три женщины, тихо угасшие в Ленинграде, они — воплощение Петербурга, знак его, уже непоправимой, судьбы.

Чтобы хоть как-нибудь подстраховаться, бабушка прописала к себе Марфу, племянницу Насти Каковкиной, приехавшую в город незадолго до войны. Договорились так: когда бабушка вернется, Марфа пропишет ее обратно. А сама вернется на 1-ю Красноармейскую.

Уж не знаю, чем бабушка при этом руководствовалась: собственной ли порядочностью или памятью о нравах ее родной деревни.

— Но Марфа обещала, дала слово... — как и прежде, когда упоминала Марфу, мама отводит глаза.

В эвакуацию уезжали вместе, двумя семьями.

— Мы втроем: я, мама и бабушка. Тетя Настя с девочками. Надя на два года меня младше, Женя — на четыре.

Готовиться к отъезду начали заранее. Шили клеенчатые конверты — детям казалось, огромные. Но и вещей набиралось много (зимняя норма, тридцать килограммов на человека, летом уже не соблюдалась — не то отменили, не то смотрели сквозь пальцы). «Из вещей мы взяли пальто, платки, платья, меховую душегрейку, кое-что из обуви». Настоящие ценности, пригодные для обмена, — бабушкины: швейная машинка «Зингер»; два чайных сервиза с японками и с незабудками; ткани из сундука (хорошие, дорогие: коверкот, шевиот, бостон — не зря бабушка стояла в довоенных очередях).

«Утром, в день отъезда, за нами пришла машина: грузовая, кажется, полуторка». (У себя в тетради я помечаю: «машина». Это важно. Зимой вещи везли на санках, у кого санок нет — тащили на себе.)

Сидя в открытом кузове, мама смотрит на опустелый город — куда ни глянь, ни людей, ни машин. В то утро бомбежки не было. До Финляндского они доехали быстро¹.

Начитавшись блокадных дневников, я жду столпотворения: зал ожидания, набитый под завязку, давка; измощенные люди штурмуют поезда; умирающих несут на носилках. Но так было зимой. Летом, в августе, «все прекрасно организовано. Нас встретили девушки-дружинницы, помогли сгрузиться, перетащить вещи. Перед зданием вокзала была площадка, огороженная забором... — Чтобы легче было представить, мама добавляет: — Чугунным, как на кладбище».

За забором расставлены скамейки и столики. На этих скамейках они сидели до самого вечера, ждали, когда подадут состав. «Я все время прислушивалась: не могла понять, почему так тихо? В нашем районе всегда стоял грохот. А тут... будто нет войны». Ей представлялось, поезд будет пассажирский, как раньше, когда они с бабушкой ездили в деревню.

Оказалось, товарняк.

«В вагоне пахло коровами — до нас, я думаю, возили скот. В заднем углу дырка. Широкая, шириной в две доски. Их выломали из пола. Угол завесили мешковиной. Мы заходили за тряпку, садились на корточки... Ехали долго, но... — Мама дает наконец волю радости: — Хорошо. Не обстреливали, не бомбили...»

Теперь и я верю: для них все самое страшное закончилось. Осталось переплыть Ладожское озеро: деревня Кобона (мама произносит: «Капонна» — как запомнилось со слуха), на том берегу. *Тот берег* — Большая земля.

¹ Центром эвакуации Финляндский вокзал стал по двум причинам: во-первых, ближайший к Ладоге; во-вторых, единственный из ленинградских вокзалов, который находится вне зоны действия немецкой артиллерии.

На чем везли до берега — мама не помнит. Детская память сохранила другое, главное: «В Борисовой Гриве нас всех накормили, дали похлебку с хлебом».

На тот берег эвакуированных возили катерами. Они думали, снова придется ждать, но «катер подошел довольно скоро. Чтобы взять побольше людей, к нему были привязаны плоты. Кажется, канатами. Когда наша очередь подошла, мы погрузили вещи, и тут оказалось, места больше нет. Там тоже работали девушки-дружинницы. Они нам предложили: пусть ваши вещи переедут, а вы — другим катером. Но тетя Настя на это не согласилась, сказала, сгружайте, отдавайте наши вещи. Другой катер мы ждали долго, часа два или три. Когда снова погрузились, дежурные нам сказали: тот катер разбомбило... Там была девочка. Моих лет. В соломенной шляпе. Потом, уже далеко от берега, я увидела эту шляпу. Соломенную, с большими полями. Она плыла по воде...»

Первая станция, где эшелон больше суток простоял в тупике, — Вологда. От долгой стоянки в памяти остались жара, удушливый запах испражнений (туалет в здании вокзала, но вокзал далеко, ослабевшим ленинградцам не дойти). Зато есть кипяток. А главное, хлеб. И меряют его не граммами, а буханками: целая, половинка, четвертинка — к этому им еще долго не привыкнуть. «Сперва нам сказали: пайки́ раздают на вокзале. А потом вологодские женщины нас пожалели, сами принесли».

Еще одно важное воспоминание: «Здесь было уже не страшно. Вологду не бомбили»¹.

¹ Чтобы перепроверить мамину память, я открываю интернет. «Город находился в прифронтовой полосе. Но, несмотря на частые налеты вражеской авиации, ни одна авиационная бомба так и не была сброшена, — а дальше вот оно, *то самое*: — В народе считается, что беду отвели ангелы: не зря Вологду называли богоспасаемым городом...» Я повторяю про себя: *богоспасаемым*. Так считается в наро-

Из Вологды эшелон отправили на Урал, в город Молотов (бабушка называла его: Пермь). Прием эвакуированных ленинградцев организован хорошо. На вокзале их встречали пустые подводы. До села Насадки Пермско-Сергинского района спокойным лошадиным шагом несколько часов.

«Пахло цветами, травой... Я ехала и всё оглядывалась: в Ленинграде война, а тут — мирное время. Никак не могла понять, как такое бывает...»

Наконец привезли. Выгрузили у сельсовета. «Начали распределять по деревням. Нам досталось Кондаково. Это на полуострове, через речку Сылву. Туда ходил паром... Речка холодная, вдобавок ко всему сильное течение. Купаться нельзя. Но о купании тогда не думалось». Все мирные мысли пришли потом.

«Поселили нас к Анне». Женщина средних лет, безмужняя — муж не то погиб, не то сгинул до войны, — с тремя детьми. Дочь Саша: лет шестнадцати — по тогдашним понятиям взрослая; сын Митя: года на два старше мамы, с осени они вместе ходили в школу, но в разные классы. Самая младшая — Галя, лет семи-восьми. В деревне ее называли «Галька-размужичье» — за то, что поперек деревенских правил и приличий носила мужскую одежду: пиджак, брюки, видимо, отцовские. О причинах этих странных предположений никто не задумывался — дали кликуху, и ладно.

Подводу с эвакуированными Анна встретила криком и отборными матюгами. Так вас перетак! На что мне ваши выковыренные! Но, откричавшись, смирилась. Стояла на

де, простом, как вологодский конвой. Ну и где ж они были, эти самые ангелы, когда там, у нас, в Ленинграде...

Бабушка морщит губы — не то плачет, не то усмехается:

— Не плачь. Ты же большая девочка. Твой народ — ленинградцы.

— Все? И Марфушка? — Пусть она решает, это же ее комната, как решит, так и будет.

Но бабушка молчит.

исхлестанном дождями крыльце, смотрела, как мужики, сопровождавшие подводу, заносят в дом вещи: расселение по разнарядке — против начальства не попрешь.

Потом-то оказалось — добрая, добрее тети-Настинной хозяйки, тоже Анны, которую даже местные обходили стороной. Мама объясняет это тем, что *их* Анна родилась и выросла в другой деревне, где «люди относились друг к другу иначе, по-человечески». Сюда, в Кондаково, она переехала, когда вышла замуж, но суровые кондаковские нравы не переняла.

«Входишь — сени, кухня метров пятнадцать, чуть не половину занимала русская печь. Настоящая, с полатами. Нас поселили в светёлку. — Это если по-северному; в южных областях России парадную комнату, в которой хозяева не живут, принято называть: зал. — Там стояло две кровати. На одной спали мы с мамой, на другой — бабушка».

Метрах в трехстах от дома — ферма, где Анна и работала. Рядом с фермой рубленая баня. «Мы великолепно вымылись. Мама сама растопила, наносила воды из реки». Но самое яркое впечатление того, первого дня: гороховое поле. Сладкий горох в стручках — для ленинградской девочки забытое лакомство: «Я рвала и думала: как странно, можно рвать и есть».

Ночью их заели клопы. «Миллионы. Ползали по стенам, по потолку. Лежишь, а они падают, прямо на тебя. Я не выдержала, выскочила из дома, часа два просидела на крыльчке». Потом-то привыкла: спать лицом в подушку, обхватив голову обеими руками. Первое время бабушка пыталась морить: брызгала керосином, обдавала горячим паром — но бесполезно. (Тараканов, кстати говоря, не было. Против них использовали проверенное веками средство: выморозить избу. В самые трескучие холода дом на сутки-другие открывают, пока вся эта нечисть не вымрет.)

Расчесанная до крови голова покрылась болячками. Сплошной коркой. Под коркой немедленно завелись вши.

Волосы пришлось состричь. Через полгода корка высохла и отпала, но первую зиму так и проходила в платке. Местная фельдшерица, к которой обратились за консультацией, грешила на смену питания: дескать, ребенок привык питаться по-городскому, а тут одна сплошная картошка.

В Ленинграде картошка на вес золота. Но Капитолина вежливо кивает: мол, вы — фельдшер, вам видней¹.

Картошка, строго говоря, не сплошная. Кроме картошки, есть капуста и морковь. Эвакуированные варят овощную похлебку, забеливают ее молоком. Хлеб получают по спискам: в Насадке, на центральной усадьбе, работает специальный магазин — для эвакуированных и местных служащих. Остальных готовым хлебом не балуют: выдают мукой.

На второй день Капитолину определили на ферму. Дойти коров. Никакой скидки на то, что «горожанка», к сельскому труду непривычна. Трудилась наравне с Анной. От темна до темна.

Бабушка на работу не ходила (видимо, освободили по возрасту — в 1942-м ей пятьдесят шесть), но домашние обязанности исполняла. Мама помнит: «Растапливала печь, готовила, ставила чугуны с водой». Чугуны — в помощь Анне. Днем, забежав ненадолго, та запаривала картошку для скотины: как и все в деревне, она держала корову, овец, коз. Но мяса мама не помнит. Ни мяса, ни яиц. Впрочем, яиц и не было. По местным понятиям, куры и петухи — баловство.

Ленинград и Пермь почти на одной широте, но здешняя жизнь не в пример суровой. По крайней мере, в дерев-

¹ Из этого одностороннего диалога можно заключить: о блокаде на Урале слышали, но что в действительности происходит в Ленинграде, этого местные не знают. Для них все эвакуированные — что ленинградцы, что москвичи — на одно лицо. Но в этом их трудно винить. Масштабы ленинградского бедствия власти тщательно скрывают, напирая на героизм: дескать, город живет, сражается...

нях. Ни газет, ни радио. Электричество только в Насадке: для освещения школы, больницы и Правления работал движок. К отсутствию электричества ленинградцы привыкли быстро: Ленинград тоже стоит без света. Маму удивляло другое: здешние люди на ленинградцев не похожи: «Жили замкнуто, в гости друг другу не ходили. Никого не угощали», — истощенной девочке, пережившей смертный голод, это, последнее, особенно бросается в глаза.

По соседству жила ее одноклассница, над которой мама, как тогда говорили, шефствовала, занималась русским и математикой — та со школьной программой не справлялась. Приходя по вечерам, мама заставляла одну и ту же картину: семья ужинала. «Мне говорили: иди, побудь на крыльце. Я сидела и нюхала. Пахло свежими ша-нежками. Я надеялась, а вдруг и меня угостят». Неписанный кодекс блокадника просить еду не позволяет. Однажды, нанюхавшись, она едва не упала в обморок. Потом приспособилась, стала приходить попозже.

Такая же точно история — с дочкой заведующей фермой. (Семья — местная «элита». В сравнении с другими, богачи. И дом у них большой: не то две, не то три комнаты. И питались соответственно.) Девочка к ней тянулась, хотела дружить. Дружбу она вела так: когда мама приходила, они садились на скамейку, «я рассказывала про Ленинград, какой он был до войны, пересказывала книги. — Те, что прочла за долгую блокадную зиму: Пушкина, Жюль Верна. — Очень близко к тексту». Девочка внимательно слушала, «одновременно поедая ватрушку, или пирог, или еще какую-нибудь вкусность». Так ни разу и не угостила.

В мамином классе эвакуированных четверо, и все девочки: Нина Зварыкина и мама — из Ленинграда, Шура Шелькрут и Соня (ее фамилия за давностью лет забылась) — из Москвы. «На переменках мы собирались, болтали, обсуждали прочитанные книги. Не то чтобы

мы от местных отгораживались... Но старались держаться вместе».

Той зимой, вдали от Ленинграда, в маме открылась страсть к учению. (Впрочем, все эвакуированные, приехавшие из больших городов, получали отличные оценки.) Особенно легко ей давалась математика. Математику у них вела молоденькая учительница, чьи представления о предмете оставались смутными. «Когда из райцентра присылали варианты контрольных, она запиралась со мной в классе и говорила: решай. Потом ставила “пятерку”, отправляла меня домой, брала мою готовую работу и объявляла контрольную».

После третьего класса ей предложили перейти сразу в пятый, но мать не позволила: «Там большие дети, закрывают».

Еще одно наблюдение, оставшееся в памяти: оказавшись на Урале, эвакуированные довольно скоро перенимали местный говор. Мне-то кажется: невольно. Но мама полагает: «Подделывались, чтобы принимали за своих». В их классе по-ленинградски разговаривала она одна. Для нее это вопрос принципа. Здесь — как в волшебной сказке: не пей из копытца, козленочком станешь, — довлеет строгий запрет. Чтобы как-нибудь, ненароком, не нарушить, она завела отдельную тетрадку, куда записывала характерные выражения: *беда́ ба́ско* — очень хорошо; *лопатина́* — верхняя одежда...

Такой вот уральско-ленинградский словарь.

Летом обе семьи перебрались на другой берег Сылвы. Деревня Карья, где они поселились, близко от школы, детям легче. Другая причина — работа: еще кондаковской осенью Капитолину сняли с фермы и перевели в ясли.

Деревенские ясли — маленький домик на отшибе. Говоря по-сказочному, избушка на курьих ножках. По утрам, прежде чем отправиться на элеватор или на ферму, летом — в поле, бабы приносят сюда детей. Когда семь, ког-

да восемь. Все груднички. Отопление, разумеется, печное. Печь надо растопить заранее, пока детей нет. Натаскать воды из реки (парой ведер тут не обойдешься), сварить картофельную похлебку. Этой похлебкой, намяв туда хлеба, она будет их кормить.

Дети лежат в загородке: «Вроде нынешнего манежа, только с высоким дном». Работала Капитолина одна. За нянечку, за уборщицу, за воспитательницу. Заведующая (надо полагать, тоже местная «элита») забегала. Когда на час, когда на полчаса. Первое время ежедневно, потом, убедившись, что «выковыренная» работает добросовестно, реже, потом и вовсе как получится: своих забот полон рот. Капитолининой работой матери тоже довольны. Дети сухие, чистые (купала каждый день, кипятила воду в огромных чугунах), накормлены-напоены. Кроме картофельной похлебки, ее подопечным полагалось молоко. Молоко разливала по бутылочкам из-под водки (мама их запомнила: маленькие, похожие на «мерзавчики», емкостью 250 мл). Резиновые соски для бутылочек продавались на центральной усадьбе — не то в аптеке, не то в сельпо.

На Капитолинином попечении дети оставались до ночи. Матери забирали их по пути с работы. Когда детей уносили, ей оставалось все вымыть и убрать. Напоследок сходить на реку: стирка пеленок тоже на ней. И так день за днем...

Не то диво, что сбежала при первой же возможности, а то, что все это выдержала.

«Карья, куда мы перебрались летом, стоит на высоком берегу. Главная улица идет в гору. По обеим сторонам избы, но немного, двадцать или тридцать — с Кондаковым не сравнить». В остальном все похоже: те же некрашенные заборы, приземистые одноэтажные дома без палисадников. По местным понятиям палисадники — тоже баловство.

На этот раз их ни к кому не подселили. Дали комнату в «барском доме» — одну на две семьи. (Судя по прозванию, до революции дом принадлежал кому-то из «бывших». Но тех хозяев в деревне уже не помнят или не хотят помянуть.)

Дом стоял особняком. Единственный из всей округи с наличниками и высоким резным крыльцом, он поделен на две половины: в левой останавливались инспекторы, наезжавшие в Насадку с регулярными проверками. Выковыренным предоставили правую, метров пятнадцать. Из обстановки: стол, лавки, полати, печка. Дровами они запасались сами. Капитолина с Настей ездили в лес на дровнях. Валить деревья им не по силам — ломали ветки, собирали сучки.

Летом и ранней осенью, пока не выпал снег, обе работали пастухами. Пасли коз, коров, овец — но не общественный, а личный скот. Стадо они гоняли в «горелый лес» — смешанный, с прогалинами, поросшими сочной травой. Если прямо и в гору, километрах в двух от Карьи. Уходили на рассвете. Возвращались затемно. Вернувшись домой, Капитолина ложилась и накрывала голову подушкой. Тем летом у нее начались жестокие мигрени — и так никогда и не прошли. Мигренями она мучилась до смерти.

Ближе к зиме, поднаторев в животноводстве, завели собственных коз. Козье молоко стало большим подспорьем. (Работали-то не за деньги, а, как и все местные, за палочки. По трудодням выдавали «продукты первой необходимости»: хлеб, картошку, морковь, капусту. Иногда, очень редко, немного зерна.) Коз они выменяли на швейные машинки. Обменный курс как у Маркса в «Капитале»: одна машинка за одну козу.

«Нашу — белую, на коротких ножках, с закрученными как у овцы рогами, — звали Пика. Молока она давала мало, литра полтора, не больше. А тети-Настина Катька — пестрая, серо-рыже-черная, и шерсть клоками, — доилась

хорошо». Коз держали в сарае — но не рядом с домом (дом «барский», сарая при нем нет), а немного подальше, через улицу.

«В сезон мы с девчонками ходили по грибы. Втроем. Я, Надя и Женя. Грибов было море, но местные их не брали, на Урале это не принято. За ручьем, если подняться выше, Лысая гора. Там опять, моховики, белые. Целые поляны. Собирали в старые наволочки, корзин-то не было. В Горелом лесу меньше, в основном подосиновики и подберезовики».

Грибы варили, тушили, добавляли в похлебку. (На зиму, однако, не заготавливали. Ладно соленые — соль на трудодни не выдают. Но почему не засушить, печка все равно топится... Бабушке не приходило в голову.) Ягоды тоже собирали. Аромат лесной клубники мама запомнила на всю жизнь. Потом всегда говорила: с садовой не сравнить.

Был случай — заблудились: «Нам казалось, крутимся у дороги, на самом деле забрели далеко». Надя с Женей плакали, мама их успокаивала: не бойтесь, я все здесь знаю, я вас выведу. Вывела, но проплутали чуть не до ночи.

Остальное, те же соль или сахар, приходилось выменивать на вещи. (Пенсию за погибшего мужа, так называемый аттестат, Капитолине стали перечислять с марта 1944-го. Пока воевал, не платили ни копейки.) Рынок, где можно осуществить натуральный обмен, в Серге — километров двадцать пять от Карьи. В хорошие дни, случалось, их с Настей подвозили (на дровнях, если кому-то из деревенских по пути), но обычно они ходили пешком. «Все ценное, что мы взяли с собой из Ленинграда, в тот год ушло за еду». Сперва бабушкины ткани, потом «царские» сервизы — с японками и с незабудками.

Зимой, когда скот не выгоняют, пастухам нашли другую работу. Настю отправили на элеватор — веять, чтобы не запрело, зерно.

Капитолину поставили конюхом.

Ее новые обязанности: обихаживать тощую кобылу — чистить, задавать корм, запрягать. На лошадях возили пшеницу. Делалось это в два этапа: сперва с элеватора в сарай (неподъемные мешки она грузила наравне с мужиками), потом, когда мешков накапливалось порядочно — или просто по разнарядке, — их снова грузили на подводы и везли в район.

Какую-то часть пути вереница подвод ползла по зимнику вдоль берега Сылвы. Однажды лед хрустнул и подломился. Как ни рвалась, как ни била копытами тощая кобыла — сани, кренясь на один бок, уходили вниз. Капитолина сидела сверху, на мешках. Не успела оглянуться — вода по пояс. Слава богу, успела крикнуть. Бабы с передних подвод слышали, набежали. Общими усилиями вытянули на крепкий лед и возницу, и лошадь, и телегу. Счастье, что у самого берега, где неглубоко.

В январе сорок четвертого им сообщили: блокада снята. Месяцем позже доставили похоронку (сюда, на Урал, все приходило с опозданием: письма, газеты, почтовые отправления). Тогда в ней что-то оборвалось. (Терпение, надежда?) Ближе к лету Капитолина подала письменный запрос в ленинградские инстанции¹. Месяца через два по-

¹ Чтобы вернуться в Ленинград, требуется специальное разрешение. В стандартном запросе следует указать имя, состав семьи, профессию, причину, по которой необходим въезд («Мечтаю вернуться в родной и любимый город» уважительной не считается), и довоенный адрес. Но главное — обеспеченность жильем. Для многих ленинградцев этот пункт стал камнем преткновения: без комнаты, куда можно прописаться, ни карточек, ни работы не дают. Прописаться, в принципе, возможно: если дом не разбомбило, если комната не занята другими жильцами. Чтобы их выселить, необходимо решение суда. Но в том-то и дело, что преимущественное право на жилплощадь имеют те, кто не эвакуировался. За ними — военнослужащие. Резэвакуанты в этой очереди третьи. «Уехали — сами виноваты!» «Отцам города» ни к чему лишние свидетели. Городское начальство предусмотрительно замечает следы.

лучила вызов. Рабочей на завод «Светлана». Как тогда говорили: завербовалась. Просила за троих, но разрешение дали на одну. В глазах ленинградского начальства ее мать и дочь — балласт, лишние рты. В этот момент бабушка Дуня дрогнула. Но Капитолина, видно, осознав, что другого случая не будет, настояла на своем — кажется, единственный раз за всю ее жизнь.

Чтобы купить билет (да и с собой надо взять — как в дорогу без денег), продали козу. Одна, оставив мать и дочь, без вещей, с остатком «козьего аттестата» она уехала в начале июля.

Через две недели пришел вызов Насте Каковкиной, в инстанции они писали вместе. «Тетя Настя завербовалась дворником». Первые после возвращения годы мела улицу напротив кинотеатра «Москва». Ей, в отличие от Капитолины, позволено забрать детей с собой. Не из гуманных соображений. У Насти матери нет — девочек оставить не с кем.

За эти недели бабушка Дуня, похоже, пришла в себя. Говоря по-нынешнему, включила голову. И, выяснив, что разрешение на въезд предъявляют на вокзале, в Перми, в билетной кассе (нет разрешения — не продадут билета; о поездных проверках они еще не знали), выступила с решительным — по военным временам почти безумным — предложением: не ждать милостей от государства, а, взяв ответственность на себя, рискнуть. (Логика, надо полагать, такая: где две девочки, там и третья. Авось кассирша не обратит внимания. Спасибо тете Насте — дала согласие на эту авантюру.)

Проводив внучку, бабушка осталась одна. Вернее, вдвоем с козленком, народившимся от Пики.

Обратный путь (снова ехали через Вологду) оказался долгим. Состав то и дело останавливался (обычно на станциях, но, бывало, и на перегонах), в вагоны входили проверяющие: военный патруль. Их появление предва-

рялось заполошным сарафанным радио: «Идут, идут...» Те, у кого документы не в порядке, выскакивали из вагонов. Пережидая проверку, ходили взад-вперед вдоль железнодорожного полотна. Делали вид, что прогуливаются. Некоторые прятались под вагонами. Когда проверка заканчивалась, машинист (видно, он в курсе происходящего) давал продолжительный гудок. «Проверяющие выходили с одной стороны, “зайцы” карабкались с другой. Тех, кто не успевал, втаскивали на ходу». Один раз мама замешкалась, едва втащили — поезд уже успел набрать ход.

Незадолго до Ленинграда кто-то из бывалых попутчиков разъяснил Насте: дальше городской кордон. Эти — не патруль, трясут всерьез. Нет разрешения — заворачивают: плачь не плачь, проси не проси.

Километров за тридцать до конечной станции мама сошла. (Будь я ответственной за тринадцатилетнего ребенка, наверняка действовала бы как-то иначе, но в войну — все другое, включая представления о возрасте.) До Ленинграда она добиралась на попутном грузовике. Одна.

Дома, на 1-й Красноармейской, ее ждала пустая комната: из довоенной мебели осталась железная кровать. Все остальное: стол, стулья, комод, даже полку с книгами — Шурка, их соседка, пожгла, пустив на дрова. Впрочем, отсутствие мебели маму нимало не расстроило: бог с ней, с мебелью, главное — Ленинград.

«Город стоял как неживой. Людей почти нет. Транспорта и раньше-то было мало, а теперь совсем... Ну пройдет одна машина. Или трамвай». Куда ни глянь, следы от обстрелов. Но в их микрорайоне разрушений не так уж много. «Основные руины на Международном. Там, вдоль проспекта, много рухнувших, сгоревших в бомбежках домов».

Из радостей первых дней: все говорят по-ленинградски. Это чувство языка — чистого, вновь обретенного после долгой разлуки — осталось на всю жизнь.

Первого сентября она пошла в пятый класс (никакого «разрешения» не потребовалось, обошлись свидетельством о рождении и справкой о прописке). Собирая дочь в школу, Капитолина купила ей юбку, туфли и пальто. Все ношеное, с барахолки. Барахолки в городе много. Ближайшая от дома за Обводным каналом. (Теперь на этом месте автовокзал.)

Продуктовые карточки еще не отменили. «Нет, было не голодно, с блокадой, конечно, не сравнить, но... — мама пытается выразить мысль точнее. — Есть хотелось всегда». Подкормиться удавалось в школьной столовой, «съесть пустой суп или кашу. Из наших детских карточек вырезали мелкие талоны — на 10 или 20 грамм крупы».

В середине сентября Капитолина попала в больницу со страшными ожогами. Беда случилась на заводском дворе. Поперек двора вырыта канава — на дне трубы, голые, не присыпанные землей. «Чтобы перейти на другую сторону, все туда спускались. Однажды, никого не предупредив, рабочие пустили пар. Горячий, под давлением. Гнилую трубу прорвало». Ноги ошпарило до колен, до мяса, до адской боли. Следующие полгода она провела на госпитальной койке (госпиталь в районе Большой Зелениной, в здании средней школы). Лекарств по большому счету не было: ни таблеток, ни заживляющих мазей. Эффективных анальгетиков тем более. «Чем-то, конечно, мазали... Такое лечение бабушка называла: завяжи и лежи». Лежала, терпела.

Одна радость, заплатили по бюллетеню: заводская бухгалтерия оформила как несчастный случай на производстве.

Первые три месяца, пока бабушка Дуня не вернулась, мама жила одна. «Чтобы получить разрешение на въезд, бабушка тоже завербовалась, но не на завод, а кондуктором в трампарк Коняшина». (С того времени осталась кондукторская сумка, кожаная, коричневая, на длинной шлейке — в детстве я с этой сумкой играла. В чем заклю-

чалась игра, уже не помню. Зато помню пестрые облигации госзаймов, которые лежали внутри. В государственные обещания бабушка не верила и относилась соответственно: как к резаной бумаге.) Обязанности трамвайного кондуктора она исполняла спустя рукава. Обилечивать — обилечивала, но на вопросы пассажиров, какая, мол, следующая остановка или где лучше выйти, чтобы попасть, положим, на Мытнинскую — отвечала: не знаю, первый день на маршруте. Кондуктором она отработала зиму. Весной удалось вернуться на старое место в приемном покое: больничное начальство, обратившись в какие-то инстанции, сделало на нее запрос.

Немедленно по возвращении бабушка отправилась к себе на Забалканский. Разговоры о комнате Марфушка решительно пресекла: какой такой договор, уехали, и неча тут — претендовать¹.

Но кое-что из вещей и мебели, поразмыслив, отдала: платяной шкаф, плюшевый диван, круглый резной столик, трюмо, постельное белье из сундука. (Сам сундук остался: на 1-й Красноармейской для него не нашлось места; об этом сундуке я печалюсь до сих пор.) Пока бабушка с Марфушкой рядились, мама обошла квартиру. Соседские комнаты стояли открытые. В них никто не жил. Тайной церкви нет как нет. На месте иконостаса — голые стены. Иконы, спасенные от большевиков, Марфушка пожгла. Но мебель не тронула. Быть может, лелеяла надежду: прибрать что глянулось к рукам.

Ближе к весне неожиданно-негаданно объявился крестный. В первую блокадную зиму так ни разу и не зашел: справиться, живы ли, — а тут позвал. Приходить в гости, обедать. От даровых обедов бабушка отказалась, но внучке позволила. До будущей весны мама раз в неделю столо-

¹ Как же быстро они, которые в своем праве, перенимают мертвые слова...

валась у крестного. В блокаду его семья не пострадала. Дочери — Нина, Сима и младшая Тамара — все остались в живых.

9 мая мама запомнила хорошо. «Накануне, за день-два, по городу пошли разговоры: подписали, подписали, конец войне». Победный салют они смотрели с Международного проспекта. «Все плакали, обнимались».

Той весной она и бросила дневную школу: на две зарплаты, материну и бабушкину, плюс вдовый «аттестат», плюс пенсия за погибшего отца — семье не прожить. Когда встал вопрос: куда? — Капитолина выступила твердо: только не на фабрику и не на завод. Твердость — итог ее трудового опыта. Продуктовый магазин (а тем более мясо-молочный факультет без отрыва от производства) она безусловно одобрила — после голодных лет эти питательные слова звучали надеждой. На прекрасную, сытную, будущую жизнь.

Продуктовые карточки отменили через два с половиной года, в декабре. Сохранилась фотография: маме 16. Лицо одутловатое, следствие нездорового питания: сплошные крупы и макароны. (Об этих макаронах, обязательно со сливочным маслом, она мечтала на Урале — и чтобы полная тарелка, — ничего вкуснее не могла вообразить.) Теперь в магазинах есть всё: мясо, масло, сыр. «Ну, конечно, радовались. Особенно первое время. В сравнении с блокадой — праздник, сущий пир».

Пир-то пир, да не на весь мир. «У людей не было денег. Если покупали, понемногу, сыра или масла — грамм по сто. Однажды я видела: женщина, нарядная, богато одетая, купила килограмм сыру». У ленинградцев, привыкших считать на граммы, на такие килограммы особый взгляд.

Выписавшись из госпиталя, Капитолина перевелась на прежнюю работу. На больных ногах до «Светланы» добираться трудно. Фабрика «Заказ-обувь», считай, в двух ша-

гах. Году в сорок седьмом к ней посватался бригадир. Она склонялась к тому, чтобы дать согласие. (Тем более у жениха хорошая зарплата, да и комната — большая, метров двадцать.) Но не вышло. Бабушка не позволила, выступила против.

В сорок седьмом Капитолине тридцать шесть от рождения. И семь лет до смерти. Чувствуя свою нечистую совесть — мне и близко не выпало того, что им пришлось пережить, — я в первую очередь думаю о ней. Вынесшей на себе всю злую тяжесть проклятого двадцатого века. И так и не осознавшей, в какие угодила жернова.

X

Жернова вертятся, вертятся...

Первоочередная задача, поставленная партией и правительством: закрутить гайки, ослабленные войной.

В Ленинграде эти гайки разболтались особенно¹.

После победных, отгремевших реляций ларвы торопятся взять свое. Для них, орудующих с изнанки челове-

¹ Ленинградский НКВД рисует «страшную» картину. Если верить этим зарисовкам, в январе 1941-го «оппозиционные настроения» овладели девятью процентами ленинградских умов. В последней январской декаде процент «сознательных антисоветчиков» вырос до 20. Ладно бы «настроения» — но внутренние враги действуют. Десятки тайных организаций, словно взяв пример с фашистских пропагандистов, призывают умирающих горожан взять дело спасения в свои руки. «Прекратите сопротивление! Требуйте сдачи города!» — призывы словно списаны с немецких листовок, белыми (цвет униженной мольбы о помиловании) стаями кружащих над Ленинградом. Разве что без «жидов-комиссаров», чьи «морды просят кирпича». Отчеты по карательной линии фиксируют и «многочисленные призывы к бунтам», звучащие в хлебных очередях. Кажется, еще чуть-чуть,

ства, война не закончилась — перешла во внутреннюю стадию. Теперь у СССР другие союзники: беспамятство и страх. Реанимировать страх — не фокус. В этом деле ларвам нет равных. С беспамятством сложнее. Но «работать» они умеют. Им, людоедам, не привыкать.

Год, два, пять... 1953-й. Смерть диктатора.

Маме двадцать два года, и она рвется в Москву, поклониться дорогому праху. Так бы и уехала, да мать не пустила: «Не поедешь — и все тут», — легла костями. Отцу тридцать восемь и, в отличие от мамы, он уже в уме. Сообщение о смерти бессмертного вождя застало его на улице, на углу Невского и Гоголя. Под черным раструбом собралась внушительная толпа. Люди рыдали. Он выбрался (бочком-бочком, точно из-под обломков прежней жизни), в голове путалось: неужто и вправду сдох?..

Через много лет отец мне рассказывал: «Было страшно, а вдруг прохожие заметят, прочтут по лицу». Радость, рвавшаяся наружу, ударяла в ноги. Так, внутренне приплясывая, он и дошел до площади. Только здесь, рядом с Исаакием, подавил вспышку радости, справился с собой.

Что-то меняется в воздухе, смещается — будто сдвинули монолитную плиту. Выходя из затхлого средневекового

и стихийная волна народного гнева сметет — как не справившуюся со своими прямыми обязанностями — родную советскую власть.

Дыма без огня не бывает? Остается понять: что в данном случае — огонь. Отдельные призывы? Возможно. Еще вернее, сполохи последнего отчаяния, за которыми — край, голодная апатия, похожая на предсмертный сон.

Но свержение советской власти как осознанная стратегия сотен и тысяч ленинградцев... Мне, полжизни прожившей в СССР, а вторую половину — в постсоветской России, куда проще верится в другое: здоровые мужики призывного возраста отработывают свой «хлеб», а главное, бронь. Чтобы удержаться на «теплом» стуле, не загреметь на передовую, следует многократно преувеличить число «врагов и ненадежного элемента»: этой гнилой тактики они придерживались и раньше, в годы тотального террора.

подземелья, Жизнь опасноливо оглядывается. Чтобы прийти в себя, ей дается без малого десять лет.

Столько, сколько потребовалось властям, чтобы замести следы.

К началу 1960-х следы недавнего прошлого надежно замечены. День победы не празднуют — 9 мая объявлен обычным рабочим днем. Под запрет попадает все, связанное с блокадной памятью: под предлогом текущего ремонта народный музей в Соляном городке разорен. Дневники ленинградцев замурованы в спецархивах. Городские руины разобраны. Там, где зияли голые проплешины, разбиты скверы (слепошарые брандмауэры, поводя оконцами-бельмами, еще долго дивятся: откуда здесь взялся сквер?..) Прорехи в регулярной застройке прикрыты новыми беспамятными домами.

Город расчищен и от «живых руин». После войны их, безруких-безногих, оставивших руки-ноги на войне, неисчислимо множество: на улицах, в пивных, на папертях церквей и соборов. Об инвалидных креслах речи нет, государству не до этих глупостей: не убило, скажи спасибо. Не Богу. Понятно — кому. Обрубки воинов-победителей передвигались на самопальных тележках: дощатый настил, под ним колесики — кому война оставила руки, в каждой по чугунному утыгу. (В СССР чугунными утыгами не только гладят, но и упираются в землю.) Теперь их всех будто вымело — новая государственная метла метет чисто и широко. Ну и что, что защищали. За прошлое, как говорится, спасибо, но пора и честь знать. Не маячить, не отсвечивать, не тыкаться куда ни попадя своими культями, смущать население, строящее счастливую жизнь. (Кстати сказать, население не возражало, а многие так даже и поддерживали. Те, кто мог бы — не возразить, хотя бы их пожалеть, — лежат на Синявинских болотах или во рвах).

С высоких трибун объявлены контрольные цифры: общие невосполнимые потери в войне — 7 миллионов, из

них ленинградских — 300 тысяч. (Сидя в первом ряду нарядного смольнинского зала, обожравшаяся Смерть усмехается.)

Из всех мест массовых погребений выбрано одно: Пискаревка. На этом месте заложен мемориал. «Никто не забыт, ничто не забыто». Остальные — «никто и звать их никак»: тех, кому выпало лечь в другие рвы, сровняли с землей. Ровные места замаскировали, утыкав свежими саженцами. Из-под этой земли несет могильным холодом, но городские власти холод не пугает: здесь не их — здесь чужая Смерть.

Из памяти выживших блокаду ничем не выкуришь. Но (ларвы — реалисты) такой задачи и не ставилось. Все проще и разумнее: живым приказано молчать. Этим тайным, не облеченным в прямые слова приказом государство попытается доказать себе и другим: прошлое мертвó. О нем, как о покойнике. Либо хорошо, либо ничего.

Отсеченная правда никуда не исчезает, она здесь, в блокадной памяти. Но в том-то и дело, что память заперта двойным запором: снаружи и изнутри. То, что со стороны государства — заговор молчания, со стороны блокадников — обет. Где заканчивается одно и начинается другое — уже невозможно различить...

Глава вторая

I

Я родилась на свет в легкое время. Жертвы принесены, мертвая хватка Молоха слабеет, дряхлеющее чудовище молодится, натягивает на себя маску с человеческим лицом. (На самом-то деле — с человеческим. Но язык, замороженный сов-русским новоязом, обмануть легко.) Рецидивы ярости — черного кобела не отмоешь добела — случаются, однако сердца простых граждан полны надежд: все плохое осталось в прошлом, еще немного, и маска прирастет. Залогом тому и Фестиваль молодежи, и триумф Юрия Гагарина (его улыбка — символ веры в неминуемое торжество коммунизма; в сравнении с царствием небесным обещанные двадцать лет — не срок), и веселая кубинская революция (отныне и до веку бородатый красавец Фидель — наш). Радость витает в воздухе, машет красными бумажными флажками.

Вглядываясь в счастливые лица тех, кто стоит на обочине, не хочешь, да согласишься: иго социализма — благо, и бремя его легко.

Я, четырехлетняя девочка, от всего от этого в стороне. При мне родители ничего *такого* не обсуждают. В детский сад я не хожу. Телевизора в доме нет, радио — черная коробочка с грубо тканной прямоугольной наклейкой — пропищит время, расскажет сказку («У микрофона Мария Григорьевна Петрова»), передаст *прогнозагоды* и замолчит.

Писклявое время меня никак не касается. Моя жизнь расчислена по другим часам: встать, одеться, умыться. В кухне, над раковиной, водопроводный кран. Отвернешь до отказа — тугая громкая струя. Подворачиваешь обратно — слабенькая струйка. Подставляя ладошку, я ловлю последние капли: кап-кап.

После завтрака, если *прогнозагоды* позволяет, мы с бабушкой идем на прогулку. «Ну, куда сегодня?» — каждый божий день мы решаем этот важный вопрос. Наши дороги давным-давно проложены: в скверик к Львиному мостику или в Никольский сад. В саду, за оградой, собор — синий, с колокольней. Наверху, если задрать голову, висят колокола на веревках. За веревки дергает бабушкин знакомый звонарь. У него седая борода и длинное черное платье. Когда бабушка Дуня с ним здоровается, он улыбается и кивает. Бабушка его жалеет, говорит: совсем глухой.

В скверике, спиной к нашим окнам, лицом к театру, стоит композитор Глинка. Глинка — мой знакомый. Когда мы идем мимо, я с ним здороваюсь. Глинка добрый, не сердится, когда другие дети (мне бабушка не позволяет) лазают по его перилам. «А когда-нибудь?..» Когда-нибудь значит: не скоро, но я, дитя своего времени, падкого на обещания, согласна подождать. А Римский-Корсаков (он тоже композитор, только далеко, за углом Консерватории) сидит, ни на кого не смотрит, читает книжку — вот к нему никто и не ходит. Тем более у него нет перил. Зимой композиторы носят снежные шапки, весной на них садятся голуби. Садятся и какают. Хорошо, что я не композитор — а то и меня бы обкакали.

Зато у каждого композитора есть своя улица. По Римского-Корсакова мы ходим с папой. Но это вечером, если мама скажет: сходите-ка в гастроном. В гастрономе продается икра. Но я ее совсем не люблю. Когда вырасту, буду есть одни соленые огурцы. Или глазированные сырки в обертках.

С бабушкой мы ходим по Глинке. Бабушка так и говорит: ну, как пойдем, по Глинке или по Крюкову? Кто такой этот Крюков и зачем ему черные атланты, я не знаю, но на всякий случай побаиваюсь: а вдруг им надоест держать эдакую тяжесть, бросят и убегут. Ладно ночью, когда мы спим, а если утром, когда мы с бабушкой как раз идем мимо. Жалко, что бабушка не умеет бегать, говорит, «ноги не владают».

Моя бабушка старенькая, у нее свое время. На прогулках его надо коротать: это значит, сесть на скамейку и разговаривать с другими бабушками, чьи внуки и внучки составляли мою прогулочную компанию. Когда бабушке не приходилась по вкусу другая бабушка, мы уходили в противоположный угол сада, где я знакомилась с новыми мальчиками и девочками, что меня несколько не огорчало, потому что главное — не другие дети (с ними можно лепить куличики, собирать желуди, плести венки из разноцветных кленовых листьев), а то, чем я занимаюсь дома: тихие настольные игры и чтение. Чтению я предавалась самозабвенно. С той самой минуты, когда, открыв маленькую книжечку (из набора книжек-малышек — штук тридцать, каждая с ладошку и все в одной коробке под прозрачной слюдяной крышкой), пережила волшебство букв, сложившихся в слова.

А еще у меня есть бурый мишка с глазами на нитках и две куклы в нарядных платьях. Кукол купили в магазине, а платья им сшила мама. Когда я вырасту, я тоже им сошью. Вырасту — это значит: пойду в школу, а потом стану дворником или почтальоном. Буду носить пенсию ба-



бушкам, всем, не только моей. Пенсия — это бумажки и монетки. Их полагается пересчитать и спрятать: бумажки — в коробку из-под ангелов, монетки — в кошелек. У меня тоже есть коробка. Только простая, картонная. В коробке живут мои игрушки: под столиком, рядом с бабушкиной кроватью. Если бабушка говорит: «Поиграла — убери», — это значит: вечер. Вечером мы будем штопать носки. Я штопаю медленно и аккуратно. Когда бабушка захочет проверить мою работу, она сунет руку в носок, растянет пятку на кулаке и кивнет: «Теперь хорошо».

Потом я поужинаю и лягу спать, а бабушка уйдет к себе за шкаф. Чтобы шептаться с Богом. Но сперва еще постойт, посмотрит в окно. (Что она там видела — во тьме, в гримасах ленинградских метелей?..) Если навести уши, можно различить ее шепот, сухой, шелестящий, будто бабушка листает книжку. Всякий раз, погружаясь в сон, я успеваю позавидовать: вот бы и мне... тоже... раз уж почитать нельзя, хотя бы полистать...

О том, что в бабушкиной тайной книжке полно картинок, я догадалась давным-давно. Невиданных, не таких, как в книжках-малышках. Мои картинки цветные: звери, птицы, девочки, мальчики. А бабушкины — черно-белые, как открытки в ее ангельской коробке. У них непонятные названия. *Конка. Городовой. Карета скорой помощи.* В мире, где я живу, таких слов нет. Они остались только на открытках и на бабушкиных губах. Между *тем* и *этим* миром стоит невидимая преграда, похожая на занавеску.

Однажды занавеска едва не порвалась. Заболела наша соседка. Мама звонила по телефону, что-то долго им втолковывала. Я тоже стояла в коридоре, но не очень-то прислушивалась. Когда мама повесила трубку, мы с бабушкой ушли к себе. Я думала, пойдем за шкаф, но бабушка подошла к окну. Не своему, за которым Бог. А которое на Театральную площадь. А потом сказала: приехали. Я спросила: кто? А бабушка говорит: карета скорой помощи. Пом-

ню, будто что-то вспыхнуло: вот сейчас... сейчас я выгляну и увижу... Ту, «царскую» жизнь...

Но пока тащила стул, пока на него влезала (слыша, как колотится сердце), *каре́та скорой помощи* успела исчезнуть. Внизу, под нашими окнами, стояла белая машина, обыкновенная, вроде такси, только с красным крестом...

С этих пор мне всегда хотелось проникнуть за занавеску, увидеть ожившие картинки. Пусть не наяву, пусть хотя бы во сне.

Но во сне я видела темный город. По улицам идут люди. Другие, не похожие на нас. Мне хочется с ними познакомиться. Это я умею. Надо подойти, назвать свое имя. Но они от меня отворачиваются, смотрят в другую сторону, будто не замечают. Во сне я знаю: это потому, что ночные люди немые. Немые всегда молчат.

Когда у бабушки тянет спину или нездоровится, мы ходим к Львиному мостику. Бабушка говорит: «Близко, рукой подать». Можно спуститься по черной лестнице, но черная — крутая, за это мы ее не любим. Мы с бабушкой хитрые — спускаемся по парадной, но выходим через другую дверь. Которая во двор. Во дворе арка, за аркой канал Грибоедова. Грибоедов не композитор. Наверное, он друг Крюкова, раз у него тоже есть канал. Только решетка красивее. Видно, он первый выбирал, а Крюкову — какая осталась... Ой! Я прикрываю рот ладошкой: красивее — так говорить нельзя, мама рассердится, скажет: «Ты что, из деревни!»

Я не из деревни. Я — ленинградская девочка.

Границы моего существования очерчены решетками рек и каналов. В них стоит вода. Когда мы с бабушкой идем по набережной, я всегда на нее смотрю. Мне нравится смотреть на воду: и эту, тихую, которая в канале, и ту, что льется из кухонного крана.

Однажды кран сорвало. Пока брешь безуспешно затыкали тряпками, бегали — сперва туда-сюда, потом в кон-

тору за водопроводчиком, — я сделала ошеломительное открытие: в стене-то, оказывается, труба. Выходит, вода вовсе и не в кране, а там — в глубине...

Эта коммунальная авария стала «первым расширением мира», не *того*, тайного, который можно вызвать по телефону (надо только знать правильный номер), а *этого* — я ощутила зыбкость его видимых границ.

О втором, последовавшем довольно скоро и имевшем куда более важные последствия, я расскажу, когда достигну предела, за которым тема «города», возникнув в раннем детстве, обретет свое продолжение. Теперь же — о третьем.

Третье шло постепенно, исподволь, по мере того как я научилась прислушиваться к тому, о чем мама с бабушкой разговаривают за дневным чаем, свято, изо дня в день соблюдая обряд: тонкие чашки, витые ложечки, колотый сахар — у нас в сахарнице всегда лежат щипчики. (Не серебряные — в начале шестидесятых на «царские» обыкновения ссылаться поздно.) Оно, это «расширение», прорастало из загадочных слов: *больницаконяшина, комната-назабалканском, мягкиечасти, мальчикинеживут*. Делая вид, что разговариваю с куклой, я повторяю эти слова, шепчу. Мои губы учатся шелестеть: как бабушкины. В жизни, которую я знаю, этим словам нет соответствий. Но, если мама с бабушкой их понимают, значит — так я рассуждала, — под ними что-то есть. Тайное, от которого и картинок не осталось. Так — хорошенько — оно скрыто от посторонних глаз.

Попытку стать непосторонней я предприняла лет пяти. Помню испуг в мамином, обернувшемся в мою сторону, голосе, когда, вдруг осознав, что ребенок *что-то* понимает, она дала первый попавшийся ответ: не проясняющий, а, скорее, уводящий в сторону, — и красноречиво глянула на бабушку. А бабушка отвела глаза.

Спohватившись, они обе замолчали. Это слово я использую в переносном смысле. На самом деле, чтобы

сбить меня с толку, они заговорили с удвоенной силой, принялись что-то обсуждать: не то коммунальную очередь (на этой неделе моет Панька, после Паньки — Зоя Петровна); не то праздник, к которому пора готовиться, съездить в Елисеевский за живой рыбой (в те годы живая рыба еще плавала в магазинных аквариумах, это потом, уже на моей памяти, неестественно выгнутые тушки смерзлись в мертвые рыбы брикеты, чтобы, оттаивая, испускать сладковато-неистребимую вонь). Но на этой хозяйственной мякине меня уже было не провести. Их тактику я раскусила довольно скоро. А потому знала: никуда им от этих слов не деться. Надо просто затаиться, дожждаться, пока они опять заговорят.

С моей стороны тут проглядывали начатки стратегии, которой с этих пор я неукоснительно придерживалась, что — не сразу, а в свой срок — принесло плоды. У меня в голове завелась отдельная полочка, куда я складывала их неизбежные проговорки, порой вербальные, но чаще интонационно-мимические: то вдруг мама упомянет какую-то неведомую Марфушку, и бабушкины глаза затянутся пленочкой тонкого, но никак не унимающегося презрения; то, когда мы уходим на прогулку, бабушка, уловив посторонний запах с кухни, похожий на сладковатую гниль, едва заметно поморщится, но не скажет: «У Паньки, там, на окне, что-то испортилось», а обронит про *большую няшину* и *мягкие части*, а мама зачем-то выглянет на площадку, будто ей надо в чем-то убедиться. А потом, часа через полтора, когда мы вернемся с прогулки и запах гнили и тления ударит прямо в ноздри, виновато объяснит: «Это вымя. Панька варит», — а бабушка уйдет к себе за шкаф и будет лежать до самого вечера. А на другое утро, когда вонь успеет развеяться, вдруг скажет: «Панька в Ленинграде с сорок четвертого», и мама на это усмехнется: «Ну да, понятно». Или бабушка безотчетно, задумавшись, нарежет кусочек хлеба на мелкие кубики, а потом, словно

очнувшись, это за собой заметит и сметет в горсточку все до единой крошки, но не стряхнет в пустое блюдце, а соберет губами с ладони.

Чего в нашей семье не было — нарочито воспитательных «моментов». Типа: доедай все, что положено в тарелку, дети в блокаду голодали, выкидывать продукты — грех. Опасность впасть в *этот* грех они, аккуратно и последовательно доедая все, что оставалось на тарелках или в кастрюлях, рассматривали лишь применительно к себе. Будто осознавали себя членами какого-то тайного ордена, чьи статут и ритуал зиждутся не столько на общепринятых моральных нормах (они, эти нормы, подразумевались по умолчанию — как, скажем, десять заповедей в душе невоцерковленного потомка строгой, старообрядческой, семьи), но и на своих собственных, особых, к которым потомки вроде бы и могут приобщиться, однако не безусловно и не задаром. А предприняв для этого известные усилия. Известные им, но не мне.

II

О том, что у меня какой-никакой, но шанс есть, я догадалась после одного, памятного мне, разговора, значение которого поняла много позже.

В те времена мой отец уже работал главным инженером ГИКИ, Государственного института керамической промышленности. Однажды его вызвали в местный райком партии и, пригрозив лишением партбилета, предложили должность главного инженера МТС где-то в Новгородской области. (Шла очередная кампания по *усилению* или *укреплению* — этих терминов советского новояза, приравнивающих живых людей к арматуре железобетонных конструкций, я в точности не помню, — суть в том, что государство задумало укрепить сельские машинно-тракторные станции городскими инженерными кадрами.) В ответ на это «предложение», от которого, как тогда считалось, невозможно отказаться, мама разразилась пламенной речью.

«Скажи *им там*, что твоя несознательная беспартийная жена в любом случае останется в Ленинграде. Скажи *им там*, что они разбивают крепкую советскую семью...» Все «скажи им там» я не запомнила, зато запомнила последнюю фразу, которая, как я теперь понимаю, предназначалась не отцу, родившемуся в Белоруссии, и даже не *им там*, родившимся и вовсе невесть где, — а мне.

«Моя дочь — ленинградка в четвертом поколении».

Иначе трудно понять, почему изменился мамин голос, стал грозным, словно она вкладывала в мою голову нечто более важное, нежели родительские брачные узы и даже отцовский партбилет, который он, послушавшись *их там*, мог, как тогда говорилось, *положить*.

Мне и до сих пор чудится, будто, говоря о четвертом поколении, она имела в виду нечто большее — теперь я сказала бы: четвертое измерение, — изломанное, тайное, куда я имею право проникнуть. Обещание этого неотъемлемого права — *так* я поняла мамины грозные слова.

Самое интересное, мамина речь сработала и в странстве трех измерений: услышав про «крепкую советскую семью», райкомовское начальство отступилось, найдя другую инженерскую жертву¹.

Может быть, именно из маминой грозности, упавшей в лунку моего терпеливого ожидания, и проклюнулась

¹ Побочным следствием маминой непрекращаемой решимости стало спасение советской фарфоровой промышленности от провинциального прозябания. Отцовскому уму принадлежат кардинальные инженерно-технические решения, позволившие — если не ошибаюсь, уже в конце 1960-х — запустить поточные линии, с которых сходили прозрачные чашечки и блюда. За костяной фарфор иностранцы охотно расплачивались твердой валютой: он шел на экспорт наряду с нефтью, газом и всякими металлами. Японцы, признанные эксперты по фарфору, только головами качали: и как Семен-сану удалось добиться эдакого качества на таком, уж простите за прямоту, сомнительном сырье.

моя будущая стратегия, чем-то похожая на дерево (у нее были корневая система, шершавый ствол и множество ветвей и веточек, которые то покрывались свежими листьями, то сбрасывали листву), — что само по себе давало робкую надежду: рано или поздно на ней завяжутся плоды.

На взгляд постороннего, эти плоды должны показаться странными: то я (до дрожи в деснах) пристрастилась грызть затверделые хлебные корки, достигшие консистенции сухарей — жмурясь и воображая, будто черная корка, в которую я вгрызаюсь, не завалилась в эмалированной хлебнице, а иссохла под половицей или же за шкафом. Приручая это не сравнимое ни с чем наслаждение-наваждение, я приспособилась срезать черные корочки заранее: когда круглая коврига еще свежая, варварски кромсать ее по шершавому контуру — пока никто не видит. (За такое самоуправство меня, разумеется, ругали.)

Случались и другие, совсем уж иррациональные, странности: однажды, глядя на сковородку с остывшим жареным мясом (не помню, говядина или свинина), я — нет, не осознала, скорее, ощутила истинное значение того, что скрывается под словом *мягкиечастн*, и, пережив спазм никогда прежде не испытанного отвращения, надолго отвратилась от мяса, распространив этот нечеловеческий ужас на безвинные рыбные консервы в железной банке, по чьей бумажной боковине еще долго, много лет, бежало отпугивающее меня наименование: «Мелкий частик». Потом остановилось. Прошло.

Осталось в детстве. О котором я вспоминаю безо всякого умиления. Как о трудном времени. Пред его ликом я предстала беззащитной. Но вовсе не потому, что подолгу, порой на грани смерти, болела. Эту смертную грань я ощущала не в медицинском, а в ином, теперь я сказала бы, средневековом смысле: будто моя душа, только-только явившаяся из вечности, знает и помнит больше, чем

я — ее земная оболочка — способна осознать. Память о непрожитом, о том, что случилось до моего рождения, стала источником глубокой и неосознанной печали, которая преследовала меня сколько я себя помню. С самых первых лет.

Мои взрослые дочери находят этому разумное объяснение: «Туберкулез разрушает нервную систему. Не только матери, но и ребенка». В качестве доказательства они предъявляют мои первые детские фотографии, на которых я не улыбаюсь. Мне легко согласиться с ними: тэбэце и вправду не шутка. Но про себя я знаю: дело не в тэбэце. А в том, что называется «врожденной памятью». У нас, детей и внуков блокадников, особая память. Как, впрочем, и судьба¹.

В первый класс я пошла *подготовленной* — не в том арифметико-и-беглочитательном смысле, который вкладывают в это слово методисты. (Счет, чтение, письмо большими печатными буквами — само собой.) Но оснащенная своей собственной историко-семейной полочкой, которую уже ничто не могло поколебать.

Такой же неколебимой была и моя связь с Ленинградом. О том, что эта связь существует, я знала так же непременно, как щенок знает свой поводок. К этому не слишком корректному, а, пожалуй что, и обидному для меня сравнению я прибегаю лишь потому, что, привыкнув ходить заведомыми маршрутами, как-то не задумывалась, что же там дальше, за домами. Черта «ойкумены» разом-

¹ Порой я задумываюсь о том, что стало бы с моей памятью, если бы меня отдали в детский сад. Или нагрозили бесчисленными *кружками*, от которых — не то что задуматься — продохнуть некогда. Это кружковое безумие меня не накрыло. На мое счастье, в маминой памяти осталось другое воспитание: тихое и несуетное, полученное от «бывшей» гувернантки, угасшей прежде, чем ее последняя воспитанница осознала, что Анна Дмитриевна успела в нее (а значит, и в меня) вложить.

кнулась, когда мама повезла меня на Елагин остров в кружок английского языка. Результатом этой поездки и стало «второе расширение мира», о котором пришла пора рассказать.

Помню шум в ушах, когда на обратном пути (миновав ворота Петропавловской крепости, автобус выезжал на Кировский мост) мне, во всю неоглядную ширь, открылась Невская панорама — ровный ряд дворцов, недвижно-темная вода от берега до берега, купол Исаакия под беспокойно-серым небом: та, единственная точка во вселенной, которая по сию пору, по прошествии десятилетий, примиряет меня с жизнью.

Пронзив меня своей красотой, город вернулся в прежние рамки. Поездки на Елагин остров, мучительные для мамы, вскоре закончились: английский кружок обнаружился поблизости, на улице Печатников, недалеко от «Галантереи», куда мы с бабушкой ходили покупать ленты — раз в месяц после ее пенсии. Шелковые, разноцветные, они мне оченьгодились, когда — дома, перед зеркалом, — обвязавшись этими лентами, я самозабвенно исполняла танец Огневушки-поскакушки из «Каменного цветка».

Не сказать, чтобы я за эти рамки не заступала. Случалось, мы с родителями гуляли по Невскому (в одну из таких прогулок я узнала слово «мороженое» и даже попробовала его на вкус). Как-то раз меня сводили в Эрмитаж. Где мне не особенно понравилось: обидно, что ничего нельзя трогать.

Однако главными в моей жизни оставались Театральная площадь и Мариинский театр. За несколько дошкольных лет я переслушала и пересмотрела едва ли не все оперы и балеты, а некоторые даже не по разу. Там, в Мариинском, со мной и случилось то, что — рискуя наскучить навязчивыми повторениями — я назову «четвертым расширением мира», попутно отметив: в общей сложности

их было куда больше. (Были, разумеется, и «сужения». Опытному читателю не хуже моего известно, чем одни отличаются от других. Опыт «расширений» дается нам в целокупности; чего не скажешь о «сужениях» — имея заведомо дробную природу, они распадаются на детали и частности. Что, с одной стороны, знаменует их нерасторжимую связь с *тем, кто* кроется в деталях, а с другой, создает иллюзию, будто «сужений» больше.)

Помню, я сижу в ложе; руки, ладошками вниз, дисциплинированно лежат на бархате; на мне нарядная китайская кофточка — пока не началась музыка, я украдкой, кофточка мне очень нравится, одергиваю рукава. Тяжелый занавес поднят. Первые такты. Сейчас они начнут танцевать...

И тут... люк в полу открывается — и снизу, из-под пола медленно (или быстро — для меня время остановилось) восходит *она*: гибкая, точно ящерка или змея, и такая же, как змейка, зеленая, усыпанная драгоценными камнями. Хозяйка Медной горы. Я не слышу аплодисментов. Да дело не в них. И даже не в красоте. От нее, этой женщины, змеи, драгоценной ящерицы, — исходит что-то неведомое, накрывая меня невидимой волной: дрожи, ужаса, восторга. В которой я ни чуточки не захлебываюсь, а наоборот, лечу или плыву, едва дыша от нахлынувшего нежданно-негаданного счастья, с этих пор и навсегда осознав: настоящая жизнь — не то, к чему я привыкла, она — не комната, не рассыпчатая гречневая каша, не глазированные сырки в серебристых обертках, не толстые ленивые голуби и даже не радио. Настоящая жизнь — на сцене. Она вообще не здесь — а *там*.

Господи, чего я только ни делала, стремясь ее удерживать: наряжалась Огневушкой-поскакушкой; сидела, забившись в уголок, зажмурившись; и даже, ничего лучше не придумав, выучила наизусть: «Уральский мастер Данила мечтает создать малахитовую вазу, такую же прекрас-

ную и простую, как живой цветок...» — первые строки либретто, которые помню до сих пор.

Но все тщетно. *Та* жизнь оказалась неподвластной ни моим детским ухищрениям, ни земным законам. Окончательно я убедилась, уверилась в этом через месяц, когда меня снова повели в театр, и опять я сидела в той же самой бархатной ложе, а там, на сцене, порхала Голубая Птица. И вдруг, мелькнув полупрозрачными крыльями-рукавами, прыгнула и замерла на лету. Ах, как же она висела, как парила в воздухе — минуту, час, вечность, — и в этом счастливом, остановившемся времени, позабывшем свои земные свойства, я, четырехлетняя девочка, на нее смотрела. Да что там! И сейчас смотрю¹.

Мариинскому театру, где случались волшебные истории, пробивавшие бреши в моей детской, врожденной, грусти, я обязана и одним нехорошим наблюдением, на первых порах довольно смутным: разница не в том, что в опере поют, а в балете танцуют (случалось, танцевали и в опере), а в чем-то ином. Это на «Щелкунчике» или на «Пиковой даме» зал всегда переполнен, но бывает, что ряды партера, когда я смотрю на них сверху, зияют темными прорехами: это — если сначала поют и бегают, а в конце (надо говорить: в финале) выезжает что-то громоздкое, похожее на танк; на танке лысоватый дядька в костюме, который не поет, а говорит. Про что-то, о чем большевики (про них я уже знаю, имею представление) давным-давно

¹ Этим открытием (даже не знаю, как его назвать, пусть будет: волшебная сила искусства), по существу определившим мою будущую иерархию ценностей, я обязана великим балетным танцовщикам Алле Осипенко и Юрию Соловьеву. Встретив Аллу Евгеньевну — через много лет и в иных, куда более прозаических обстоятельствах, — я успела ее поблагодарить. Юрия Владимировича Соловьева (и вправду умевшего левитировать — позже я нашла письменные свидетельства тому, что видела собственными глазами) мне, увы, поблагодарить не довелось.

мечтали, и оно наконец свершилось. Только вот зрители не особо благодарят и даже не слишком радуются...

По-настоящему с этим оперным персонажем я познакомилась уже в школе, где нам, первоклашкам, прожужжали уши *дедушкой Лениным*, но не тем, разъезжающим на громоздком «танке» — хотя тот, театральный, в костюме и с бородой, куда больше походил на деда, — а маленьким, глядевшим с каждой октябрятской звездочки (особо ценилась не штампованная железка с кудрявой головой *маленького Володи Ульянова*, а сборная конструкция, состоявшая из того же самого, с завьюченными локонами, портретика, но вживленного в пятиконечное основание): впервые увидев, я заподозрила в нем внучку упомянутого дедушки. И лишь со временем узнала: пять красноватых уголков — пластмассовый намек на рубиновые звезды Кремля. В третьем классе, по дороге уменьшившись в числе, но не в идеологической важности, они плавно перешли в углы пионерского галстука. И теперь символизировали неразрывную связь прошлых и будущих поколений, однако не всех, а только коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Если принять во внимание, что любой галстук по сути своей — удавка, затянутая на шее, — символ более чем сомнительный. Но так далеко советские методисты не мыслили, а тем более не предполагали этой способности у нас.

III

В начальной школе ни войной, ни блокадой нас особо не пичкали. Погрузившись в перипетии новой для меня школьной жизни, я почти забыла о блокаде. Но она нашла меня сама, подкравшись с самой неожиданной стороны.

Началось с переезда. Я училась в первом классе, когда вместо комнаты на Театральной, в которой нас, учитывая новорожденную сестру, стало пятеро, отцу предоставили двухкомнатную хрущевку в Купчине (проспект Славы, дом 10, корпус 3, квартира 21).¹

В сравнении с красотой, окружавшей меня в раннем детстве, купчинские декорации выглядели, иного слова не подберу, *вызывающим* уродством. Меня совсем не удивил растерянный вопрос бабушки, с которым она, выбравшись

¹ После жизни в коммуналках (в наши дни о ней принято складывать ностальгические сказки: жили, мол, тесно, зато дружно) советские люди радовались и таким отдельным курятникам с потолками два сорок и пятиметровыми кухнями. Не в последнюю очередь по той причине, что можно *разговаривать*, не опасаясь соседских длинных ушей.

из такси с помощью мамы и немедленно угодив в густую черную грязь у самого подъезда (или, черт его знает, лестничной клетки — все, что угодно, кроме исконного слова, коим мы, на потеху москвичам, торжественно именуем замкнутое, часто ободранное, еще чаще заплеванное, чтобы не сказать больше, пространство со ступеньками, проложенными с этажа на этаж), обратилась к маме: «Вера, куда ты меня привезла?» Но мое отношение к этому — дарованному советской властью жилищу — раз и навсегда определил не бабушкин вопрос, а мамин на него ответ: «Не бойся, бабушка. Мы скоро уедем. Обратно. В Ленинград».

Меня, семилетнюю, поразили не столько слова, сколько мамина интонация: сильная и решительная, за которой я расслышала что-то другое, тайное, хотя и не совсем блокадное (*мягкие части, мальчишки не живут* — тихие, горькие слова), но все-таки каким-то невнятным образом связанное с блокадой. Каким?.. Снова мне пришлось наострить уши.

Задача осложнялась тем, что по утрам меня увозили в школу. О переводе в местную, купчинскую и речи не шло. Это, как потом выяснилось, судьбоносное для меня решение (по своим последствиям сравнимое разве что с несостоявшейся машинно-тракторной станцией) было принято немедленно после переезда: «Она будет ходить в ленинградскую школу», — мамина реплика в их диалоге с отцом. (Двойное ударение, задавшее непререкаемую тональность этой — и соседним с нею — фразе, я расслышала сквозь хлипкую хрущевскую стеночку — ни на секунду не удивившись: в моем сознании между мной и Ленинградом так и так наличествовала неразрывная связь).

В Ленинград меня возили каждый день. Кроме воскресенья и каникул, к которым можно добавить длинную череду ангин, гриппов и воспалений легких, но о них говорить не хочется. Лучше про образ дороги, оставшийся в памяти.

Меня будят в полседьмого, вталкивают сперва в туалет, потом в ванную, потом — все еще в полубессознательном состоянии — выводят в кухню, где кормят завтраком.

За окном мрак. Его размывает свет золотушных фонарей.

Мы с отцом бредем по пустырю, то и дело спотыкаясь о мерзлые кочки (в моей памяти в Купчине вечная зима — примерно так, как на даче вечное лето), к маячащей где-то там, впереди, бетонной платформе.

Через много лет, проезжая по проспекту Славы, уже плотно застроенному, я, прикинув расстояние от корпусов десятого дома до железнодорожной насыпи, сделала для себя открытие: взрослым шагом минут десять-двенадцать. Что никак не сказалось на моей памяти, где все осталось по-прежнему — утренняя тоска и беспросветный мрак.

До Ленинграда можно было добраться и автобусом, но в единственный автобус, ходивший из Купчина к проходной «Электросилы», не втиснуться. Тем более с ранцем. Кстати, ранцев в продаже не было. То ли обычный дефицит, то ли еще не придумали. Так или иначе длинные кожаные лямки к моему дерматиновому портфелю (предварительно разрезав вдоль свой старый, истертый до мездры ремень) приделал отец.

Из электрички мы выходим на Витебском вокзале. Отсюда до площади Труда идет одиннадцатый трамвай. Издалека, когда, ежась и пристукивая ногой об ногу, стоишь на остановке, никак не разобрать номер, но, к счастью, на широких трамвайных лбах горят разноцветные огоньки: у каждого номера-маршрута они свои¹. У нашего —

¹ Правильное название: «маршрутные огни». Для цветовой кодировки используется 5 цветов: белый, синий, красный, зеленый и желтый. Во избежание путаницы цвета подбираются с тем расчетом, чтобы к каждой трамвайной остановке подъезжали разные, не повторяющие друг друга сочетания огоньков. Эта давняя, с 1910 года, петербургская традиция прерывалась лишь на время блокады.

№ 11 — синий с белым. Еще минут двадцать — безвольным кульком, сплюснутым чужими телами, и я уже проезжаю мимо родной Театральной, от которой всего одна остановка до конечного пункта этой дальней дороги: площади Труда.

Глядя сквозь заиндевелое стекло вечно переполненного одиннадцатого маршрута на родные, навсегда потерянные окна (чтобы взглянуть хотя бы одним глазком, надо надышать лунку, да еще и вылущить ее ногтем), я чувствую ноющее сердце. Но в этом липком трамвайном воздухе, густыми рваными клочьями выпадавшем наружу на остановках, моя сердечная печаль растворялась прежде, чем трамвай — самое ленинградское средство передвижения, — проскрипев мимо памятника *римского корсакова*, подползал к Поцелуеву мосту.

Той трамвайной зимой я узнала новое тайное слово — *эвакуация* (теперь оно нет-нет да и мелькало в маминых-бабушкиных чайных разговорах) — и успела вывести твердое правило: эвакуация — место, откуда возвращаются. В Ленинград. И уже навсегда. (Кстати сказать, через год, когда наша обменная эпопея завершилась, мама признавалась, что могла бы остаться в Купчине. При условии, если бы комнат было три — третья, отдельная, для бабушки. О таком развитии событий я думаю с душевным содроганием.)

Обратно мы возвращались тем же маршрутом: трамвай, вокзал (с непременно, по осени и весне, переобуванием: до переезда в Купчино резиновые сапоги — атрибут дачной жизни), электричка, пустырь. К весне он оттаял, покрывшись непролазной грязью. Той же купчинской весной я обрела веселую деревенскую привычку — эту грязь месить. Что не всегда было делом безопасным.

Помню, мы с мамой идем вдоль дороги — не городской, асфальтовой, с широким безопасным тротуаром, а строительной бетонки, раздолбанной тяжело груженны-

ми самосвалами — из-под их грозно рыкающих на дорожные впадины колес широкими черными снопами вылетала густая взвесь грязи и воды. Пытаясь увернуться (потом-то привыкла, только жмурилась), я отступила на обочину — угодив прямехонько в жижу: и завязла, как муха на липучке. Но, дернувшись раз-другой, сумела вырваться прежде, чем жадно чавкнувшая жижа сомкнулась над головой моего бедного правого сапога. Остаток дороги пришлось брести, попирая бетонку голой, в мокром носке, ногой.

Впрочем, этой природной — и в сущности, чистой — грязью мой «деревенский» опыт не ограничился. В Купчине меня ждала и другая взвесь. Ее липкую близость я ощутила немедленно, как только меня выпустили во двор.

Точнее, *на двор*. По правилам местной грамматики так именовались прорехи между корпусами, заваленные кучами строительного мусора, лопнувшими цементными плитами, гнутой, успевшей подернуться ржавчиной, арматурой — на этот марсианский пейзаж я, что в данном случае важно, смотрела уже одна, без бабушки. Среди этих, как бабушка определила, *бараков* она раз и навсегда отказалась гулять. (Думаю, кроме эстетической, тут была и другая причина: в деревнях — хоть родных, где валяют валенки, хоть тех, куда увозят выковыренных, — с детьми не принято гулять. Что уж говорить о Купчине, которое, по общему мнению мамы и бабушки, хуже деревни.) За весь купчинский год бабушка вышла на улицу однажды, на Пасху, когда мама возила ее в Никольский собор. Туда и обратно на такси.

Если выразить мой новый опыт взрослым словом, то была встреча с иной цивилизацией. Пока я, одетая как было принято у нас, на Театральной: клетчатое пальто с меховым воротничком, осенние ботинки на шнурках и вязаная шапочка из белого козьего пуха — стояла, замерев на коротком асфальтовом язычке, проложенном от па-

радной до поребрика, меня заметили и подошли. Человек пять, мои одноклассники или чуть постарше. Первым заговорил мальчик, одетый во что-то черное с металлическими пуговицами — сейчас я назвала бы это шинелькой-ремеслухой.

«Ну, что стала?» И, не получив ответа, задал следующий вопрос: «А ты вообще кто?» Я ответила так, как отвечала на Театральной, знакомясь с другими мальчиками и девочками, с которыми гуляла в саду: «Меня зовут Аленушка». До сих пор помню их леденящий душу смех.

Надо отдать мне должное: сообразив, что сморозила ужасную — по местным меркам и правилам — глупость, я назвалась полным именем, которым уже месяца два подписывала школьные тетрадки. «Ха, моя сеструха тоже Ленка», — их главный перевел на купчинский язык. «Вару хошь?» Что значит «вар», я не знала, но кивнула из дипломатических соображений — какой-никакой, а межпланетный контакт налаживать надо. И получила осколок, блестящий, как выяснилось, такие здесь принято жевать. «Чо, вкусно?» Я кивнула искренне, черный прообраз жвачки мне неожиданно понравился. На этом обряд инициации закончился. Теперь все болтали наперебой. В ближайшие два часа (пока мама, распахнув форточку, не позвала меня ужинать — тоже нечто новое и невиданное, если сравнить с жизнью на Театральной) я узнала много интересного.

«Интересное» крылось в бесчисленных подробностях и деталях.

Во-первых, в других корпусах (первом, втором, четвертом и пятом — поперечном) живут наши враги. Их надо опасаться, а если что — давать решительный отпор. Во-вторых, бочка с варом стоит на пустыре, вкусные кусочки можно отбить палкой, но лучше — обломком арматуры. В-третьих, их родители работают на «Электросиле» — помнится, он сказал: на «Силе».

«А твои чо, нет?» (Каким-то неведомым образом догадавшись, что прямой и честный ответ очков мне не прибавит, я прикинулась кем-то жвачным — мол, не отвечаю, потому что жую.) В-четвертых, все они ходят в школу за дальним магазином: не потому, что есть ближний, просто отсюда далеко. И, наконец, во второй парадке живут жиды. Вон там, на четвертом этаже. С их жиденком никто не играет. (О том, что, согласно *ихней* картине мира, я тоже наполовину жиденок, ни я, ни они не знали — а если бы и знали, боюсь, мне не хватило бы смелости дать решительный отпор.)

До сих пор удивляюсь, что хватило, во всяком случае, ума не рассказать обо всем об этом дома. А ведь могла — по своей тогдашней дремучей «досоветской» наивности. (Думаю, сказался и домашний опыт сугубого «молчания», привычку к которому я незаметно для себя переняла.) Как бы то ни было, к ужину я вернулась другим человеком, в общих чертах уже понимающим, как устроена жизнь.

Уже через неделю, переодевшись в резиновые сапоги и толстые серые брюки, которые мама, помнившая жизнь на Урале, сшила мне из бабушкиного пальто (в те времена старые пальто еще вовсю перелицовывали), я лихо карабкалась по мусорным кучам, ловко отбивала кусочки вара, уже не удивлялась незнакомым словам и на равных правах с местными аборигенами встречала вновь прибывающих новоселов.

От прежней жизни осталась разве что белая вязаная шапочка, но и она вскорости поблекла, превратилась в серую — не будешь же стирать каждый божий день.

Не знаю, достало бы мне внутренних сил противостоять этой «маленькой эвакуации» (моему поколению достались «мелкие» испытания, но кто сказал, что их преодолеть легче: чем мельче бесы, тем они порой шустрее), останься мы в Купчине. Впрочем, чистого эксперимента надо мной никто не ставил. Мое изгнание из Ленинграда

было относительным — и все благодаря «нормальной» школе. На самом-то деле как раз не нормальной, а английской. Как тогда говорили, «языковой».

Иногда — когда сестра болела, и бабушка боялась оставаться с ней одна, — меня отправляли на продленку. В такие дни за мной по дороге с работы заходил отец. Но обычно меня забирала мама.

У нее была своя одиссея: успеть отовариться в привычных городских магазинах — в голом купчинском гастрономе с продуктами дело обстояло примерно так же, как в (воображаемом) новгородском селю, от которого ей удалось-таки отбояриться: хлеб, булка, молоко, картошка с морковкой и вечные советские консервы: тот самый, ненавистный мне «Мелкий частичек в томате» (до сих пор гадаю, встречался ли в родной природе «частичек крупный») и сгущенное — с непременно голубой наклейкой — молоко.

Однако сутью маминой одиссеи были не эти мелкохозяйственные надобности. А обменные адреса.

Как и было обещано бабушке, процедуру возвращения мама начала немедленно после переезда. По вечерам она сидела на кухне, тщательно, с карандашом в руке, прорабатывая «Справочники по обмену жилплощади» — еженедельные брошюры под разноцветными обложками. К зиме 1964/65, когда задуманное наконец свершилось, их скопилась довольно внушительная вязанка, крест-накрест перетянутая шпагатом. (Надо полагать, в расчете на местных пионеров — уж не знаю по какой причине, но усердные сборщики макулатуры за ними так и не пришли.)

Объявления (сиречь *варианты*) группировались по категориям запросов: «Комната на комнату», «Однокомнатная квартира на однокомнатную». Эти выглядели как баш на баш. Другие, вроде «комнаты на двухкомнатную квартиру», прозрачно намекали на доплату. Как я теперь

догадываюсь, весьма и весьма приличную — по тем, пореформенным, деньгам. Впрямую суммы не указывались (по советскому правовому кодексу сам факт доплаты — деяние незаконное, чреватое нехорошими последствиями). Если этой секретной информацией и делились — то с глазу на глаз. Говорю *если*, поскольку не всегда и не всяким. Все зависело от оценки платежеспособности контрагента, которая, как и многое в той замысловатой жизни, делалась на глазок. По одежке, по манере держаться, по взаимному пониманию во взглядах, которыми, в процессе осмотра помещений, обменивались высокие договаривающиеся стороны. А дальше — как повезет. Бывало, что особо ушлые обменщики (если к тому же им удавалось встроиться в маклерскую цепочку, где и концов-то не найдешь), превращали сущую конуру в полноценные трехкомнатные хоромы. Случай, увы, не наш.

С точки зрения составителей «Справочника», наши притязания — «Двухкомнатная квартира на двухкомнатную» — выглядели вполне себе невинно. Но только на первый взгляд. Поелику половинки этой шарады прятались отнюдь не «на дне морском». Первый слог — у черта на рогах в Купчине, второй — в самом что ни на есть центре города. Район, который мама считала для себя приемлемым, не выходил за рамки и границы Исаакиевской площади, набережной Красного Флота, Мойки и улицы Декабристов. И это бы еще ничего, согласись мои родители на доплату. Вариант доплаты, однако, не рассматривался. (Притом что «лишние» деньги в семье водились — отец, по тогдашним временам, зарабатывал прилично, — но вкладывались не в улучшение жилищных условий, а в какую-то загадочную «страховку»: из месяца в месяц, из года в год, чтобы через энное число лет, не то десять, не то двадцать, получить всю сумму целиком, однако *без процентов* — сделка с государством, непостижная моему

уму¹.) Боюсь, моим «правильным» родителям и в голову не приходило то, что мое поколение усвоило с младых ногтей и твердо: за все, превышающее советский госминимум, надо платить.

Впрочем, и это бы еще не катастрофа: как говаривала бабушка Дуня, город не село, в городе и не такое возможно. Но тут, как на грех, включилась мамина довоенная память. Где, с одной стороны, осталась комната на 1-й Красноармейской, но с другой-то — бабушкина квартира на Забалканском со всеми фантомными признаками «царского времени»: потолки — четыре с половиной метра, естественно, с лепниной; большая, не чета купчинской, прихожая и все прочее, включая высокие — под потолок — окна. Да, чуть не забыла: хорошие паркетные полы. (В том смысле, что дубовые, а не эти, с бору по сосенке: глядя на купчинский пол, бабушка брезгливо складывала губы, будто готовилась на него плюнуть.)

Если осмотр назначался на дневное время, мама брала меня с собой. Той зимой мне открылась страшная ленинградская тайна: за фасадами дворцов полно трущоб. Бывало, что, забравшись на какой-нибудь шестой этаж по узкой черной лестнице, мы не заступали дальше прихожей. «Да-да, подумаем... позвоним... спасибо, спасибо...» —

¹ Хотя одно более-менее правдоподобное объяснение у меня есть: копить деньги не в сберкассе (где лицевой счет можно в любой момент закрыть или, по меньшей мере, снять с него изрядную толику) — верный способ оградить себя от соблазна ненужных трат. Но зачем это было моим родителям, если и на самые необходимые они решались с трудом. Так, в нашем доме не водилось ни диванов, ни кресел. Хочешь отдохнуть — сядь на стул. Непростительная манера заваливаться на кровать, что мы с сестрой, собственно, и делали, вызывала недовольство отца. В его понимание жизни (еврей по крови, по образу жизни он был сущим протестантом-трудоголиком) такое поведение никак не укладывалось: что хорошего — а главное, нужного — можно делать средь бела дня, развалившись на кровати? Читать? Нормальные люди читают сидя.

ЕЛЕНА ЧИЖОВА

мама пятилась, стараясь не вдыхать тяжкие миазмы. Случалось и наоборот. Хозяйева квартиры, отвечавшей маминим тайным запросам, оглядев нас с ног до головы и для верности задав пару осторожных намеков-вопросов, на глазах скучнели и спешили выпроводить как незваных гостей.

IV

К чести мамы, она не сдавалась долго. Но ближе к лету стало окончательно ясно: все, что она себе намечтала, можно воплотить в жизнь лишь в виде двух комнат в коммуналке.

На этом этапе возникли новые важные вопросы: количество соседей, наличие/отсутствие ванной комнаты, близость к папиной работе и моей школе (больше никакого транспорта — десять, в крайнем случае, пятнадцать минут пешком), и все остальное, материализовавшееся уже на будущий год после зимних каникул, когда мы вернулись наконец из эвакуации (полгода не дотянувшей до своего военного прообраза), переехав на улицу Союза Связи, дом 13, квартира 11: нормальный ленинградский адрес; для меня, по существу, второй — купчинский проспект Славы не в счет.

Отсюда до нашего с бабушкой Никольского сада было совсем не далеко, не говоря уже об Александровском — с его осенним розарием и зимней деревянной горкой, —

но бабушка, видно, так никогда и не оправившись, больше не выходила на улицу. На этом, последнем этапе моей дворовой жизни, я снова была предоставлена себе.

Самостоятельность меня не пугала, ведь между девочкой, уехавшей с Театральной, и той, что через полтора года переехала по новому адресу, лежал опыт купчинской жизни: во двор-колодец я вышла во всеоружии — выко-вы́ренные городские дети взрослеют быстро.

Составляющие этого арсенала таковы: во-первых, изрядный запас ненормативной лексики; во-вторых, полное понимание того, что, прежде чем заводить дружбу, надо понять, кто и кому здесь враги. Забегая вперед, скажу, что врагов в купчинском смысле слова на Союза Связи не водилось, возможно потому, что здесь не было отдельно стоящих корпусов. Еще одно важное отличие: в Купчине мы сбивались в мелкие стайки согласно возрасту, так что дружить или воевать приходилось более или менее со сверстниками. В новом дворе была одна большая стая.

В ее признанных главарях ходил большой мальчик-семиклассник, чья семья жила в подвальном этаже. О том, что альфа-самец — он, я понятия не имела. Просто озиралась в поисках себе подобных, краем глаза отмечая сизые в потеках стены, ржавые дождевые трубы и огромную кучу чего-то неизвестного, припорошенного снегом. Эта куча — никак не походившая ни на строительный мусор, ни на гору земли, оставшейся от котлована под очередной фундамент: в Купчине мы использовали их *заместо* го-рок, — так и притягивала взгляд.

Мальчики и девочки делали вид, будто меня не замечают. Я тоже стояла. Ждала, пока они сами подойдут. *Стояние на Калке* длилось и длилось, и каждая минута отгрызала еще один кусочек от моих шансов превратиться в «свою». Так я, во всяком случае, чувствовала. А еще понимала: надо что-то делать. Вот я и сделала. Ловко, по-обезьяньи, взобралась на неопознанную кучу и победно с нее съехала, по-

путно сообразив, что леденелые ветки, царапающие даже сквозь рейтузы, — никакой не мусор, а смерзшиеся веники, которыми, насаживая их на палки, здешние дворники метут дворы. Прежде чем ко мне *все-таки* подошли, пришлось взобраться и скатиться еще пару раз, окончательно загубив не только рейтузы, но и пальто. Но зато создав себе правильную репутацию, которой хватило надолго.

Окончательно она сложилась и упрочилась года через два-три, когда дворовый народ выяснил, что я умею рассказывать истории. Не то чтобы все другие не читали книг, но мне, благодаря тренированному воображению домашнего ребенка и врожденной попугайской памяти, удалось занять особое место в нашей дворовой стае. Без особенных усилий завоевать почти монопольное право, которое на настоящих зонах, начавших редеть и рассасываться всего-то года за три до моего рождения, называется «травить» или «тискать романы». До меня на нашей маленькой дворовой зоне эта «вакансия поэта», точнее «прозаика», была пуста.

Романы было принято тискать на чердаке, куда мы и забирались. Сперва небольшой компанией. Постепенно по двору пошли слухи, и компания разрослась. Свои романы — гремучую смесь из сказок народов мира с книжными рассказами о пионерах-героях, почерпнутыми из школьной библиотеки, я вспоминаю только в общих чертах. Зато отлично помню ощущение власти над аудиторией, когда несешь черт-те что, а все тебя слушают, раскрыв рты¹.

¹ Почти не сомневаюсь, мое глубокое уважение к силе слова выросло из тех дней. Во всяком случае, пустило росток, позже давший завязь еще одного знания, важнейшего для советской жизни, в которой, знакомясь с человеком, приходится отвечать на главный вопрос: свой или чужой? Ответ можно прочесть по мимике, активному вокабуляру, способу строить предложения. Что, конечно, не исключает ошибок: тот, кого ты принял за «своего», на самом деле мог оказаться еще и «своим среди чужих». Но эти экзистенциальные тонкости все-таки относятся к взрослому существованию, до которого мне еще предстояло дорасти.

Одной из чердачных тем выступали легенды и мифы, иногда древнегреческие из любимой с детства книжки, но чаще петербургские: про царицу Авдотью, предсказавшую нашему городу пустоту и гибель (об этой царице я узнала от купчинских мальчишек, когда, поделившись распивавшей меня новостью, получила в ответ: ха-ха, Ленинград-то скоро погибнет, а вы переезжать хотите — во, дураки); о костях, еще с петровских времен лежащих под каждым нашим домом — если хорошенько копнуть, можно найти (к тем, «петровским» недостопамятным костям я прибавляла и блокадные, когда — с бабушкиных слов — рассказывала о рвах, вырытых вплотную к Московскому проспекту; теперь на этом месте разбит парк, где из-под земли так и несет холодом); о святом Александре Невском, явившемся в длинном черном одеянии: предупредить, что ровно через 300 лет он уйдет из Петербурга — и живите, как знаете (помню, кто-то из моих слушателей выразил сомнение: а он чо, разве святой, в кино-то вроде бы рыцарь), и еще множество темных историй, которые бабушка частью знала по слухам, а частью — черпала из книжки, той, растрепанной, с веточкой на обложке, которую она, наряду с толстым в старинном переплете Пушкиным, любила читать.

Но особый страх на моих доверчивых слушателей нагоняла «легенда о ротонде»: петербургский вариант сделки с дьяволом, в котором классическая средневековая легенда переплетается с масонским ритуалом — а иначе откуда бы в ней взялся «круглый дом», куда здешние незадачливые *фаусты* являются ночами и, заключив договор, в это же мгновение стареют. В моем чердачном пересказе кульминационный момент выглядел так: заходит он такой, двадцатилетний, а назад — с бородой. На вопрос: и чо, любое желание исполняется? — я отвечала: ага, но единственное. Мой уверенный ответ порождал споры. Однако не о том, допустимо ли продавать свою душу дьяволу, а о «единственном желании», ради которого стоит (или

не стоит) к нему идти. (В итоге мы пришли к общему мнению: ради *мира во всем мире*, пожалуй, стоит; а вот ради какой-нибудь ерунды вроде велосипеда «Пионер» — нет: все равно рано или поздно проржавеет.) Трепеща и опасно озираясь, словно этот легендарный герой уже приближается, мы гадали, в каком он все-таки предстает обличье: с рогами или без? Маленькие ли у него глазки? Лысый или заросший густыми черными волосьями череп? Крепкие ли у него зубы? (У нас-то — сверленные-пересверленные: следствие невской, лишенной благодатных солей и минералов воды.)

Отдав болтливую дань ему, нашему ленинградскому дьяволу, компания требовала продолжения: а дальше-то, дескать, что?

Там, наверху, под сводами ротонды, заседают — разумеется, ночами — всесильные мудрецы, тайные властители города: они и решают, что здесь следует разрушить, что построить заново, а то и просто перенести. С одного места на другое — как в сказке про Алладина. Например, памятник: вечером стоит, а утром — ищи-свищи.

Чердачными выдумками наши забавы не исчерпывались. Разжившись гривенником на автобус, мы отправлялись в ДЛТ. (Под этой всем известной аббревиатурой скрывалось длинное название, намекающее на какую-то особость ленинградской торговли — в сравнении, скажем, с московской, — хотя особой была одна-единственная секция, если память мне не изменяет, четвертая, где всякое начальство, возомнившее себя «всесильными мудрецами», затаривалось дефицитным импортным шмотьем.) В ДЛТ мы ездили самовольно, пользуясь тем, что родители за нами не присматривали. Повод: купить, например, тетрадку. На самом-то деле — пошляться по Невскому и, как тогда говорили, поглазеть.

Осенью, когда небо заряжалось мелкими нескончаемыми дождями, мы спасались в здании Почтамта — благо

близко, от нас через дом. Там, в нарядном почтовом зале (когда-то на этом месте был почтовый двор, позже, кажется, в начале позапрошлого века, его покрыли стеклянным куполом), прямо на столах, в свободном доступе, лежали пустые посылочные бланки и ручки-вставочки, дешевенькие, которые макают в чернильницы. Расположившись за столами и наострив вконец разъехавшиеся перья¹, мы, пачкаясь чернилами и усеивая бланки жирными ляпами, вели долгую взаимную переписку. Причем не личную, а из «жизни царей и цариц». Подозреваю, что дипломатическому уклону способствовал цвет попавших в наше распоряжение чернил — так, черным по белому, обращалось к своим подданным родное государство. В школе мы писали синим.

Если судить по дворовым играм, может сложиться впечатление, будто жизнь на улице Союза Связи в корне отличалась от купчинской. Но для меня одно вытекало из другого: пожевав купчинского вара, я уже не довольствовалась осмысленным школьным существованием (из которого, пройдя сквозь положенные любви и дружбы, со временем выросло родство, до нынешних пор связывающее нас, бывших одноклассников). Словно прочным сезалевым канатом меня тянуло на двор — в простую и беспощадную жизнь, чьи соблазны мне еще предстояло преодолеть.

Моя жизнь снова делилась надвое: школа и двор. Но в школе мне не нужно было доказывать, что я — своя. Тем более училась я на «отлично»: в начальных классах это важный социальный критерий.

В табели о дворовых рангах наши школьные оценки играли прямо противоположную роль: отличников и от-

¹ Для тех, кто этих вставочек не застал: чем шире отстоят друг от друга двойные металлические кончики, тем несподручнее писать. Такое перышко царапает бумагу, мало этого, сажает кляксы.

личниц презирали, дразня зубрилами и гогочками. Здесь ценили и уважали другие таланты: ловкость, с которой прыгаешь с гаража, точность попадания битки в нужную клетку расчерченных на асфальте «классиков» или, когда играешь в вышибалы, мяча в живую мишень. Кстати, в Купчине об этой игре никто и слыхом не слыхивал: в отсутствие подходящей подворотни в вышибалы не поиграешь — «мишени» разбегутся. Так что эти навыки мне пришлось набирать с нуля.

За несколько лет почти ежедневных тренировок я сумела выбиться в первые ряды по многим дворовым видам спорта, включая настольный теннис: уж не знаю, каким чудом в нашем дворе появился теннисный стол со всеми причиндалами — поперечной сеткой и несколькими ракетками. За этим столом я однажды обыграла Вовку, нашего нового альфа-самца. Прежний (вспомнила: Серега; по-дворовому: Серый) уже успел вырасти и исчезнуть: сперва говорили, будто бы завербовался на «комсомольскую стройку». В те годы об этих стройках слагали песни. «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Но потом пошли слухи, что не завербовался, а «сел». Глядя на его семейство: папаша-алкоголик, несчастная, вечно замотанная мать — в это, вообще говоря, верилось.

Кем были Вовкины родители, не помню, знаю, что оба работали на Адмиралтейском заводе — обычная ленинградская семья с деревенскими корнями, с чередой крестьянских поколений, разорванной переездом в город. Судя по всему, после войны.

В остальном новый главарь был прежнему под стать. С той лишь разницей, что с ним мы были одноклассники, что придавало нашему соперничеству особую остроту. Девчонки шептались, что Вовка Сушков в меня влюбился, и прочили на роль дворовой альфа-самки. Кстати, в этом определении нет ничего «стыдного»: наша осведомлен-

ность в сексуальных вопросах оставалась весьма скудной, не выходящей за рамки коротких, но емких слов, которые пишут на заборах. В общем, если Вовке и приходили в голову разные фантазии, он держал их при себе. Но, думаю, за шепотками и меловой надписью на стене в подворотне «Вовка + Ленка = любовь» все-таки что-то такое было, причем с обеих сторон. При мне он плевался особенно лихо, а если свистел, засунув в рот два пальца, то уж как истинный Соловей-разбойник. В его присутствии я тоже не плошала, становясь и ловчей, и красноречивей. И не я одна. Многие девчонки подпали под обаяние Вовкиной дворовой власти и, несмотря на невзрачную внешность, даже находили его красивым.

Как бы то ни было, тот теннисный проигрыш Вовка мне великодушно простил. Тем более на другой день он сумел отыграться.

Так мы и жили, то цапаясь, то мирясь, до того самого дня, когда я совершила низкий поступок, может быть, самый низкий из всех, что тяготят мою совесть. (Возможно, именно он, а не что-нибудь другое, оттянет вниз ту чашу весов, которая никого из нас не минует.)

В тот день, выйдя во двор, я застала Вовку — как водится, в окружении многочисленных шавок и подлипал — терзающим Борьку Каца, нашего дворового «жиденка».

Не в оправдание себе: кроме дремучего бытового антисемитизма, свойственного советским людям вопреки идеологической параше о пламенной «дружбе народов», свою роль играло и то, что Борьку — лет до двенадцати — всюду водила бабушка. В том смысле, что его не выпускали на двор. То есть дело не только «в крови». О том, что я «половинка», во дворе, разумеется, знали, но несмотря на это считали «своей». (Ту же самую мысль можно выразить иначе. В этом нутряном споре: какая кровь какую «переборет» — наш дворовый народ ставил на русскую.)

Но с другой стороны — теперь уж точно в обвинение, — ко времени, когда случилась та позорная история, у меня (уж не знаю какими путями, во всяком случае, помимо родителей — о папиной «еврейской судьбе» в семье не говорили, по крайней мере, при детях, хотя, как выяснилось позже, моим родителям было что порассказать; и уж точно помимо школы: ни учителя, ни тем более пионервожатые по таким «скользким темам» не высказывались) сложились довольно ясные представления о «национальном вопросе». Доказательством служит другая, школьная, история. Которую сама я позабыла начисто. Мне напомнила ее Ирка Эйгес, моя школьная подруга, уже лет тридцать живущая в Израиле, — через много лет, когда пришлось к слову. Кажется, в третьем классе один из наших мальчиков позволил себе антисемитское замечание. Далее цитата из Иркиного рассказа: «Я испугалась, даже съежилась. Ты сидела за партой и что-то писала. А потом отложила ручку и совершенно спокойно спросила: “Вот интересно, с кого бы ты, дурак, списывал, если бы не было евреев?”»

Словом, вопрос, над которым я, в связи с той, дворовой историей, тщетно размышляю: чего здесь все-таки было больше, недомыслия или двоемыслия — в моей дурной голове?

Бедняга стоял у стенки. Вовка «расстреливал» его резиновым мячом. И хотя в цель намеренно не попадал — мяч отскакивал гулко — но Борька всякий раз вздрагивал и закрывал голову руками. Я тоже стояла и думала: не выпускали, и не хрен было начинать, такому в нашем дворе не выжить — как комнатной собачке среди бездомных псов, рано или поздно все равно порвут.

Заметив, что я подошла, Вовка перекинул мяч мне. Не с тем, чтобы «повязать кровью» — до *достоевских* максим наша дворовая стая все-таки не дотягивала. Скорее, самец, бросающий приглянувшейся самке лакомый кусок.

Этим куском я, не задумываясь, пульнула в Борьку — тоже мимо, не имея в виду попасть.

В сущности, из этой этической коллизии было два более-менее хороших выхода: первый — Борька соберется с силами и пошлет всех на хер, тогда можно посмеяться и перейти к другим развлечениям; второй — дворовой стае наскучит. Борька выбрал третий, откровенно плохой: сел на асфальт и горько заплакал.

Сказать по правде, мы даже растерялись. Шавки — и те заткнулись, перестали ржать. Но это была не мирная тишина. Что-то тяжкое назревало в воздухе, требуя немедленного выхода, разрядки. Все смотрели на Вовку, ожидая его решения. Его дворовая легитимность, которую никто не ставил под сомнение, позволяла сделать что угодно: к примеру, подойти и пнуть (тогда остальные подскочили бы и запинали), или насать Борьке на голову, не говоря о том, чтобы плюнуть в его жидовскую морду. Но Вовка тоже растерялся, дал слабину. Еще не приняв окончательного решения, как поступить с хнычущей жертвой, он поднял с земли мяч, прицелился, на этот раз *по-настоящему* — пульнул, но не попал. На дворовом языке: промазал.

Теперь, словно ход перешел в мои руки, все смотрели на меня. Включая Борьку. Я тоже стояла и смотрела. Как громом небесным, меня поразил его взгляд: жалкий, но одновременно восторженный, которым он, жертва, признавал право сильного, да что там — восхищался этим правом...

Тут я ставлю многоточие — чтобы вернуться к этой дворовой истории позже, когда стволовая мысль повествования достигнет точки перелома моей, а значит, и нашей семейной судьбы.

V

Подозрений, что учителя врут, у меня не возникало. Скорей, неловкое чувство, временами переходившее в уверенность: сведения, которыми они с нами делятся, получены из третьих рук. Или — ближе к нашим детским забавам, — дошли до них по «испорченному телефону», но не как в этой веселой, хотя и глуповатой игре, когда слова, проходя через уши и губы участников, теряют всяческое подобие смысла (было: я люблю кошек, стало: *Люба клюет кашку*) — с блокадой получалось иначе.

«Несгибаемая стойкость ленинградцев», «подлинный героизм жителей блокадного города» — сами слова оставались вроде бы нетронутыми. Менялся их смысл. Послушать наших учителей — здесь, в Ленинграде, голод имел какую-то особую ценность. Словно, не случись смертного голода и холода, их следовало бы придумать — а иначе у ленинградцев не нашлось бы под рукой подходящего средства, чтобы явить городу и миру свою жертвенную

стойкость. Притом что сами жертвы — это само собой подразумевалось, — умирая в страданиях и муках, принимали свою блокадную участь гордо и осознанно: все, включая детей.

Мне, правнучке и дочери тайного ордена, за всем за этим виделось недомыслие профанов. Не то чтобы я располагала фактами, однако бо́льшая часть подробностей, которыми учителя с нами делились, противоречили тому невятному, но целокупному образу блокады, жившему в моем сердце. И ничто, приведи они хоть сто правдивых доказательств (не говоря уж о псевдо- и полу-), не могло этот образ изменить.

Таких, как я, в нашем классе было много. Но о блокаде мы не разговаривали — тем более о том, что творилось в Ленинграде в каких-нибудь баснословных для нас тридцатых, а потом и ближе к нам, в послевоенные годы — пятидесятые/сороковые (порядок числительных — не моя описка, а суть того проклятого времени: дойдя до этого рубежа, оно, уже в который раз, покатилося вспять)¹.

Допускаю, что в семьях моих одноклассников, быть может, и шли опасные разговоры, сопровождавшиеся непрямым родительским: учти, только здесь, дома, а там, в школе или во дворе — ни-ни. В моей семье ничего *этого* не было. Однако флёр неотчетливого, неформулируемого страха, подернувший прошлое (теперь я говорю: намеренно на него наброшенный), я ощущала лет с двенадцати — с тех пор как окончательно укрепилась в мысли, что тайные золотники памяти, которые я скопила по крупичкам, не то что не имеют свободного хожде-

¹ В глазах Сталина Ленинград — главная послевоенная мишень, объект кристальной, безо всяких посторонних примесей ненависти. Причину следует искать в чувстве собственного достоинства ленинградцев, переживших блокаду: у одних оно всколыхнулось в замордованной памяти, у других родилось в блокадное время — впервые и вновь.

ния — их и за золото не держат. Предпочитают «самоварное» — этим словом, родившимся из дореволюционной традиции натирать до «золотого» блеска дешевые латунные самовары, бабушка Дуня именovala всякую фальшь. Вроде болтовни о «советских людях» — когда радио жевало эту приторную жвачку, бабушка вполголоса язвила: «Ишь, возомнили о себе, другие они, особенные, видать, не из *того места* родились». (Значение этого эвфемизма у меня, прошедшей дворовый ликбез, не вызывало никаких сомнений.)

Впрочем, ко времени, когда мы перешли в средние классы, с «военной темы» стерся и самоварный блеск. Начать с того, что нашему б «Б» не повезло с училкой истории. Своим блокадным опытом, если таковой у нее и был, она с нами не делилась. Бубнила очередной параграф учебника от сих до сих на манер средневекового служки из деревенской церкви, имеющего дело с кучкой дремучих прихожан. Для которых ее скучный пересказ — единственный источник знаний: хоть про французов, уносящих ноги из Москвы, хоть про римских сенаторов, хоть про блокадные карточки. В ее бесцветном, без малейших обертонов, исполнении прошлое обретало вкус «замазки» — так бабушка Дуня называла отечественный, по ее мнению, абсолютно безвкусный сыр.

Наверняка школьная (да и *нешкольная*) администрация это тоже понимала. Как, впрочем, и то, что для пробуждения интереса к «военной теме» детям необходим живой посредник. Для нас в этом качестве выступали ветераны (школьные охальники немедленно окрестили их ветеринарами). То не в меру воодушевленные, но куда чаще — вполне себе скромные пожилые дядечки. Как на подбор косноязычные. Их тусклые рассказы о «героических боях и сражениях с превосходящими силами противника» — с подробным перечислением неведомых насе-

ленных пунктов и номерных высот — мы переживали как нудную обязаловку. Которую надо *пересидеть*.

Чем мы, собственно говоря, и занимались, пока очередной приглашенный лектор, вещая о потерях в «нашей живой силе», напирал на то, что смерть в бою заведомо отличается — понятно, в лучшую сторону — от любой другой. Скажем, по старости.

То ли методисты дали маху с самим жанром «живых воспоминаний» — не учли, что мы-то не «детвора первых пятилеток», а горожане, притом не в первом поколении; или, как раньше с историчкой, нам не повезло с исполнителями, — но в наших рядах заявления такого рода не снижали ни малейшей поддержки. Наоборот, многих так и подмывало, подняв руку, задать встречный, по примеру лермонтовского, вопрос: «Скажи-ка, дядя, ведь если так хорошо и почетно умереть молодым, ты-то пошто жив?» (Вопрос несправедливый и для большинства из них незаслуженный: на войне всякое бывает — порой даже смершевцы и иже с ними заградотрядчики гибнут, а их «подопечные» вопреки всему выживают, — но на эту школярскую глупость они, увы, напрашивались сами.)

Так, совместными усилиями нашей занудливой учительки и записных ветеранов, то бишь проверенных и одобренных начальством, живая блокадная история стремительно двигалась в тупик, откуда ее было уже ничем не выманить, даже кусочком блокадного (125 гр) хлеба, который тогда, кажется в шестом классе, возник на моей «памятной» полочке — Музей истории Ленинграда, где он, наряду с другими экспонатами, был представлен, находился на тогдашней набережной Красного Флота, теперь Английской, в нескольких кварталах от нашей 238-й школы. Однажды наш класс туда повели.

Он лежал на весах под стеклянным колпаком, из-под которого будто нарочно (для пущей, что ли, сохранности экспоната) выкачали воздух: добавив бедному кусочку

мучений — как прикажете лежать, задохнувшись? Мне эта спекшаяся смесь жмыха с отрубями показалась хлебной мумией — вроде древнеегипетского Пе-те-се из собрания Эрмитажа (не мудрствуя лукаво, мы называли его Петес). Не упокоенный, а выставленный на всеобщее обозрение, этот кусочек хлеба будил во мне жалость. Но какую-то отстраненную, во всяком случае, не имеющую отношения к целокупному образу блокады — будто события, свидетелем которых он, бедный, оказался, отстояли от этого образа так же далеко, как Петес от меня: подобно древнему египтянину, они терялись в египетской тьме.

Думаю, тем бы моя «блокадная история» и завершилась. Во всяком случае, до поры, когда я вошла бы в возраст «самиздата» и «тамиздата». (То, что наши книги и радиопередачи — тот еще источник знаний, для меня и в тринадцать лет не было никаким секретом. Не могла же я не замечать, как бабушка выключает радио, стоит ему заикнуться про блокадников, про их «особую стойкость и героизм».)

Она бы завершилась. Если бы не «блокадный наказ», сформированный во мне ранним детством, который я ощущала как что-то иррациональное, охотно откликаясь на звук его трагической трубы. На жизнь — текущую во мне, рядом со мной, мимо меня — я смотрела с этим, трагическим уклоном. Там, где «нормальный» человек, не тронутый семейной памятью о войне и блокаде, находил повод пригорюниться, я горевала вовсю. Жизнь без горя и горечи (которые, признаюсь, я порой в себе растравляла, выбирая для чтения «правильные» книги: не «Трех мушкетеров», а «Безобразную герцогиню, Маргариту Маульташ», не «Алые паруса», а «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда») представлялась мне лишенной важнейшего фермента, определяющего не столько модус самого по себе существования (существовать, во

всяком случае, временами, можно и весело), но его постоянного и неотступного осмысления¹.

Дровами, то горевшими, то потихонечку тлевшими в печи этого осмысления, могло стать буквально все. К примеру, мамино удивление, когда я (поджимая никогда не голодавшие губы) выступала против обязательной по тем временам тарелочки с нарезанным тонкими ломтиками сыром на праздничном столе — мол, зачем, только заветритя, все равно гости не станут есть. Или то, как строго она следила, чтобы мы с сестрой (не в праздник, а в будние дни) ели сыр с хлебом. Повторяла навязшим в зубах рефреном: «Двести грамм сыра без хлеба — так и я могу». — «Ну возьми да и съешь!» А она смотрела растерянно, не понимая: как это — взять и съесть? Будто эти несчастные 200 гр. российского в мелкую дырочку сыра без хлебного к ним довеска — не материальная реальность, которую она может в любой момент себе позволить, а устойчивое выражение вроде «морковкина заговенья» или «когда рак на горе свистнет».

В доме всенепременно должен быть обед — редко, когда сваренный накануне. А уж чтобы суп на три-четыре дня, такого я и не упомяну. Разве что мои любимые кислые щи: ведь их — как черным по белому сказано в «Книге о вкусной и здоровой пище» — выдержка только красит (в чем моя бабушка Дуня находила соответствие с людской натурой).

А эти длинные списки блюд (расписанные по каждой — четыре раза в день — трапезе), которыми мама (когда мы всего-то на пару дней собирались съездить на

¹ Возможно, именно блокадный трагизм, пронзивший мою детскую память, со временем и привел меня к осознанию того, что жизнь должна иметь смысл, выходящий за рамки естества. Говоря философским языком, я ощутила себя не «природным человеком», чья судьба — бессловесно и безропотно раствориться в густом потоке поколений, а монадой, имеющей *свое предназначение* во вселенной. Пусть и самое скромное.

дачу) скрупулезно заполняла страницы ученической тетради: не тоненькой, двухкопеечной, а полновесной, в коричневом коленкоровом переплете. Отдельным столбиком учитывались необходимые для реализации ее планов продукты — с указанием объема или веса по каждой позиции: что это, как не грессбух голодной блокадной памяти.

Помноженной на отличный аттестат мясо-молочных курсов.

О том, что в нашем классе попадались сыновья и дочери фронтовиков (прошедших войну и — в противном случае мы бы не родились — выживших), школьное руководство знало и даже делало попытки привлечь их к нашему «патриотическому воспитанию», чему они (независимо друг от друга) оказывали вежливое, но стойкое сопротивление — отговариваясь кто непривычкой к публичным выступлениям, а кто и ужасной, прямо-таки невообразимой занятостью. Думаю, им претили жесткие идеологические рамки, в которые, выступая перед школьниками, они должны были бы себя загнать.

О войне отца — жестокой, кровавой, нечеловеческой — я узнала, когда стала взрослой. Однажды мы с отцом курили на крылечке, и он, глядя в густоту чернеющего за дачным забором леса, вдруг рассказал, как его, после первой рукопашной, рвало в ельнике, выворачивало кишками наизнанку. От хруста человеческой плоти под распором ножа он не мог отделаться всю жизнь. Был еще один памятный мне разговор, когда я помянула ленинградское ополчение, а он сказал: «Одна винтовка на пятерых. Первый падает, второй подхватывает, второй падает — третий... В своей пятерке я был пятым, — а потом, с горечью: — Мы все были пушечным мясом. Мне просто повезло».

Войну отец закончил в Вене. В один из дней — не то сразу после штурма, не то через пару дней после объявленной победы — взвод, которым он командовал, погиб почти что в полном составе, хватанув на радостях метилового

спирта, добытого в ближайшей, раздолбанной советскими снарядами аптеке: аптекарь-фармацевт что-то лопотал, выпучивая глаза от ужаса, — этот невнятный фармацевтический лепет был принят за страх перед brave воинами-победителями, да и кому вообще интересно, что там лопочет поверженный враг. Сам отец не приложился к ядовитой жидкости по чистой случайности: он и еще двое бойцов его подразделения в этот час дрыхли как сурки.

Тогда же, весной сорок пятого, им заинтересовались смершевцы. Но не по факту гибели вверенной ему «живой силы» (за это, выяснив, как и что и откуда растут ноги, неусыпные органы израсходовали аптекаря: а нечего было лопотать, учил бы, сволочь, русский язык), а по причине того, что ляпнул что-то *политическое* — что именно, отец уже не помнил: под это определение подпадало все, что не вторило очередной, спущенной с идеологических высот, директиве. Короче, могло закончиться плохо, но, к счастью, пронесло. Как он потом говорил, смершевцев отвлекли другие дела, куда более насущные. «*Эти*, — я помню отцовскую усмешку, — вывозили немецкое добро вагонами». Сам он не взял с побежденных ни грана натуральной контрибуции — даже (вспоминаю бабушки-Дуниного мужа) каких-нибудь «длинных ножниц».

Единственное, что осталось от той, на грани гибели, истории, — пожизненный страх, который отец скрывал до последнего, до самой больничной палаты, где он лежал после тяжелой операции, отходя от наркоза. Когда я вошла, отец открыл глаза. Узнал меня, назвал по имени. И сразу, перемогая наркотический морок, приказал встать у двери: «Берия... уже выслал своих людей... Стой и не пускай».

«Не бойся, — я ответила твердо. — Они не пройдут, я их не пущу». Отец кивнул: «Хорошо». Поверил мне. Задремал.

Прошло немало лет, но я и теперь стою у этой двери. До сих пор стою.

VI

Тому, кто примет на себя труд написать подробную историю ленинградских коммуналок, придется начать изда- лека.

С того, что Петербург строился как имперский город, который с течением времени должен стать европейским лицом России — в отличие от Москвы, где неизбежный душок азиатчины (этой извечной изнанки русской жизни — между Азией и Европой) со временем только крепчал. Впрочем, в глазах обывателя, московская жизнь еще долго оставалась синонимом тепла и уюта — в той мере, в какой она протекала в уютных двухэтажных особнячках; память о ней до сих пор хранят уцелевшие арбатские переулки. В Петербурге ничего похожего не было и нет.

Со дня своего основания Петербург подобен театраль- ной декорации. Ее внешняя сторона, повернутая к зри- телям, составлена из роскошных дворцов, в императорское время блиставших великолепием — накал этого блеска

определяла близость к царскому двору. Но как у любой декорации, у нее была и обратная сторона. Стоило покинуть центральную часть и углубиться в череду улиц, как образ имперской столицы шаг за шагом начинал блекнуть, чтобы стусеваться окончательно в районах рабочих трущоб. Во второй половине XIX века на этом обширном (между дворцами и трущобами) пространстве как грибы после дождя вырастали доходные дома. Под шумок — и, надо полагать, под лозунгами борьбы с ветхим и недостойным столицы жилищным фондом — тогдашние застройщики прибирали к рукам и куда более лакомые куски земли. Доходные дома стали появляться вблизи от центра, пусть не на главных городских магистралях, державших плотную оборону; но буквально в двух шагах.

Советская политика «уплотнения» лицевой стороны не затронула. Если не считать убогой покраски фасадов (больше всего не повезло северному модерну: растительные элементы его, когда-то нарядного, декора замазывали толстым слоем краски, словно стирали безжалостным и беспощадным ластиком) — все изменения шли с изнанки, с обратной, так сказать, стороны. Кажется, уже в 1920-х тогдашние варвары, не покладая рук и не откладывая дела в долгий ящик, разгородили дворцовые залы на клетушки — там, где перегородки пущены вертикально, единицы жилплощади обретали вид параллелепипедов, поставленных на попа. Этот неприятный эффект (когда комнатное пространство, будто переняв привычки и обыкновения варваров, и само становилось «долгим ящиком» — чтобы не сказать: вытянутой, как жила на дыбе, камерой) в какой-то мере скрадывался горизонтальными несущими конструкциями: для верхних квартир они становились полом; для нижних — потолком. Учитывая внушительные размеры дворцовых помещений, из них, *вдоль и поперек* разгороженных, получались воистину безразмерные коммуналки — бывало, что и на сорок семей. Частные квар-

тиры, обычно двусторонние, в восемь-десять комнат (до революции их приобретала новая капиталистическая аристократия: крупные промышленники, банкиры, адвокаты), превращались в то, что нынешние риелторы полупрезрительно именуют «гребенками». Квартирам поменьше никаких переустройств не требовалось — а их, трех- или четырехкомнатных, в доходных домах большинство.

Пока жизнь, взбаламученная великими потрясениями, еще не устоялась, в ней оставались узкие форточки, откуда тянуло сквознячком свободы — по крайней мере, в житейских делах. Но вскоре и они захлопнулись. Кому, с кем и на каких основаниях-условиях обживать коммунальную жилплощадь, с этих пор определяло государство — по собственному разумению и, разумеется, во благо себе. Непременным правилом этого жилищного пасьянса стала практика доносов на соседей: с середины 1930-х и далее — важнейший инструмент социальной селекции. Со временем он слегка затупился, однако на помойку его не снесли.

Занимаясь решением масштабных задач (коллективизация, индустриализация, раздувание мирового революционного пожара), на всякие мелочи вроде текущих, а тем более капитальных ремонтов власть внимания не обращала. Вследствие чего Ленинград год от году ветшал. В первые десятилетия — медленно и постепенно. Фасады кое-как еще держались. Но электрические провода, водопроводные трубы, краны на общих кухнях, скрипучие половые доски, деревянные перекрытия, плашки когда-то натертого до блеска паркета — будто сговорившись, вели себя как участники контрреволюционного заговора. Внутренние враги. Ничем иным не объяснить такие враждебные — с их стороны — выпады, когда то вдруг рванет и хлынет с верхней кухни, то зашипит и вспыхнет голубым огоньком оголившийся коридорный провод, то отстанут и оползут со стены обои или в бывшей ванной

комнате зашатаются кафельные плитки (ни дать ни взять цинготные зубы) и начнут одна за одной, а то и рядами выпадать. В общем, впору ставить вопрос о городе-вредителе.

Этот вопрос не заставил себя ждать. К середине тридцатых поползли упорные слухи, будто бы у Сталина возник план: чем отремонтировать, взорвать к такой-то матери. Сравнять «царские кварталы» с лицом земли.

Первым шагом к осуществлению грандиозного плана стало новое здание Горсовета, своим внушительным фасадом — декорированным в духе Альберта Шпеера, но с поправками на советские реалии и сталинские вкусы — выходящее на Забалканский проспект. По обеим его сторонам, точнее, под его крыльями, должен был проклюнуться — точь-в-точь гадкий утенок — новый, пролетарский, центр Ленинграда: чтобы со временем превратиться в прекрасного советского лебедя. Как ни странно, «окончательному решению ленинградского вопроса» помешала война. Своим конгениальным варварским планом — стереть «город Ленина» с лица земли — коварный фашистский диктатор связал по рукам и ногам своего советского визави: не станешь же, в самом деле, уничтожать то, что задумал уничтожить твой личный смертельный враг.

Дом, в который мы, отбыв положенный срок в далеком и нелюбимом Купчине, наконец переехали, пострадал помимо всех и всяческих планов. Попал под горячую руку войны. Слева — Главпочтамт, справа — Центральный телеграф. В эти важнейшие объекты городской инфраструктуры немецкие асы метили, надо думать, сознательно. Но то ли асы попались косые-криворукие, то ли с 5000 метров (высота, с которой велось прицельное бомбометание), как ни старайся, все равно промажешь — короче, Почтамт и Телеграф пережили войну с минимальными потерями. Все капитальные разрушения пришлось на долю стоящих между ними домов.

У нашего, № 13, полностью, до основания выгорело два флигеля. Сперва дальний — когда прямоком во двор-колодец угодила фугасная бомба¹. Наш, фасадный, флигель сгорел через несколько месяцев: поговаривали, будто бы от керосинки. Якобы одна из жилищ, получив похоронку на единственного сына и тронувшись на почве горя разумом, разлила и подожгла керосин; вспыхнув на верхнем этаже, огонь пустился вниз, по пути пожирая деревянные межэтажные перекрытия. И в конце концов пожрал.

Первый послевоенный год дом лежал в руинах, но в 1946-м ему несказанно повезло. На его восстановление были брошены пленные немцы — соотечественники упомянутых асов, но, в отличие от тех, не криворукие. С присущей немецкой натуре добросовестностью (как потом выяснилось, не слишком зависящей от того, где именно развернут фронт работ: в Берлине, во Франкфурте или здесь, во втором по значению и первом по мукам городе одержавшего над ними победу врага), они работали за страх как за совесть, когда клали кирпич к кирпичу, паркетную доску к паркетной доске и завиток потолочной лепнины — к завитку.

Результатом их двухлетней работы стало то, что дом, поднятый из руин, вроде бы не отличался от прежнего, до-революционной постройки, но в то же время стал «новым» — прошел, если так можно выразиться, внеплановый капремонт.

¹ Подробности я узнала от своей школьной подруги — в этом дальнем флигеле ее семья жила до войны. Бомба ухнула днем. О времени суток можно говорить с полной определенностью, поскольку в самый момент взрыва ее тетя стояла на подоконнике, мыла окно. Осколки вышибленных взрывной волной стекол впились ей в спину — по счастью, она стояла не лицом, а спиной к окну.

После пожара их семье удалось найти новое прибежище: поблизости, в доме № 18, где моя подруга, собственно говоря, и родилась.

Полагаю, эта двойственность и определила мамин окончательный выбор: все другие варианты, которые ей довелось осматривать, ни в какое сравнение с этой жилплощадью не шли. Впрочем, знай она заранее, чем чреват ее выбор, смотрела бы не на ровные стены; не на потолки, декорированные нарядной лепниной; не на полукруглые по верхним контурам окна. А на людей.

Все счастливые коммуналки счастливы одинаково. Из чего, однако, не следует, что все несчастные несчастливы по-своему. Вот так и наша, на улице Союза Связи — как по одной капле воды можно судить о химическом составе всего океана, так и по ней (во всех других отношениях самой что ни есть рядовой, обыкновенной, каких в Ленинграде было десятки тысяч) можно изучать послевоенную историю города — во всех ее социально-политических аспектах, скрытых от посторонних глаз.

Что случилось с теми, довоенными, жильцами — умерли ли они с голоду, или погибли под обломками перекрытий, рухнувших по причине того, всепожирающего, пожара, или, быть может, выжили и даже успели эвакуироваться, — факт тот, что назад они больше не вернулись: сошли, если можно так выразиться, с подмостков ленинградской истории. По окончании восстановительных работ дом заселили завербованными. (Более позднее название — «лимитчики».)

В существенном количестве и, разумеется, в плановом порядке их, этих «новых горожан», начали завозить году в сорок шестом. Что, с одной стороны, объясняется объективными причинами: чтобы залечить блокадные раны, опустелый город нуждался, как тогда говорили, в «рабочих руках». (На самом-то деле крестьянских, не слишком умелых на строительном поприще, но зато нетребовательных, привыкших довольствоваться малым и, что немаловажно, не принявших блокадных мук.) Но с дру-

гой-то, этим притоком «свежей крови» ленинградское начальство, входившее в новую силу, надеялось размыть блокадную память, а если получится, изменить общий «состав крови» горожан.

Первые годы после нашего переезда квартира жила мирно. (Мама даже удивлялась предупреждению, поступившему напоследок от наших обменщиков: мол, соседи хамоватые, держите ухо востро. Потом-то она не раз говорила: «Теперь поня-ятно, почему они отсюда сбежали, — тут не только в Купчино, тут хоть куда, хоть к черту на рога!») Практиковался даже обмен рецептами: вкусного, но недорогого печенья на маргарине, крошки, студня, салата из свеклы и всякого разного — вплоть до пасхальных куличей. Впрочем, если оглянуться назад, можно припомнить одну коммунальную историю, случившуюся вскоре после нашего переезда.

Проект послевоенного восстановления предусматривал оборудование ванных комнат в каждой отдельно взятой квартире. Не знаю, как в других, но в нашей она просуществовала в рабочем состоянии недолго, кажется, лет десять. Не то оборудование вышло из строя, не то засорились трубы, а может быть, то и другое — как это часто бывает в отсутствие хозяина, вменяемого не столько руками, сколько головой. Пикантность ситуации усугубляется тем, что Толя, соседский зять, работал сантехником на заводе «Красный треугольник». Казалось бы, ему-то и карты в руки, но, см. выше: дело не в специальности, а в мозгах. (Толину сантехническую квалификацию мама оценивала так: «Да что он вообще умел! Научили три крана открывать».)

В моей памяти «дядя Толя» остался тихим бессловесным созданием — на грани, господи прости, легкого дебилизма, усиленного склонностью к «русской простуде» — в ее хронической форме. Эту необоримую склонность он неумело, но старательно скрывал, пряча пустые мерзавчи-

ки за унитазом (где их немедленно, тем же вечером и обнаруживали — если не жена, то теща). «Выпимши», он ходил по квартире бочком-бочком, словно надеясь на кривизну пространства, которая хоть и не позволяет сделаться невидимым, но дает возможность стусеваться. В качестве последнего штриха к портрету: на таких, как бедняга дядя Толя, в русских деревнях лепят презрительную кличку «примак».

Его тестя и тещу прискорбный факт отсутствия действующей ванной комнаты нимало не смущал. Полжизни прожив в деревне, они привыкли мыться раз в неделю по субботам и, перенеся эту стойкую привычку-традицию на город, довольствовались общественной баней, ближайшей от дома — за Мойкой, на Фонарном переулке, всего-то и дел, что перейти через мост. Да и что может значить общественная баня в сравнении с настоящими послевоенными тяготами, от которых они бежали, завербовавшись на ленинградскую стройку. Он — разнорабочим, она — штукатуром.

О качестве их рабочих рук можно судить по тому, что, отмантулив положенную по договору с государством двадцатку и выйдя — с чистой совестью и в свой срок — на пенсию, ни он, ни она не заслужили даже почетной грамоты «За самоотверженный труд». (Эта незаслуженная, с их точки зрения, обида снесла обоих: жалуясь маме, Лидия Павловна горько сетовала на строительное начальство, обошедшее ее и мужа уважительным вниманием. Уж они-то бы его оценили, повесили грамоты на стенку.)

Помыкавшись с годик в общежитии и родив ребенка, семья Смирновых получила право на собственную жилплощадь. К тому времени немецкие пленные как раз восстановили наш дом. За решением городского начальства заселить его завербованными строителями, быть может, и стояла некоторая логика: дескать, поживут, оценят качество немецкой работы и, чем черт не шутит, переймут. По-

жить-то пожили, да не переняли. Говорю не голословно. Однажды Лидия Павловна с мужем собственноручно переклеили обои в нашей общей прихожей. В следующий раз родители предпочли не экономить — заплатить умелой тетке из ЖЭКа.

Когда дело дошло до заселения, Смирновым было предложено занять две любые комнаты в этой квартире — на тот момент еще пустой. Выбор они остановили на самых маленьких, подслеповатых, окнами в сырой и мрачный двор-колодец. Как Лидия Павловна объясняла маме: «Дак на што нам больше? Мы к бóльшим не привыкши».

Это, так скажем, материальные запросы. Что касается интеллектуальных притязаний, когда их внучка, родившаяся уже на моей памяти, немного подросла, дед с бабкой полюбили смотреть, «как Ирочка танцует». А поскольку в их комнатах было не повернуться, танцы устраивались в прихожей. Музыкальное сопровождение обеспечивал дед: «Николай, давай закурим, Николай, давай закурим, девок с улицы поту́рим...» — и так часами, прихлопывая самому себе в ладоши и повторяя слово в слово немудрящий запев. От куряки и дамского угодника «Николая», проникавшего, кажется, во все квартирные щели, хотелось быть волком.

Не приходится удивляться, что предложение о капитальном ремонте ванной комнаты внес мой отец. Имея стойкие представления о добрососедстве и коммунальной справедливости, он-то рассчитывал, что строительно-монтажные работы (новая разводка, дровяной водогрей — взамен дровяного же, но напрочь прогоревшего; ну и остальное по мелочи: крючки, полочки, краны) будут произведены в складчину. Но, обдумав, соседи на это не пошли. Видимо, заподозрили за всем за этим какой-нибудь подвох или «хитрость»: не то «еврейскую», не то «интелихенскую», в смысле, «с портфелем и в шляпе» — к ним, про-

стым советским рабочим, она подкралась с неожиданной, а главное, непонятной — «Чё ему, больше всех надо?» — стороны. В итоге все материальные и трудовые затраты пришлось на долю моих родителей. Что впоследствии: «Слава богу, не в Америке живем, права свои знаем», — никак не помешало нашим соседям отремонтированной ванной пользоваться: мыться (раз в неделю по субботам) и по субботам же стирать.

Однако сама ремонтная эпопея оставила в соседских сердцах глубокий след. С этих пор они относились к моему отцу с явной опаской, спрятанной за уважительным почтением, и даже выбрали его ответственным квартиросъемщиком, доверив самое святое: снимать показания общего счетчика, умножать на действующий тариф (кстати говоря, в те годы неизменный) и расписывать итоговую сумму (рубля два, редко — два с полтиной) по плательщикам: строго в соответствии с количеством душ каждой, живущей в нашей квартире, семьи. (Тут мне приходит в голову сравнение с городским землемером, перемеряющим принадлежащие крестьянскому «миру» земли с последующим их «переделом» по числу едоков.)

Кстати сказать, отцу удалось решить и другую, казалось, нерешаемую проблему: чугунный крюк. На ночь — будто мало было замка — этим крюком полагалось *закладывать* входную дверь. Если утром, не дай господь, обнаруживалось, что дверь заперта, но не заложена, начиналось долгое и тщательное (с опросом свидетелей и чередой очных ставок) расследование: кто явился домой последним? А значит — виноват. Чтобы покончить с этими разбирательствами, отец — приложив малую толику ума — ввел в коммунальный обиход простую, но эффективную систему именных карточек: пришел домой — сними свою карточку с гвоздя.

Как правило, виноватым в грехе незаложенного крюка оказывался другой наш сосед, Владимир Павлович, име-

новавший себя театральным режиссером. Так, вообразите себе, и представлялся: «Чернявский, театральный режиссер». В Ленинград он приехал, кажется, из-под Брянска, однако на тяжелых строительных работах не отработал ни дня. Заняв на первых порах должность коменданта общежития, того самого, где семья Смирновых мыкалась в ожидании жилплощади, он уже года через два получил направление в Институт культуры — как ему это удалось, коммунальная история умалчивает — и по окончании культурного вуза устроился помощником режиссера самодеятельного, как тогда говорили, «народного» театра в какой-то отдаленный ДК. Из очага народной культуры его довольно скоро поперли — не то за регулярные прогулы, не то по причине банальнейшего пьянства. С этих пор постоянной режиссерской работы он больше не нашел. Подвизался массовиком-затейником, но затейную службу посещал редко, видимо, считая ниже своего достоинства, и все свободное время проводил на диване, услаждая слух старыми граммофонными записями — «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?..».

Жена, не разделявшая его душевных мук и духовных исканий, ушла к родителям, забрав дочь. На бездуховность бывшей супруги Владимир Павлович жаловался горько и охотно, а главное, в таких изысканных выражениях, что никому из соседей не приходило в голову прервать его lamentации вульгарным напоминанием о коммунальной уборке. Сорвав завесу молчания с сей деликатной темы, мама (задолго до того, как холодная коммунальная война перешла в горячую стадию) нажила в его лице смертельного врага.

Горячая стадия вызревала постепенно, по мере того как мама, обжившись, принялась делать замечания хозяйственного характера: «Лидия Павловна, ну не выливайте вы горшки в кухонную раковину, посуду же в ней моем». (На что та первое время отвечала мирно: «Да што тако-

го-то, Вера Васильна, чай, не взрослое, чай, детское ссанье»). Или: «Нина, это не мытье, а размазывание грязи. Мы же не с ногами на унитаз, мы на него садимся». В переводе с русского коммунального: прежде чем мыть унитаз, хорошо бы воду-то сменить. Увы, никакие увещевания не помогали: Нина, дочь Лидии Павловны и Толина супруга, продолжала мыть места общего пользования *одной водой* — причем туалет в последнюю очередь: как это, собственно, и принято в деревне, где удобства во дворе и вообще не унитаз, а очко. (Кстати, работала наша Нина контролером на парфюмерной фабрике, проверяла флаконы с духами и одеколонами на наличие в них посторонних предметов, скажем, осколков битого стекла — так что по квартире она ходила в шлейфе ароматов, в котором «Лесной ландыш» переплетался с духом «Наташи», а то еще с «Быть может...», но все перешибала приторно-сладкая струя «Персидской сирени» — такой вот тошнотворный купаж.)

Как того требуют непреложные законы войны, наряду с воюющими сторонами должна быть третья — держащая нейтралитет. В роли нашей местной Швейцарии выступали старик со старухой, занимавшие комнату рядом с кухней — холодную, над дворовой аркой. Точнее, старухой чувствовала себя Федосья Андреевна, в то время как ее супруг, Иван Матвеевич, отличался прытью такого свойства, что Федосья, жалуясь маме, называла его не иначе как «сущим козлом». «Еле ходит, козел, а все туда же!» — свои горькие жалобы она сопровождала пожеланиями: «Да штоб ты сдох!» В конце концов по ее слову и вышло: в «очередной заход» (еще одно подлинное Федосьино выражение) старика разбил-таки паралич, и дня через три он отдал богу душу — к вящему облегчению супруги. Все эти малоаппетитные подробности, о которых, разумеется, узнала спустя годы, я привожу лишь в качестве объяснения — тому, что, занятая свои-

ми личными горестями, Федосья держалась от соседских разборок в стороне.

В конечном итоге — увы, средствами дипломатии проблемы не решались — трения на коммунальном фронте все чаще стали выливаться в истошные вопли, выходившие за границы не только маминого прежнего опыта (на 1-й Красноармейской и на Театральной площади скандалы время от времени тоже вспыхивали), но и общекоммунальных представлений о Добре и Зле — хотя кто их, эти границы, межевал...

«Да штоб твои дети сдохли! А уж я дак при-иду-у, плюну на их могилу!» — орала Лидия Павловна, подбоченясь, сопровождая каждое пожелание, по видимости, смачным, а на деле сухим плевком. Хотя вряд ли ядовитым. Во всяком случае, уже минут через пять (встретив, положим, в прихожей) она как ни в чем не бывало называла меня Аленушкой — может быть, поэтому, пропуская вопли и проклятия мимо ушей, относясь к ним как к неизбежному фоновому шуму, я не держала на соседей зла.

До той памятной истории, которая, выражаясь библейским стилем, случилась во дни моих ежемесячных очищений. А если попросту: утром, собираясь в школу, я забыла в ванной то, что в те далекие годы было принято называть «подкладными». И надо ж так случиться, что обнаружил ее не кто-нибудь, а именно Александр Васильевич, муж Лидии Павловны и Ирочкин дед. Этот клочок использованной ветошки возымел на него действие, как красная тряпка на быка.

Заслышав вопли истошного возмущения, мама выглянула в прихожую и, разобравшись, в чем, собственно, дело, решительно (любой ценой вывести ребенка из-под удара) взяла вину на себя. Но не покаянно-интеллигентским образом: ах, простите, забыла, ума не приложу, как такое могло случиться, — а в духе закаленного в комму-

нальных схватках бойца: «До старости дожил, кровавой тряпки не видел!? Не видел — на! — смотри!» В ответ она получила «шлюху, проститутку, тряпки свои раскладывают, ни стыда ни совести!».

Теперь, когда мне доподлинно известно, что архаическую душу природного крестьянина пугает все, связанное с «телесным низом»: попавшись на глаза в светлое время суток, оно страшит, точно привет с *того света*, — я, обращившись назад, задаюсь горестным вопросом: быть может, сама эта подспудная ярость (ее демонстрировали обе стороны), вечно тлеющая, готовая вспыхнуть с пол-оборота, — следствие чего-то другого: нутряного, подзвздошного, одним словом, *рокового*... Но если так, значит, наша коммунальная квартира — один из множества плацдармов, на которых одним жертвам, унесшим ноги из теплящейся впроголодь послевоенной деревни (завербоваться в Ленинград — спастись от колхозно-крепостного тягла), противостояли другие жертвы: блокады — затяжного, на грани смерти, голода, день за днем разрушавшего нервные клетки. Их совместная жизнь — растянутая во времени мука, на которую все они были обречены.

Все, что в любом другом уголке страны или мира можно назвать «человеческой комедией», здесь, в Ленинграде, обретает черты подлинной и неизбежной трагедии, уж как минимум — драмы. Даже пресловутые очереди. Не те, короткие, часа на полтора, к примеру, за апельсинами, а иные, многолетние: за ковром, за холодильником, за стиральной машиной — когда в обязанность очередника входит ежемесячная «отметка в списке»: умри, но явись. Тех, кто по какой-нибудь причине пропускал переключку, «уполномоченный (самую очередь) товарищ» вычеркивал из списка как из жизни: недрогнувшей рукой.

Хоть убей, у меня не поворачивается язык обвинить их, очередников, в «бездуховности». В этих ленинградских домах, где за каждой перегородкой ходит тень кого-то, ра-

ботавшего с утра до ночи за сущие копейки, все усилия хотя бы немного улучшить обыденное существование: купить, достать, украсить, приспособить — представляются мне заранее и навеки оправданной попыткой наладить разрушенную жизнь. Поднять ее из руин.

Даже разноцветные баночки «для хранения сыпучих продуктов», украшающие нутро кухонного шкафчика (тем паче, если наполнены крупой: манкой, гречкой или рисом) — здесь, в этом бедном городе, не приметы по-человечески налаженного быта, а запоздалый реванш потомков — наш ответ на историческую несправедливость, выпавшую на долю тех, кто жил в этом городе до нас.

За что я нашим дремучим соседям благодарна — так это за их выбор: предпочти они своим двум, маленьким наши две большие комнаты (сугубо-смежные, 32 м² + 19 м²; высокие окна, полукруглые в верхних переплетах; дубовый паркет, лепнина и все прочее по маминому априорному списку) — не видать бы мне этого дома, главного в моей судьбе, где я не просто жила, а пользовалась дарами времени, чтобы взрастить в себе те безусловные — не зависящие от дальнейших жизненных обстоятельств — запросы, которые если от чего и зависят — единственно от сосредоточенности мысли, вострящей себя на темах и предметах, далеких от твоих сугубо личных перипетий...

Выплеснув изрядную толику ярости, участники «кровавой» схватки разошлись по своим комнатам — тем историей и завершилась, канула в Лету.

Для них, но не для меня. В то утро, по дороге в школу, я бормотала: «шлюха, проститутка...» — повторяла как заведенная, будто эти слова не висели в воздухе, будто клеймом их выжгли у меня на лбу.

Да дело даже не в словах — чего-чего, уж слов-то я знала предостаточно, — а в том, что, впервые в жизни ощутив себя действующим лицом экзистенциального сражения,

я поняла, что отныне и до века стою на «ленинградской» стороне.

С этим я и вышла во двор. И надо же было так совпасть, что именно в тот день — не раньше и не позже — Вовка, наш альфа-самец дворового разлива, «расстреливал» Борьку Каца резиновым мячом. И на глазах у всей дворовой стаи — промазал. *Дал слабину*. Случись эта история днем раньше, скорей всего, я бы сделала вид, что ничего такого особенного, ну промазал и промазал. Но тут словно заклинило. Употребив значительную часть из арсенала правильных выражений, я сообщила, что думаю о Вовкином косом глазе и прочих важных дворовых достоинствах. Теперь — по понятиям — настал его черед. Он обязан был мне ответить. Минута промедления, и дворовая корона сползла бы с его головы.

Отступив на один шаг, он смотрел на меня сощуренными глазами — и в глубине его глаз стояла безобразная пустынь той древней доисторической природы, которую через много лет я опознала в глазах неандертальца, выставленного на всеобщее обозрение в лондонском Музее естественной истории.

— А ты — с-сука.

Помню мутно-красную волну ярости, ударившей в голову, когда я присела на корточки и — медленно, медленно, не сводя глаз с Вовки, — шарила пальцами по земле. Понятия не имею, откуда там взялась суковатая палка, но она легла мне в руку легко и ловко, точно древняя палка-копалка.

Конечно, он мог убежать, и тогда все как-нибудь бы, да обошлось, в конце концов, двор — не арена естественной истории. Но в том-то и дело, что Вовка не хуже моего понимал: он — «предок победителей-кроманьонцев» ровно до той минуты, пока его взгляд наводит ужас.

Вот он и стоял как вкопанный. Смотрел, как я поднимаю палку...

А дальше — тишина, вязкая, как в замедленной съемке... кровь, капающая на дворовый асфальт, и Вовкины скрюченные пальцы, которыми он вцепился в челюсть, выбитую моим дурным ударом.

Потом, когда все закончилось, во всяком случае, перешло в житейскую плоскость, его родители явились к моим; меня, ясное дело, наказали, в районном травмпункте челюсть вправили обратно, даже ссадина вскоре зажила. Наверняка Вовка затаил на меня злобу, строил планы будущей страшной мести, но меня его злоба не касалась. С этих пор я больше не выходила гулять во двор¹.

А через год в моей школе начался Шекспировский театр. И любовь, и наша дружная компания, и стихи Пастернака и Ахматовой, и “Jesus Christ Superstar”, и “Beatles”, и “Deep Purple” с их фантастическим ударником, и «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли, и Нино Рота с его пронзающей душу мелодией, и «Совсем пропащий», и «Андрей Рублев», и остальное, включая Акиру Куросаву с его «Расёмоном», а потом Галич и Солженицын; позже, уже по

¹ Года через четыре я узнала стороной: после восьмого класса Вовка поступил в военное училище или что-то в этом роде. Словом, стал бравым советским офицером. Ведь это до революции, как говаривала моя бабушка, офицеры были «белой косточкой». В мое время армию и прочие силовые структуры выбирали те, кто не знал иной — не дворовой — жизни. Кто попался на ее ржавый крючок. Но и закрыв глаза на эти житейские оговорки (которые я пускаю в ход, лишь бы до некоторой степени смягчить, а то и заретушировать грани «эволюционного», как было заявлено, противостояния) — я не стану утверждать, что, вспоминая ту, полудетскую, историю, не рисую по ее левкасу куда более поздней темперой, замешанной на моих взрослых наблюдениях. В конце концов, он был всего лишь недалеким парнем, которому просто не приходило в голову, что здесь, в Ленинграде, за слово можно и схлопотать. Причем не словом, а делом. Пусть так. Но все равно эта история важна. И, полагаю, не только для меня.

окончании школы, к ним добавились Томас Манн, Герман Гессе, Андрей Платонов — короче, все то, что со временем стало моей подлинной жизнью, от траектории которой я наверняка бы отклонилась, если бы не спасла (не в чужих, в собственных глазах) свое человеческое достоинство, подняв сучковатую палку с земли.

Но все это было потом, а тогда, наскоро приготовив уроки, я отправлялась бродить по городу, училась смотреть на него новыми глазами. Куда и в какую сторону двигаться — зависело только от меня.

VII

Как в детстве на Театральной площади, моя жизнь на улице Союза Связи опоясывалась решетками рек и каналов. По одной грани Нева, по другой — Мойка, между ними — сравнительно короткий канал Круштейна, от которого берет начало другой канал, мой родной Крюков. Взяв его себе в провожатые, я направлялась к знакомым с детства местам. Держась за руки (его чугунная ладонь была жестковатой, но даже сквозь варежку теплой), мы шли мимо кирпичных петровских пакгаузов, мимо задней стенки Мариинского театра, мимо черных атлантов до самой Никольской колокольни, дойдя до которой, я останавливалась, а он, мой тихий спутник, отправлялся дальше, чтобы по своему давнему обыкновению впасть в Фонтанку — соединить свои недвижные воды с водами этой энергичной и не слишком воспитанной речки, рядом с которой прошло мамино детство: там, на берегу, стоит усадьба Державина с ее регулярным садом, в те годы заросшим и переименованным в Польский.

Махнув рукой на прощанье, я поворачивала обратно и, держась знакомых с детства улиц, выходила к скверу перед Исаакиевским собором, еще ни сном ни духом не догадываясь, что именно здесь, на этой соборной площади, мой отец, боясь выдать себя произвольным сокращением лицевых мышц, а потому положившись на икроножные, исполнил тайную «пляску смерти» в честь откинувшего таки копыта «вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина» — ни дать ни взять его баснословный предок, плясавший перед ковчегом завета.

Бывали дни, когда, наскучив этим привычным маршрутом, я выбирала другой путь. Шла к Александровскому саду. Зимой — раз-другой скатиться с его деревянной, покрытой разъезженным слоем льда, но невысокой, в пол-этажа, горки; весной — к Медному всаднику, где в первые майские дни распускаются загодя высаженные городскими службами тюльпаны и нарциссы; осенью — в розарий с его несравненными по красоте сельницами всех видов и оттенков: от пышных, имперских, изысканно-палевых, пухнувших многослойными лепестками, до самых что ни на есть мелких, розовых и по-провинциальному скромных, — но одинаково дисциплинированных: строгие дощечки с их наименованиями на русском и латыни торчали в изножье каждого куста.

Обратно мне вольно было возвращаться хоть по набережной Невы, отмечая глазом стройный силуэт египтянина-сфинкса — соотечественника эрмитажного Петеса, — но, в отличие от того, с высоким каменным клубочком; хоть мимо манежа Конногвардейского полка: в царские годы в его честь назывался весь бульвар от Александровского сада до Благовещенской — тогда — площади, позже переименованной в площадь Труда. От прежней, конногвардейской, чести сохранился куцый переулок, в который я сворачивала, когда шла в школу.

В моем распоряжении был и общественный транспорт. Хочешь, садись на автобус (№№ 2, 3, 22, 27, остановка у ДК Работников связи: сюда, в бывшую реформатскую церковь, в большевистские времена ей отсекали голову, я ходила с первого класса по пятый — в балетный кружок, где и рассталась со своими детскими мечтами о партии Огневушки-поскакушки) и отправляйся, скажем, на Невский: в ДЛТ за писчебумажными принадлежностями. О, этот выбор тетрадных обложек — не унылых, двухкопеечных, с таблицей умножения и мерами длин и весов на обороте и портретами героев-пионеров на лицевой стороне, а полноценных, коленкоровых, покрытых много- и разноцветными разводами: ни дать ни взять запретные полотна абстракционистов (в те годы я и слыхом о них не слыхивала); или в музыкальный магазин за виниловыми пластинками — не нынешний, рядом с Домом Книги, а тот, исполненный музыкальных звуков, напротив Гостиного Двора. До него можно было доехать и на троллейбусе: № 5 и № 14, ближайшая от моего дома остановка у здания Главпочтамта — только не с парадного входа, где отдел посылок и нарядный операционный зал (тот самый, в котором, расположившись за столами, мы вели «царскую» переписку), а с тыльной стороны, выходящей на бульвар, где работали изнаночные почтовые службы, в том числе «режимные».

Если назвать мои тогдашние прогулки одним словом — пусть оно будет: беззаботные. Это слово исчезло после бабушки-Дуниной смерти.

Умирала бабушка молча. Та разновидность тяжелого недуга (в нашей семье наследственного — по женской линии), которая досталась ей, тянется долго, но не терзает болью. Наша участковая так и сказала: не мучается, но наберитесь терпения — крепкое сердце, оно-то и держит, не дает уйти.

Какие мысли шевелились под спудом ее молчания — Бог весть. Быть может, на эти шесть последних месяцев

она вернулась назад, в свою родную деревню, где ее предки принимали смерть смиренно — как нечто само собой разумеющееся, как обряд перехода: из жизни временной в жизнь вечную. А быть может, ее крепкое сердце, угодившее в тенета города, роптало, жалуясь на судьбу: дескать, не случись большевистского переворота, все могло сложиться иначе, да и в любом случае — могло.

Или, оглядываясь назад, она пыталась осмыслить свою жизненную стратегию: была ли она благоразумной — не в том смысле, на котором зиждется учение о «верном и благоразумном рабе», коего господин поставил над своими домашними, чтобы давать им пищу вовремя (все, что по части пищи и остальной домашней колготни, воплотила собою ее дочь, впрочем, ни над кем и никогда не стоявшая), — а из притчи о «благоразумных и неблагоразумных девах»...¹

За неделю до смерти бабушка впала в беспамятство, изредка нарушаемое сдержанными (как все в ее характере и натуре) стонами. Сосредоточенная на своих школьных уроках (мой секретер стоял в той же комнате, что и бабушкина кровать), я успела к этим звукам попривыкнуть. По недомыслию мне казалось, что смерть далеко и стоны будут длиться долго, всегда...

Когда она обратилась ко мне, я вздрогнула — так отвыкла от ее ясного голоса.

— Потерпи... я скоро уйду, не буду... мешать, оставлю тебя...

— Что ты, бабушка! Да разве ты мне мешаешь, — я ответила, не особенно вдумываясь ни в свои, ни в ее слова.

¹ Нет, не о спасении. Я — о том, что в решающий момент эти «правильные» девы не пришли на помощь «неправильным»: зная, что земное время кончается, хладнокровно отвернулись, послав их за маслом на базар. Я, родившаяся в городе, в котором все переводится на язык хлеба, думаю: ведь так могла поступить и тетя Настя. Но она, неблагоразумная, сходила и принесла. Муки. Жизни. Полный до краев стакан.

Приняв ее слова за излишнюю старческую деликатность. Ведь никогда, ни единым словом, ни тяжким вздохом мама (взявшая на себя все обязанности по уходу: мытье, обработка мест, грозящих пролежнями, регулярная смена белья, кормление с ложки — впрочем, больная уже почти не ела) ее не попрекнула. А тем более мы с сестрой, которых эти стороны жизни и вовсе не касались.

Подавив мимолетную обиду, я погрузилась в английский текст, откуда выписывала новые слова, чтобы хорошенько их вызубрить — являя (кому — городу? миру?) пример ложной сосредоточенности, которая мешает заметить то, что впоследствии окажется самым важным: бабушка не спросила, здесь ли я? — будто знала, была уверена: где же мне еще быть. (Притом что в комнате было тихо: я же не листала словарь, я выписывала слова в тетрадку — шелеста пера по бумаге бабушка расслышать не могла, последние годы она плоховато слышала, временами, в разговоре, даже закладывала за уши сгибы головного платка.)

Да и сами слова. Меня царапнуло: «не буду мешать». А другое, которое за ним последовало, словно бы упало, закатилось под шкаф, потерялось. Ее последнее: «...оставлю тебя».

Мне и в голову не пришло задуматься. Где она меня оставляет? В комнате, в Ленинграде — круги ее брошенных напоследок слов неудержимо ширятся, — в жизни, в нашей общей семейной истории, в которой я должна взять на себя ответственность: за самое память, за достойное продолжение «городского дела», которое она, первая из женщин нашей семьи, начала.

И что в ее устах значило: достойное? Теперь, по прошествии десятилетий, я полагаю: во-первых, без ущерба для моего собственного, личного, достоинства. (Эту часть бабушкиного завета я, увы, выполнила не в полной мере — оглядываясь назад, я различаю точки невосполнимого

ущерба.) Во-вторых, и это куда важнее: дело, начатое ею, я должна была продолжить по восходящей линии. Сделать следующий шаг.

Отпевали ее в Никольском. В собор я опоздала. Не по своей вине. Мама назвала мне неправильное время (я и до сих пор не уверена: перепутала или нарочно, чтобы «меньше страдала»). Бежала, торопилась, но гроб уже успели закрыть. На самом деле гробы — их было несколько, на специальных подставках, похожих на козлы.

Бродя между ними как заблудшая, я водила пальцами по колючей тесьме, кружеву, кистям — словно надеялась опознать мой, бабушкин, на ощупь. Выбрала один, затянутый красноватым, в мелкий цветочек, ситцем. Ткнулась лбом в жесткий деревянный угол... Кто-то из прихожанок совал мне в руку свечку, чьи-то голоса ходили кругом, опаживая мое древнее как смерть горе: «Мать, мать умерла... Сирота... сирота...»

Когда гроб, над которым я, срываясь в крик, выла, забрали чужие люди, с ними ушли мои последние силы. На кладбище, над бабушкиной могилой, я стояла, окаменев.

Эта первая *настоящая* смерть переложила мои мысли в неведомое дотоле русло. По ночам, забравшись с ногами на подоконник и вглядываясь в пустую улицу, будто это не улица, а неисследимая дорога, по которой бабушка ушла из моей жизни, — я думала: нет, не могла она уйти насовсем. Чтобы *быть*, разве обязательно лежать здесь, в этой темной комнате... А еще о тайных ленинградских смыслах — таких же долгих, как эта сквозная торная дорога, — о том, что я обязана их открыть. Противопоставить смерти.

Так, оттолкнувшись от *сироты*, я (на ощупь, как гроб с жесткими кистями) искала то, что через много лет станет моим жизненным выбором: стратегией независимости. Еще не зная, куда эта стратегия меня заведет.

Началось со странного чувства: будто я — невесть по какой шкале или счету — самая старшая в семье. Старше

не только родителей, но и тех, кто уже умер. Или погиб¹. Словно именно во мне, заранее, задолго до рождения, собрался опыт их прежнего существования — своего рода конденсат, выпавший на мою душу. Однажды, сидя на широком подоконнике и вспоминая бабушкины рассказы о ее деревенской жизни, я вдруг подумала: а что, если я — та самая «девка, решившаяся нейти замуж», которая, впрягшись в соху времени, должна «опахать» этот город, изнемогший от повальной болезни — не то морового поветрия, не то моровой язвы.

С этих пор я смотрела на Ленинград иначе. На эти улицы, дома, переулки — мне казалось, они собрались у стен Исаакия, чтобы, ёжась под невскими ветрами и припадая к его ступенчатому — на все четыре стороны света — подножью, просить защиты от варваров. Их тихие и скромные просьбы — самое достоверное из всего, что открылось мне в тинейджерской юности, вошло в мою память как нечто незыблемое, что можно потрогать, ощутив шероховатость или гладкость строительного камня; как то, что — в отличие, скажем, от книг — не нуждается в осмыслении (а тем более переосмыслении), что не зависит ни от возраста, ни от жизненного опыта — потому что вложено целокупно.

Таким, целокупным, оно остается до сих пор. Надышав дырочку в замерзшем стекле автобуса, вставшего у какого-нибудь светофора, я узнаю не только самоё место, где в эту минуту оказалась, но и всю общую картину: словно город, вспыхнув этой одной-единственной точкой, воссоз-

¹ Теперь, когда мой нынешний возраст перешел границы их жизненных сроков, я задаюсь трудным вопросом: в какой степени мы становимся «повторением» наших предков — их свойств, жестов, привычек, их глаз и формы рук; вплоть до истин, которые они в продолжение жизни выстрадали. А в какой порываем с ними. Обязаны порвать. Но тогда, в юности, уже переживая внутри себя эту распрю: между тем, что было, и тем, что *есть* и *будет*, — я еще не заходила так далеко.

дает себя заново, расширяясь в моем сознании как Большой бесшумный взрыв. И это взрывное чудо узнавания повторится столько же раз, сколько мне, глядящей из окна автобуса, суждено застрять под светофором — здесь, на этом самом углу. Первотолчком, порождающим взрыв, может стать любая мелочь: завиток фасадного декора, абрис барельефа над оконным проемом, очертание углового выступа — мысль об их разрушении непереносима: ведь каждая, пусть даже самая маленькая, утрата рвет мои мозговые связи. Взорвите дом на углу Невского и Малой Морской — и взрывной волной снесет целый квартал моих мозгов.

После первых месяцев пустых (будто и вправду после взрыва) скитаний я заметила, что меня сопровождают книжные голоса. Стоило замедлить шаги или присесть на лавочку в сквере, как они, обступив меня, принимались жаловаться, поминая город недобрыми словами: он-де и бездушный, и казенный, умышленный и неестественно-регулярный, абстрактный, нерусский; вот ты-де его жалеешь, а ведь «нормальному человеку» в Петербурге жить нельзя. Их горькие сокрушения и сетования доходили порой до нервного срыва: пора, пора уносить ноги из этого проклятого богом и людьми города-болота. Куда — да куда угодно, лишь бы обратно в «нормальную человеческую» жизнь.

Все дальше уходя от дома, все шире нарезая круги (мало-помалу захватывая уже и Васильевский остров, и Петроградскую сторону), я вслушивалась в голоса их канонического хора. Каждый пел в своей неповторимой особой тональности, но по сути дела — в унисон, подхватывая друг за другом одинаково горькие слова: мало что бездушный, так еще и тоскливый, скучный, тревожный, надрывающий сердце, подозрительный, — я сопоставляла их свидетельства с тем, что открывалось моим глазам на любом, первом же, повороте, в конце каждой, пусть не бес-

конечной, но все же нескончаемой перспективы — и это сопоставление выходило не в пользу голосов.

Не то чтобы я им, классикам, не верила (пока читаешь — веришь), но как поверить их утверждениям: да, Петербург красив, временами даже прекрасен, но построен «не для людей».

Тогда для кого?!

Однажды (как сейчас помню, в ноябре, зима еще не наступила, но было холодно) я шла по Фонтанке от моста к мосту, нанизывая, точно на суровую нитку, темные предмостные площади, и вдруг увидела дом: с колоннами, с полукруглым, словно втянутым в глубину, фасадом. Только я успела подумать: какой же он странный, не похожий на другие, — посыпался снег, да не мелкий, липкий, норвящий растаять. Этот ложился белым мягким крошевом, но в то же время плотным, как бумажный лист. Крупные, будто вырезанные, снежинки кружились в свете фонаря. Завороженная театральным — напоказ — кружением, я остановилась, боясь спугнуть их сказочный танец, и тут заметила следы. (Могу поклясться: кроме меня на набережной никого не было. Даже голоса, казалось, отстали.)

Помню вязкую тьму, стоявшую под сводом арки, в которую (в арку, а не во тьму) я шагнула. И, пройдя ее насквозь, попала во двор. Во дворе я обнаружила круглую постройку. Цепочки следов вели к единственной двери. Боясь, что решимость вот-вот меня покинет, я толкнула дверь и вошла.

Там, внутри, оказалась ротонда. Будто попав в самое нутро бабушкиных ленинградско-петербургских рассказов, я оглядывала темные, уходящие под купол колонны, крашенные синей масляной краской, на высоту человеческого роста исписанные такими корявыми буквами, что и слов не разобрать. Две винтовые лестницы, уходя во тьму и переплетаясь друг с другом (одна закручена по часовой стрелке, другая — против), напоминали спираль ДНК.

Выбрав одну из них наугад, я пошла, держась вплотную к перилам, еще не догадываясь, что эта половинка спирали ведет к глухой стене. Дойдя до конца и только теперь осознав свою ошибку, я собралась было спускаться. Но вновь услышала голоса. Сперва тихие, потом все громче и громче, словно там, за стеной, собирались гости. Припав к глухой стене разгорающимся ухом (казалось, гости говорят громко, но в то же время будто нашептывают мне на ухо), я ловила обрывки разговора, в котором нет-нет да попадались тайные бабушкины слова, однако не те, больные и горькие, стоявшие на моей блокадной полочке: *мягкие части, больница коняшина, мальчишки не живут*, а другие, с открыток в ее ангельской коробке: *конка, городской, карета скорой помощи* — ступая по их словам, как по цепочкам смыслов, я впервые осознала: мы и они существуем в разных мирах. Не в мистическом смысле (это само собой). А в том, что у нас разная память.

Теперь уже не вспомню, как, скатившись по винтовой лестнице — точно с горки, — я оказалась на заснеженном дворе; как бежала по безлюдным, пугающим своею пустотой улицам. Но с этих пор я больше не слушала книжных сетований. Стоило их авторам завести свою вечную горестную пластинку — ах, как же мы, дескать, мучаемся-страдаем, — я перебивала их высокомерным вопросом: ну и за чем же, собственно, дело стало, что мешает вам уехать из города, не стиснутого кольцом блокады; разве — встав от письменного стола или выйдя из тихой университетской аудитории — вам предстоит облачиться в солдатскую, мешковатую или короткую, не по росту, форму и, пройдя напоследок в колонне ополчения, уже к вечеру, крайний срок — на другое утро, лечь костями на подступах к Пулковским высотам, на Невском пятачке, на Синявинских болотах или там, под Лугой, где лежит мой дед?

Пройдет еще немало лет, прежде чем разрешится та беспочвенная литературная распря, мучившая, не давав-

шая мне покоя в ранней юности; когда, вдумавшись в их биографии, я пойму: не приставать с глупыми вопросами — впору их пожалеть. Ведь им, великим русским писателям, но по рождению не петербуржцам (выросшим — кто в Москве, а кто и в какой-нибудь отдаленной губернии), была чужда здешняя суровая прямизна. А как иначе, если за спиной человека, чье детство протекало в сухом и светлом мезонине (во всяком случае, не в сыроватых, угóльных, квартирах, где мы, урожденные петербуржцы, привыкли засыпать, притулившись к холодной изнанке брандмауэра), — стоит и всегда будет стоять образ средневекового города, недалеко ушедшего от деревни; города, который разрастается не по чертежам, а по примеру растений: его корни скрыты под торцами кремля или (в зависимости от местного говора) крома, городца; его ветви — улицы: пускаясь вдаль и вширь кривоколенными переулками, они, стоит зазеваться, так и норовят завести в уютный тупичок, где городская жизнь и вовсе неотличима от сельской.

В Петербурге все было не так. Город не разрастался, а выплескивался: сперва за Неву, а потом все дальше, за реки и каналы. Так повелось с самого начала, когда, потоптавшись на правом берегу (где стоит его крепость, а рядом, на соседнем острове: первая городская площадь, сотворенная решительной царской рукой, и две изначальных улицы, Дворянская и Посадская — на одной из которых я, так уж вышло, теперь живу), город взял да и перемахнул на левый. Ну и как прикажете разрастаться, если между двумя берегами нет и не предвидится (по крайней мере, в обозримой перспективе) никаких, даже «плавающих», мостов, а курсируют утлые суденышки, всевозможные боты и ботики, челны и челноки?

Человек, вырванный из привычной комфортной среды, пересаженный в эту, чуждую для него, болотистую почву, и сам подобен дереву или кусту. Он будет чахнуть,

да еще и не факт, что выживет, во всяком случае, без ущерба для здоровья — морального и физического. А тем более в те давние (три века назад) времена, когда Петербург — все еще город без истории, без опоры на род и семейную традицию, куда не столько переезжают, сколько приезжают: все, от вельможи до распоследнего лакея. Да не как в Москву — разогнать тоску, а с какой-нибудь далеко идущей практической целью (город — средство). И достигнув (а чаще не достигнув) этой своей цели, уезжают обратно — умирать, так и не догадавшись, что угодили не в новую имперскую столицу, и даже не в европейский город — перепрыгивая с болотной кочки на кочку, Петербург до матушки-Европы еще долго не дотягивал, — а в город как таковой. В идею города: абстрактную, сродни платоновской, но одновременно еще какую конкретную — своего рода полигон (первый и единственный на всем пространстве средневековой России), где новая, городская, цивилизация, идущая в ногу с большим — не «остатним», а остальным — миром, рождается не вдруг, а постепенно, век за веком, в расчете на то, что еще долго ее придется доводить до ума. Под каждой страницей «петербургского текста» — муки деревенской роженицы, дающей жизнь этому горластому младенцу. И потом с тревогой наблюдавшей, как он рос, строился, менялся — без оглядки на муки и страдания тех, кто его населял.

Понадобилась целая череда поколений, чтобы вывести генетически модифицированный тип человека¹, эдакого homo petersburgus'a, для которого здешнее «нечеловеческое» пространство — живая, естественная среда. Под тиглем, где варился этот новый хомо-гомункулус, пылал

¹ Ближайшая аналогия: стратегия советской власти по выведению своего собственного генетически модифицированного человека, homo soveticus'a — по видимости столь же эффективная, а на деле давшая противоположный, по сути и смыслу, результат.

огонь истории, то ярко вспыхивая, то почти угасая — в зависимости от того, какой алхимик над ним колдовал и какой повар выплескивал из этой емкости ее готовое, только-только и едва-едва отстоявшееся содержимое, чтобы, пошуровав железным половником по российским провинциям и зачерпнув чего погуще, плюхнуть этой донной густоты в полуопустевшую выварку — и так раз за разом. Множество раз.

Стоит ли удивляться, что иной среды мы не знаем, да и не хотим знать. Мы, с кем история, городская повивальная бабка, разделялась, не кривя душой, решительно и прямо, на всякую кривизну глядим недоверчиво, недоумевая: куда она может завести?

Душа петербургского человека, вдоль и поперек расчерченная прямыми, строго по линейке, линиями, порхает над решетками рек и каналов, не слишком разбирая, что там внизу: вода или земная твердь. Ведь это сегодня она твердь, а уже завтра, если боги здешних, ингерманландских, мест прогневаются, ее может размыть. Как станцию метро «Площадь Мужества», под которой — как ни старались инженеры, как ни укрепляли опасные грунты, замораживая их сжиженным азотом, — все равно разверзлись подземные хляби. А то еще неожиданно-негаданным наводнением — если прорвет вдруг дамбу, и ветер, западный, дующий с залива, примется гладить невские воды против шерсти, и они час от часу станут набухать, пока не сольются со свинцовым небом, а потом, по радио, начнут объявлять контрольные цифры, и все будут к ним прислушиваться и сравнивать с уровнем ординара, надеясь, что до катастрофических трех метров на этот раз не доберется — но уже чувствуя, как где-то там, в глубине души шевелится, готовясь вырваться наружу, гибельный восторг.

Впервые я ощутила его в третьем классе, когда нам (голосом школьного радио) объявили, что никого не выпустят до тех пор, пока вода не отступит и за нами не придут:

бабушки, дедушки, родители, от которых нас отрезало наводнением, темной водой канала Круштейна. И потом, собравшись у окон, мы смотрели, как вода, став — в первые часы — вровень с набережной, перекачивается за чугунную решетку, и под слоем воды, покрывшей проезжую часть и уже подбирающейся к стенам, шевелятся чугунные крышки люков, словно готовятся всплыть и закачаться на волнах, а между ними, нисколько не боясь и даже бравируя, несется одинокий мотоциклист, взрезая и разбрасывая водяные пласты широким, веселящим душу, веером, и его мотоцикл ревет, как вырвавшийся из неволи зверь.

С высокого этажа моих нынешних лет этот бесшабашный парень видится мне нарочным, посланным к противнику с ультимативным требованием: не зариться на чужое, закатать свою Невскую губу.

VIII

Сколько раз еще во времена СССР я, приезжая хоть в российскую провинцию, хоть в национальную республику, слышала осторожный, обращенный ко мне, вопрос: а вы откуда, из Москвы? И отвечая: из Ленинграда, видела облегчение и жалостливую радость. Жалостливую — потому что блокада; облегчение — потому что власть: тяжкая, сверхприродная, бесчеловечная, перед которой все, кроме жителей столицы, равны.

Этот, один из главных признаков «столичного текста», в советское время отошел к Москве¹. В лицах *иных* москви-

¹ Чему я несомненно рада. Сохрани Ленинград столичную функцию, тут бы и камня на камне не оставили. Безусловной радости мешают два обстоятельства. Первое: метро — в глубоких (глубже, чем московские) шахтах ленинградцы могли бы прятаться от бомбежек и обстрелов. Другое и главное: блокада. Думая об этом, я, словно воочию, вижу свежие сибирские дивизии, вот они идут, печатая шаг, по Дворцовой площади 7 ноября 1941-го — и дальше, по Невскому про-

чей его знаки проступали так же явственно, как значок доллара в глазах карикатурных, из «Огонька» или «Крокодила», уолл-стритовских воротил. (Надо ли объяснять, что с «нормальными» москвичами — а тем более урожденными, потомственными, не меньше нашего страдавшими под приглядом Софьи Власьевны, — это соотносится примерно так же, как образ Роди Раскольников, прячущего топор за пазухой, или Ивана Карамазова, что ни ночь беседующего с чертом, — с «нормальными» жителями Петербурга.) Хотя дело тут не столько в богатстве — в этом, якобы общем, пироге, от которого нам, ленинградцам, доставались ломтики, тонкие, как ущербный серпик над Петроградской, или, спускаясь с небес на землю, как полумесяц над Соборной мечетью, рядом с которой я теперь живу, — сколько в другом, нематериальном: как, например, звание города-героя, которое Москва себе присвоила, надеясь встать с Ленинградом в один трагический ряд.

Еще одно, хрестоматийное, — язык. Есть множество слов и выражений, отличающих Москву от Петербурга. Все эти пресловутые «булки хлеба» (мимо булочных с одноименным названием — на всякий случай забранным в иронические кавычки — не я одна, многие, с кем мы перекинулись по этому поводу недобрым словом, проходим с неприязненным недоумением: и с чего это им вздумалось к нам сюда лезть), бордюры-поребрики и прочие гречи-гречки и курицы-куры. Но все они тушуются перед главным словом, точнее говоря, выражением: «завоевать Москву» — так говорят (а главное, делают) энергичные провинциалы. В их число я охотно включаю и бывших ленинградцев.

спекту, до линии обороны, чтобы, встав на этом смертельном рубеже, врывшись в мерзлую землю, уже через месяц, 5 декабря (сотни тысяч горожан еще не умерли, они живы), перейти в решающее контрнаступление и, начиная с этой минуты, гнать вражеские войска прочь — от ленинградского рубежа.

Применительно к Петербургу это выражение — нонсенс, оксюморон. «Завоевать Петербург» нельзя. С ним, с его генетическим кодом, можно только совпасть. Несовпадение чревато: творческим бесплодием, гражданской гибелью, тоской и унынием, от которых единственное спасение — уехать, к себе, на свою малую родину. Либо, махнув рукой на все прежние мечты и надежды, тихо доживать. Все иные «завоевания» — иллюзия. Их судьба — раствориться, сорваться, сдернуться, кануть в Лету. Одним словом, *исполнить собою* то самое эсхатологическое пророчество, согласно которому Петербург должен рано или поздно исчезнуть — не то погрузиться в смрадное болото, не то улететь к черту на рога, сорвавшись с торцов.

Теперь, когда я смотрю на город даже не с этажа, а с холма своей долгой — день за днем иссякающей — жизни, я жалею, что бежала из Ротонды, не воспользовалась единственным дарованным мне случаем, чтобы вступить в прямой диалог с создателями «петербургского текста», который, как полагают многие авторитетные исследователи, умер. Погиб. И отходная по нему давным-давно прочитана. А с другой стороны, что я могла им рассказать? Разве что поделиться своими смутными (по тому времени) догадками: о том, что сам этот текст — предвосхищение «нашей», ленинградской истории, которая выплеталась на тех же трагических коклюшках.

Думаю, они, пребывающие в вечности, и сами это знали. Но испытывали меня прежде, чем привлечь на свою сторону, сделать своим верным союзником.

С этих пор утекло немало невской воды, которую я, в память о той нашей встрече-невстрече, пропускала сквозь пальцы, задаваясь вопросом: кто мы, жители Ленинграда, и какие узы связывают нас с теми, кто жил в этом городе до нас?

Толчком к ответу послужило одно, казалось бы, случайное обстоятельство. Дом моей тогдашней школьной подруги пошел на капремонт. В те далекие времена (перенесемся мыслью в 1970-е) жильцам предоставлялось право выбора: переехать в новостройку, куда-нибудь к черту на кулички, либо перемогаться года три-четыре — а меньше никак не получалось, — где-нибудь поблизости, в квартире-трещине. Такие убитые квартиры — обыкновенно в подвальных этажах, где от земли тянет сыростью и водятся крысы, — назывались «временный фонд».

Вот и семья моей подруги переехала с набережной канала Круштейна на берег Пряжки (где за узкой водной полосой, припахивающей густой илистой гнилью, стоял — почти напротив ее временного дома — другой: желтый, куда угодил незабвенный Коля, мамин личный фотограф-кавалер). В те годы — подозреваю, что и сейчас, хотя утверждать не берусь, давно в тех краях не бывала — район Пряжки выглядел диковато. Полуосыпавшиеся, с проплешинами выкрошившейся штукатурки фасады, от крыш до подвалов покрытые вековыми потеками; трещины на асфальте, словно лопнувшем по всем швам; низкие, будто приплюснутые подворотни, испещренные следами наскальных усилий местной шпаны и шантрапы.

Но сам берег реки (не набережная, а именно берег, поросший травой и кустами) оставался прежним, каким он и был в начале века, когда здесь, на углу Офицерской (позже переименованной в Декабристов: по ней мы с бабушкой, случалось, гуляли, но не доходя до Пряжки), — жил Александр Блок.

От Союза Связи до этих мест, почти не затронутых советскими новшествами и новоделами (едва ли не единственный — ДК им. Первой Пятилетки, образец не то конструктивизма, не то сталинского ампира, тут источники расходятся и мнения разнятся), ходили автобусы. Вид, открывавшийся из автобусного окна, позволял с легкостью

перенестись в дореволюционное, но по сию пору живое и почти что подлинное прошлое, где все оставалось прежнему: аптека (на повороте к Театральной площади), улица, фонарь. Вдобавок ко всему здешние фонари, надвинув колпаки на глаза, светили таким тусклым неверным светом, словно у них под колпаками попыхивают газовые рожки.

Пробегая мимо угловой парадной, я всякий раз ощущала сквознячок времени — не в переносном, а в самом что ни есть явленном смысле, когда *что-то*, чему ты не знаешь названия, касается щеки. Мне хватало силы воображения, чтобы сквозь туманную дымку, курящуюся над водами Пряжки и затягивающую окрестности полупрозрачным, хотя и мрачноватым флёром, различить тонкие черты знакомого по фотографиям из школьных учебников лица. Рядом с ним, идущим мне навстречу, все местные лица тушевались, словно уходили в тень. Тень неизбывного прошлого делала их — наше — присутствие неуместным, будто мы, пользуясь сомнительным правом настоящего времени, вторглись в другую, но в сравнении с нашей, эфемерной, — подлинную жизнь. Это ощущение себя — лишней я с тех пор испытывала не раз и не два.

Особенно оно обостряется, если хозяева мемориальной квартиры, в которой я оказалась, не просто жили (как Шаляпин или, положим, Римский-Корсаков), а здесь, в этих комнатах, страдали, угодив в советские жернова. Волны их незаслуженных, ни на чем кроме властного безумия не основанных страданий накрывают меня с головой. Всякий раз, выбираясь на берег, с которого советская власть видится болотом, исходящим гнилыми пузырями, я чувствую глухой стыд: за то, что родилась в другое время. За то, что ничем не могу им помочь.

И потом, вернувшись домой, я стараюсь не встречаться глазами с привычными предметами, вроде четырех-

створчатого (медный сплав, литье, выемчатая эмаль; сюжеты двенадесятих праздников) складня, украшающего мою книжную полку, — ведь это его двойника я видела в квартире Ахматовой; или бульотки, маленького петербургского «самовара» с двумя львиноголовыми ручками, сливным краником и расположенной под днищем спиртовкой — такая же точно стоит в комнате Блока.

Они, эти вещи, пришедшие ко мне из прошлого, делают петербургское время пронизываемым: я и здесь, и там. Не представляю, что *такого* может случиться, чтобы я, временный хранитель, решила отдать их в чужие руки. Отказаться от них. Продать. Да какое там! — предать.

Привыкая к замысловатым играм здешнего пространства, рано или поздно приходишь к мысли: как блаженная душа Августина родилась христианкой задолго до христианства, так и наши становятся петербургскими задолго до появления на свет.

А уходя, остаются ленинградскими, потому что привыкли жить в городе, где едва ли не в каждой квартире кто-то умирал с голоду, где сами стены (сколько ни обляпывай их наипрочнейшей штукатуркой, ни ровняй гипскартоном, ни оклеивай новомодными итальянскими обоями) пропитаны голодной мукой и — один шаг вниз по иерархии страданий — муками тех, кто, пережив, переболев смертное время, уехал в эвакуацию годом-двумя позже, но так и не сумел вернуться.

И уж если по справедливости, все эти комнаты, кухни и прихожие, которые мы опрометчиво называем своей юридически неотторжимой собственностью, принадлежат не только нам. В координатах блокадной истории мы — маленькие валтасары, не ведающие того, что однажды может проступить на наших стенах: *мене, текел, упарсин* — начертанное таинственной рукой. И речь уже не о царстве. Ведь в переводе с арамейского на ленинградский это будет означать: исчислил Бог собственность

твою; она взвешена на весах и найдена легкой; разделено жилье твое между *ними* и тобой.

Порой все случается буднично. Звонок в дверь. Ты открываешь и видишь старика. Рядом с ним женщина — твоих, средних, лет. Старик стоит молча, опираясь о ее руку. Говорит она. Вы уж простите, мы приехали издалека, отец, мальчиком, жил здесь в блокаду, в сорок четвертом они уехали, но так и не вернулись, он просил, давно, но все как-то не получалось, знаете, как бывает, то денег нет, то времени... Она замолкает, чтобы дать тебе время — понять и растерянно отступить в сторону, старясь сдержать слезы, радуясь, что тебе ничего не стоит сделать по его слову, воплотить то, о чем он всю свою жизнь мечтал. Он идет, больше не опираясь, переходит из комнаты в комнату. Ты — следом, бормоча: простите, тут все по-другому, ремонт, двери, окна... «Нет, — его пальцы дрожат, когда он кладет руку на стену. — Все осталось как было. Можно умирать. — А уходя, уже в дверях, не по-стариковски твердо: — Спасибо вам».

И все пророчества о Неве как о Стиксе, Коците и Ахеронте сходятся в одной-единственной точке, в которой ты стоишь и смотришь ему вслед.

Потому нам и внятен этот город, опровергнувший мифы о своей неминуемой гибели; город-текст и одновременно механизм, порождающий тексты, в котором история и литература вертятся как две белки в одном — временном — колесе; город, где из-под каждой частной, человеческой судьбы проступают скрижали мироздания; город, не в мечтах своего венценосного демиурга, а всем своим существом свершивший решительный поворот к Европе, невыносимый для советского средневекового сознания; город, не понаслышке знающий жизнь во вражеском окружении. Он — прямой наследник крепости Орешек, никому не по зубам. Уж как гнобили его ларвы, пытали до

подноготной, вздергивали на дыбу, катали за жирными ждановско-романовскими щеками — а ядрышко-то, не-е-ет, не разгрызть.

Правда в том, что, втемяшившись в наши петербургские мозги всей своей ленинградской историей, он сам обеспечил себя защитниками, готовыми кинуться ему на выручку по первому зову. В этом же ряду и спасенный от прожорливого советского времени шкаф — мой скромный вклад в непрерывность городской жизни; и наша общая озабоченность колером какого-нибудь свежеотремонтированного фасада: казалось бы, нам в этом доме ведь не жить, а между тем, проходя мимо, мы косимся ревниво: ленинградский или не ленинградский вышел цвет (на самом-то деле петербургский, екатерининский, два века назад введенный в обиход указом императрицы и с этих пор распространившийся на всю ширину желтоватого с легкими примесями спектра, чьи мыслимые и немыслимые оттенки, собственно, и создают знаменитый «эффект сияния», когда дом излучает тихий и несказанный свет даже в пасмурную погоду, а тем более в пору белых ночей); и боль от сгоревшей колесницы над аркой Главного штаба: каков процент медной обшивки, затронутый пожаром, и совместим ли он с жизнью? — вопрос, над которым мы ломаем голову, будто речь не о скульптурной композиции, а о живом и беззащитном теле — близком, родном.

Это раньше (если верить «петербургскому тексту») город существовал не для людей, а сам по себе. Так, как его строили: холодным inferнальным пространством, где человек — щепка, чья судьба в лучшем случае плыть по течению, по воле невских волн, а в худшем — лететь заодно с другими щепками во исполнение приказа рубить лес. Это историческое безволие закончилось: на нас, на нашей памяти, на нашем, послеблокадном, поколении.

Теперь здесь все родное и беззащитное. Требующее нашего постоянного присутствия и догляда. Стоит нам, его

хранителям, отвернуться, и варвары — вот они, тут как тут. С ломами, кирками, лопатами, со своими обрюзгими душами. Им, пришлым, только дай волю...

Город сам следит за тем, чтобы новые жители превращались в его преданных адептов. И не прощает измены: предавший его, считай, пропал. И никакой государственный бог (сухая деревенщина) ему, предавшему, уже ничем не поможет.

Утверждаю: «мы» и «они» служим разным богам. Иначе говоря, относимся к разным цивилизациям. «Мы» — к городской.

Чужаки (речь не о гостях; и не о тех, кто, родившись в любом другом городе или деревне, поменял состав своей «крови», став ленинградцем; и даже не о тех, кто хотя бы встал на этот трудный и извилистый путь исторического исправления) — слышат звон «петербургской колокольни», но, как ни вертят головами, не знают, понятия не имеют, где он. «Их» я узнаю по невидимой усмешке на губах, когда ими же заводится дело о жизни или смерти какого-нибудь петербургского дома; по склонности к пустой риторике «о дальнейшей судьбе нашего великого города»: ах, как же им было бы приятно и сподручно, если бы он и вправду стал глухой провинцией — им, варварам, под стать.

Присваивая почетное звание хранителя, я отдаю себе отчет в том, что совершаю психологический перенос. На самом-то деле Петербург хранит меня.

Доказательство этому я получила, вернувшись из второй в моей жизни эвакуации, когда, унося ноги с Комендантского аэродрома (районы спальной застройки — не Петербург), а точнее, из неудавшейся семейной жизни, сняла квартиру на углу Маяковской, от Невского проспекта в каких-нибудь двадцати шагах. Эта бывшая дворницкая или, попросту, трущоба — с подобием кухни, втиснутой в уголок прихожей, душем в туалете и подоконниками

вровень с асфальтом — меня спасла. Много месяцев маяв-
шаяся тревожной бессонницей, здесь я в первую же ночь
заснула сном младенца: под защитой своего города, под
его покровом, непроницаемым для страхов, мучений
и бед.

В любую темную подворотню или подслеповатую па-
радную я вхожу без тени страха: здесь, в этом городе, на
этом пятачке вселенной, мой страх не отбрасывает тень.
Будто это не город-левиафан, сколько раз ломавший и пе-
ремалывавший человеческие кости, — и отродясь им не
был; и не город как таковой, имеющий свои явные и тай-
ные пороки. Даже мокрый, скользкий, промозглый (в ноя-
бре¹) или заваленный январским снегом, он умеет обве-
сти меня вокруг пальца, блеснув такой запредельной кра-
сотой, пред которой меркнут любые обвинения. Что уж
говорить о поре белых ночей. Под их прозрачно-призрач-
ным покровом перехватывает горло и сбивается дыхание
так, словно нет на свете ничего важнее и значительнее —
ничего во веки веков оправданнее — этих подпыленных,
подточенных городскими миазмами, домов.

Дворцы, соборы, церкви, театры, библиотеки — все,
что в иных широтах называется «объектами недвижимо-
сти», здесь вечно живое и подвижное, меняющее (в зави-
симости от времени года или дня и ночи) все, что только
можно себе представить: от абриса-контура до выраже-
ния фасада-лица. И уж если на то пошло, единственным
завоеванием «пролетарской революции» — большевист-
ского переворота, лишившего мою прабабушку ее юриди-
чески оформленной собственности, — я считаю передел
всей «царской недвижимости» в пользу горожан. Нам, ро-
дившимся в убогих коммуналках, эти «царские палаты»
достались в неоспоримое наследство, и потому (говорю

¹ Кстати, в Петербурге случаются и солнечные дни, хотя жители дру-
гих городов в этом сомневаются, а москвичи так просто не верят.

для сведения борзых и ушлых, полагающих, будто все это местный фольклор, безобидные городские чудачества) здесь царедворцы — мы. И своего не отдадим.

В многослойном (хочется сказать: блинчатом) пироге «петербургского текста» один из первых, едва ли не самых вкусных слоев: тема декораций, а если взять шире — театральности. Еще Астольф де Кюстин, перефразируя известное высказывание итальянца Ф. Альгаротти, называл жителей Петербурга «ордой калмыков, разбивших стан среди декораций античных храмов». Де Кюстину вторит Меттерних: «Россия подобна большой и роскошной театральной декорации, выстроенной в виду Европы; но с нашего места можно увидеть, как работают механизмы за кулисами, и понять, что сработаны они очень скверно». Не в укор уважаемым иностранным авторам — некоторые наши механизмы работают как часы.

Притом что сами часы, часы как таковые, положим, на башне ратуши — в европейской традиции исполняющие роль городского символа, — у нас не прижились. Здесь у нас время отмеряется выстрелами. Советское жажнуло холостым, из шестидюймового калибра. Быть может, в память об этом — холостом, потерянном для страны, семь десятилетий перебогавшемся — времени мы, слышав полуденный выстрел с бастиона Петропавловки, всякий раз вздрагиваем и нервно вздерживаем рукав.

Петербург — не город, а жизненная стратегия. Стратегия независимости. Другое дело, что каждый из нас доходил до нее своим умом и путем.

XI

Как ни странно это прозвучит, но для меня первым шагом на этом пути стало портновское ремесло. Хотя почему странно? Когда стратегия выбрана правильно, каждое тактическое лыко встает в строку.

А тем более здесь, на петербургских подмостках, где каждому театральному сезону приличествует особый костюм. Осенью это может быть, скажем, прямое с подкладными плечами пальто, дополненное шляпой, с моей точки зрения, предпочтительно мужской. Мне было лет двадцать пять, когда я, как иные кошку или собаку, завела себе коричневую, фетровую, с легкой вмятиной на тулье.

Зимой наши шляпы живут в шкафу. (На свет являются толстые шапки и шарфы крупной вязки — от здешних, с Финского залива, ветров мелкая вязка не спасает. Но в этом есть и преимущество: толстую крученую шерсть вязать легко.) Проведя долгие зимние месяцы на верхней полке, наши шляпы запылятся. Хуже того — их побьет

моль. В старых ленинградских шкафах ей, прожорливой, раздолье. Стоит зазеваться, не проложить мешочками с лавандой, она уж тут как тут.

Весна заставляет задуматься о лете. У нас оно коротко, но тем ответственней следует подходить к выбору театрального костюма: пусть на один-два выхода, но в шкафу должен висеть сарафан. Эти сарафаны, сшитые вперед на годы и годы, заставляют пожалеть о выборе, который сделал за нас император Петр. А ведь была, была у него мысль основать столицу где-нибудь там, на юге... Но не верьте этим лживым ламентациям. Ни за какие погодные коврижки мы не променяем свои родные болота на жаркий и сухой Таганрог.

Умением шить я обязана маме. Ее решению, которое, приглядевшись, как я, раз за разом, все ближе подбираюсь к швейной машинке, она для себя (и за меня) приняла: «Хочешь одеваться — шей сама»¹.

Сказано — сделано. Меня снабдили дешевым лоскутом — такие куски-разномерки отечественной ткани, отмеченные явным брачком (когда по краю, а когда и по основной глади) и по этой причине не пропущенные бдительным фабричным ОТК, продавались в специальных магазинах с существенной скидкой от первоначальной цены. А поскольку скидок как таковых плановая советская торговля не предусматривала — видимо, чуя в них буржуазное баловство, которое, только дай слабину, не доведет до добра, — называлось это «уценкой»: не путать с «усуш-

¹ Во времена моей юности это понятие было оценочным: *одеваться* — означало не вообще, например, утром, собираясь в школу, а *хорошо*. Не столько дорого, сколько красиво и со вкусом. Дорогим оно станет позже, когда в жизнь советских людей войдут сертификаты (эвфемизм иностранной валюты), магазины «Березка» и прочие закутки и «галереи», где все продавалось-покупалось втридорога. Как тогда говорили: с рук.

кой» и «утруской», посредством которых рядовые торгового фронта, закаленные в боях с покупателями, исправно перекаладывали отбитые у противника трофеи из государственного кармана в свой. Что уж говорить о тыловиках, пребывавших в верхних торговых чинах, — там работали такие механизмы, перед которыми и сам Меттерних пристыженно снял бы шляпу, беря свои слова назад.

Что касается иных механизмов, рубеж шестидесятых–семидесятых был полон противоречий. После «Чехословакии» власть закручивала гайки, еще не ведая, что уже через пятнадцать лет — для истории срок ничтожный — сорвет-таки резьбу. Однако в другом, житейском смысле, к примеру, в области моды (для тринадцатилетней девчонки эта область — политики важней), наметились явные послабления.

В прежние годы мода диктовала жесткие условия: юбка солнце-клеш — всем надеть юбку! Рукав-фонарик — ать-два, все как одна! Прическа «венчик мира» — хочешь слыть красавицей, не зевай, накручивай. Рецидивы, как водится, случались. Взять тот же пресловутый «сессón» или «сассún» — кто как произносил. Впрочем, у нас, в отличие от французского подлинника, предлагавшего какие-никакие степени свободы, он бытовал в единственной форме. И все-таки — я пытаюсь обозначить историческую тенденцию — модницы начала семидесятых чувствовали себя вправе шагать слегка не в ногу. Что, в свою очередь, не могло не отразиться на деятельности доморощенных портних.

Раньше проблема «правильной» — одной на всех — выкройки решалась элементарно: их передавали из рук в руки (как стихи или романсы, которые можно позаимствовать из альбома подруги; или, переноса сам базовый принцип на почву более близких мне аналогий: как слепенькую самиздатскую копию — под честное слово и на

одну ночь¹). В новых исторических условиях выкройки полагалось *строить*.

Дело, однако, осложнялось тем, что в советской швейной отрасли орудовали свои отъявленные методисты, чьи представления о «построении выкроек» сформировались, как я догадываюсь, еще до войны. Своим, тогда еще неопытным шилом я хватанула этой патоки на школьных уроках домоводства.

Делалось это примерно так. Сперва снять с себя многочисленные мерки. Потом долго и нудно — держа в голове безумные формулы: ОБ (окружность бедер) плюс 3,5 см минус 1,8 см, — что-то вычерчивать на куске миллиметровой бумаги, соединяя ТВЖ (точку выступа живота) с БТТ (боковой точкой талии), потом еще что-то с чем-то — и только потом кроить. Это как если бы (объяснение для современных продвинутых девушек) пользователю, вознамерившемуся скачать на свой айфон какое-нибудь приложение, предложили разработать его самостоятельно — типа с нуля.

Результат, во всяком случае, выходил сопоставимый: на боку морщило, на талии подхватывало, сгибы бантовой складки благополучно распадались, ее уголки вздергивало — в общем, вид готового изделия, мягко говоря, *оставлял желать*.

Сунувшись в старые мамины тетрадки еще со швейных курсов (самой записаться на курсы — такая мысль мелькнула, но что-то во мне противилось), я обнаружила специальный раздел: «Посадка изделия по фигуре» — где, под прикрытием вполне резонных соображений, дескать, «у каждого человека есть свои, индивидуальные, особен-

¹ Через мои руки их прошло немало. Были и те, что я перепечатывала собственноручно. В восьмидесятых, понимая, чем это может мне грозить, я радовалась, что освоила портновское ремесло: если все-таки посадят, буду обшивать жен тюремщиков — и тем спасусь.

ности», давались «добрые» советы, каким образом изделие следует *доводить*. «Проще всего на манекене». Идея завести в доме безголового болвана, в точности повторяющего мои мерки, меня не слишком вдохновляла: во-первых, где его взять? И что прикажете делать, когда через год-два мои мерки наверняка изменятся, — волочь болвана на помойку? Ладно бы — один раз. А потом?.. Осознав грустную перспективу: унылый ряд одноногих чучел, обсиженных помойными голубями, — являясь мне во снах, они качали бы невидимыми головами: «На кого ты нас, бедных-беззответных, променяла...»; или того хуже: глядели бы с немим укором — этот методический совет я решительно отмела.

Первое изделие (платье из сухой и колкой полушерсти с «восточными огурцами» — выкройку я не строила, воспользовалась готовой из московского «Журнала мод») на мне доводила мама. С каждым уколом портновской булавкой (ритуал доводки эту неприятность, увы, предусматривает) мой энтузиазм все заметней сдувался, ни дать ни взять первомайский шарик. Боюсь, рано или поздно он и вовсе бы лопнул. Но, на мое счастье, волна очередного *детанта*, разрядки международной напряженности, прибила к советскому берегу гэдээровский «PRAMO». (Почему гэдээровский, а, скажем, не фээргэшный — не спрашивайте.) Он-то и сдвинул мои швейные университеты с мертвой точки.

Даже беглое сравнение «нашей» и «их» методик позволяло выявить разительное отличие. «Мы», предлагая шьющей публике ту или иную модель, снабжали ее выкройкой в одном, максимум в двух размерах. Тем, чья фигура не отвечала требованиям, заявленным в примечаниях к картинке, приходилось либо вовсе отказаться от своего выбора, либо увеличивать/уменьшать — хочешь, на глазок, при доводке; хочешь, заранее, руководствуясь расчетными формулами: см. выше.

Шкала «их» исходных размеров была существенно шире. Еще: выбирая «нашу» выкройку, портниха морально готовилась к тому, что ее собственный, положим, 46-й, в другой раз окажется «сорок восьмым-пятидесятым» (такая же в точности неразбериха царила и в отделах готового платья, со временем породив нашу уникальную, отдающую истинно духовным величием, маркировку размеров: «сорок шестой на сорок восьмой», но чаще наоборот: «пятьдесят второй на сорок восьмой» — что мы и слышали из уст утомленных жизнью продавщиц¹). Выбрав «РАМО», о таких нежданно-негаданных подлянках можно было забыть: если оказывалось, что ваш «тридцать восьмой» — по европейской, что само по себе приятно, градации — жмет или врезается, неча пенять на выкройку, а, воспользовавшись бессмертным рецептом Майи Плисецкой, надо «прекратить жрать».

Наконец, сами картинки: в «Журнале мод» какие-то вечно тусклые. Не чета общественно-политическому «Огоньку», чьи роскошные цветные иллюстрации с распатроненных вкладок, вырезанные и приклеенные к стенке, — едва ли не единственный (и уж точно самый распространенный) способ внести в жизнь «простого советского человека» хотя бы малую толику «красоты».

¹ В фабричных условиях это более-менее понятно: премии-то начислялись не за точность заявленных на ярлычке параметров — покупатель, не будь дурак, примерит, — а за более важные достижения, вроде фактической экономии расхода ткани по сравнению с плановой. А если учесть, что выбор тканей и фасонов осуществляли те же самые, упомянутые выше, методисты, неудивительно, что горожанки фабричных изделий не носили. Во всяком случае, те из нас, кто следили за модой и хотели *выглядеть прилично*. Советская легкая промышленность обшивала в основном «провинциальных дам». Не знаю, как там все остальные «разрывы между городом и деревней» (о преодолении которых советская власть трындела до последнего предсмертного хрипа), этот с годами только ширился. В семидесятых он уже походил на пропасть. Те, кто *это* носили, словно застряли в шестидесятых.

Впрочем, тусклость обуславливалась не только качеством печати, но и тем, что модели, представленные в «нашем» модном журнале, отшивались из недорогих отечественных тканей: еще один непреложный принцип.

Единственный минус — язык. «PRAMO» издавался на немецком. Но, согласитесь, куда легче пополнить свой швейный тезаурус несколькими базовыми понятиями: Rock, Hose, Falte, Abnäher, Ärmel,— нежели становиться заложником советских выкроек, живущих своей трудной жизнью.

Решив (как мне казалось, окончательно) проблему раскроя, оставалось нарабатывать портновские навыки. В этом отношении советская швейная промышленность давала нам, ее доморощенным конкурентам, сто очков вперед: словно в насмешку над здравым смыслом, изделия, сходившие с ее конвейеров, — нужды нет, что «сидели» как на корове седло, — были «отшиты» безупречно: здесь вам и ровные, точно по линейке, строчки; и оверлочная обработка деталей; и клеевой флизелин для придания жесткости всей конструкции (этой невидали в свободную продажу вообще не поступало, но мы и тут вывернулись — заменили доступными суррогатами вроде одноразовых нетканых скатертей); я уж молчу про пуговицы и нитки, подобранные тон в тон.

В общем, блестящий пример «правильной» тактики при абсолютно ложной стратегии.

Но делать нечего. Оставалось покрепче сжать зубы и, призвав из генетических недр все свое «крестьянское» терпение, выступить на сем ристалище с гордо поднятым забралом — хоть и без коня.

Свой конек-горбунок, способный творить чудеса, появился в моей домашней конюшне много позже, когда мне в руки попал западногерманский журнал «BURDA». От «PRAMO» его отличало не только качество выкроек —

с нашими и не сравниваю, — но и подробные инструкции к каждой модели. То, что называется: технология пошива. Впрочем, в ту пору я глядела на них как баран на новые ворота: око-то видит, да русский зуб неймет. (В русском варианте и в розничной продаже он появился в 1989-м, став для меня своего рода «столичными курсами»: водя указательным пальцем по бúrдовским пошаговым инструкциям, я с того времени и шью.)

А пока, заручившись мамиными профессиональными консультациями и ее готовностью стать моим личным ОТК, я приступила к делу, результаты которого на нашем семейном производстве оценивались строго по двухбалльной системе: одобрительный кивок, если работа принимается, либо — не в пример чаще — мамино излюбленное словечко: *криванда*.

Не скажу, что я не бунтовала. Распарывая — хорошо, если по второму, а бывало, и по пятому разу — какую-нибудь строчку (нет бы идти прямо, по линеечке, ведь так и норовила скакнуть козлом); а то еще правый рукав, что ему мешало взять пример с левого — как-то же он, левый, исхитрился, сел по-человечески, кругленько и без заломов; а этот, только его и ждали, уголок лацкана — вынь да положь ему перекаат в полтора миллиметра (с перекаатом-то и дурак ляжет, а ты попробуй — без). Тут хочешь не хочешь, да взбунтуешься: все, хватит! Попили-де моей кровушки, и так сойдет. На что мама, наперед зная, чем все закончится, поджимала губы и бросала делано-равнодушным тоном: «Не хочешь, не переделывай», а нахальный уголок лацкана еще и подъялдыкивал: ну, подумаешь, задираюсь, а ты утюжком меня, утюжком — хотя, урод тряпошный, не хуже моего знал: с ним, полушерстяным, этот номер с утюгом не пройдет.

Года через два, продув вчистую по некоторым, с моей любительской точки зрения, второстепенным позициям

(в частности, там, где без оверлока далеко не усклчешь), я стабильно выигрывала в главном. В том, что называется: «общий вид».

Не следует сбрасывать со счетов и то, что от момента выбора модели до «внедрения ее в производство» у меня проходила в худшем случае неделя — а бывало, что и пара дней. В то время как они, мои тогдашние вандербильди-хи, маялись годами, разрабатывая технические задания, эскизные проекты и прочие рабочие чертежи основных и вспомогательных лекал модельной конструкции, чтобы на выходе получить готовое изделие, более-менее отвечающее моде, — но, увы, минувших лет.

Постепенно ремесленные несовершенства скрадывались: отстрочки больше не петляли, руликовые петли не изворачивались, обтачные не косили в разные стороны, уголки лацканов и шлиц вели себя достойно, даже борта и те поладили наконец с подбортами — нашли общий язык. Замахиваясь на первое в своей жизни пальто, я пребывала в блаженной уверенности демиурга, которому подвластно все. Главное, правильно выбрать ткань.

Тут «PRAMO» мне помочь не мог. И дело даже не в языке, а в том, что рекомендации «их» дизайнеров давались в расчете на «их» же, немецкие, ткани, модные в текущем сезоне. Не то у нас.

При всей видимости тканевого изобилия, которым встречали нас советские магазины, оно, это ложное изобилие, отвечало разве что самым непритязательным запросам. Уж не знаю, чем руководствовались отечественные технологи, когда выбирали *этого* качества сырье (догадываюсь, что им, пасынкам гонки вооружения, приходилось туго), но за выбор красителей отвечали и вовсе особенные люди, не имевшие ни малейших представлений ни об оттенках, ни о сочетании цветов.

За все эти «шелка» с густой примесью искусственного ацетата; за «шерсть» мертвенных оттенков, гарантиро-

ванно сгоняющих живые краски с любого человеческого лица; за все их ситцы и сатины «веселеньких» — до первой стирки — расцветок (когда вместо блузки или платья вы получаете сущую половую тряпку, с которой — видимо, в насмешку над вашими портновскими стараниями — капает серовато-коричневая водица) — короче говоря, за все эти фокусы руки бы им, умельцам, оборвать.

Не приходится удивляться, что в головах шьющего — самостоятельно либо на заказ — населения выработался и закрепился (на уровне физиологического) базовый рефлекс: дают — бери. В смысле, импортную. В смысле: пока не расхватали.

Привыкнув быть заложником хватательного рефлекса, я не слишком задумывалась о том, что и здесь, на внешнеторговом рубеже (с «нашей» стороны железного, уже основательно подъеденного ржой, занавеса), засели специально обученные методисты. Выполняя свою непыльную работу, они держали в голове не нас, покупательниц, а высокие государственные интересы, суть которых, применительно к импортным закупкам, можно выразить примерно так: во всем, что не способствует дальнейшему процветанию военно-промышленного комплекса, надлежит руководствоваться универсальным «нищенским» принципом: числом поболее, ценою подешевле — в нашем конкретном случае за погонный метр. Из чего, разумеется, не следует, будто этот же самый принцип распространялся и на нас: за каждый метр импортной синтетики (нейлона, полиамида, лавсана и — царя синтетических волокон, полученных в результате вторичной переработки нефти, чье имя, в ушах и душах тогдашних покупательниц, звучало песней: ах, кримплен) мы выкладывали суммы, сопоставимые с уровнем наших среднемесячных зарплат. Но зато не изнашиваются (носи, покуда не обрыдло), и стирать лавсаны-кримплены одно удовольствие, да и сушить легко.

Другое дело, что потом, когда упомянутый занавес, проржавев напроць, развалился, нас, моих шьющих современниц, накрыло таким потоком разнообразнейших тканей, что их замысловатый алфавит (от альфы до омеги — читай: от более или менее понятного «альпака» до загадочных «шанжана» и «эпингеля») пришлось осваивать с нуля, оплачивая свою застарелую безграмотность — вернее сказать: цивилизационное отставание — вопиющими ошибками. Но, боже мой, до чего же трудно сделать единственно верный выбор, когда стоишь — дура душой — перед сотней, тысячей образцов невообразимо прекрасных «тканей Италии». И у тебя разбегаются глаза.

Так я и выбирала — на глаз, на ощупь: покатаь — не пойдет ли катышками, память — не слишком ли мнется, подходит на юбку или только на платье. И этот — как мне тогда казалось, бабушки-Дунин жест: пропустить ткань сквозь пальцы — дававший какую-никакую, но точку опоры, словно возвращал меня в начало века, когда ее брат, Сергей Тимофеевич, отправился в Петербург, где закончил швейные курсы, чтобы потом, вернувшись в деревню, организовать профессиональную, по тем временам передовую, артель.

X

К петербургскому прошлому я обернулась много раньше — когда под днищем моего челнока, везущего клад нашей семейной памяти (ни дать ни взять бочку арестантов), неожиданно-негаданно забили горячие ключи.

Со смертью бабушки обруч, замыкавший тайный блокадный союз моих домашних, дал первую трещину — мама начала потихонечку рассказывать (словно не только я, расширявшая границы своего городского существования, но и она расширяла границы, только не пространства, а времени), захватывая все больше памятных ей подробностей. Парадокс в том, что ее тогдашние — назовем их предварительными — рассказы не складывались в единое целое: чем дальше, тем явственнее они принимали форму законченных, однако не связанных друг с другом новелл. К тому же тональность этих образчиков разговорного жанра оставалась легкой, точно рассказчица ставила перед собой заведомо двойственную задачу: передать по-

томкам как можно больше, но при этом не дать им повода заподозрить, что на самом деле все было далеко не так.

Как нельзя лучше этому способствовали и декорации: воспоминаниям мама предавалась исключительно по праздникам, когда семья собиралась за праздничным столом (подробное, во всех деталях и ароматах, описание советских яств я оставляю до другого случая), так что не приходится удивляться, что эти мамины новеллы, рассказанные в суе, между переменахми блюд, а то и прерываемые лишними в контексте повествования репликами: «Попробуй-ка салат из свеклы» или «Ну что, пора накрывать к чаю», — звучали как нечто, рассказанное *всуге* (в конце концов, *всуге* и *в суе* — ближайшая родня).

То вдруг расскажет про грибы, которые они с Надей и Женей (тети-Настинными дочерьми) собирали на горелых уральских склонах: «Вы и представить себе не можете, сколько же их там было: опять, моховики, белые. Поднимешься в горку — целая поляна. Садись и собирай... А ягоды!.. Запах лесной земляники... Невозможно передать!»; то про козленочка, сынка молочной козы Пики (той самой, что носила не прямые, как приличествует козам, а по-козлиному закрученные рожки): «Маленький, на тонких ножках, стоит, качается, еще чуть-чуть и, кажется, подогнутся. А он как прыгнет! Да высоко, на метр, даже больше, так и передвигался прыжками...»

— А с грибами... Вы их сушили?

— И что с ним стало, вырос?

Весело и охотно поддерживая разговор, мы задавали встречные вопросы, на которые мама отвечала коротко: «Нет, не сушили, ели так»; «Потом его продали», — и переходила к другим новеллам, например, о «Книге о вкусной и здоровой пище», которую перечитывала в первую блокадную зиму: «По этой книге я и научилась готовить», — от раза к разу подмешивая к их бездрожжевому тесту все новых и новых подробностей, однако же, с таким расче-

том, чтобы готовые ковриги не отдавали привкусом горя и горечи; чтобы из них, точно из генетически модифицированных «стволовых клеток», вырастала картина лицевого мира — не дай бог глянуть с изнанки.

Но и то сказать, не станешь же, сидя за праздничным столом и сбивая общее веселье, докапываться до изначальной сути — до которой не так-то и просто докопаться, особенно если, погружаясь в прошлое, рассказчица его не штопает (вверх-вниз, с изнанки на лицо, подхватывая кончиком иглы поперечные нити), а лепит на него цветные латки-заплатки, вот оно и выглядит пестрым лоскутным одеялом, а не цельным, пусть и заштукованным, полотном. Надо признать, что в решении этой лукавой, двойственной, задачи мама добилась подлинной виртуозности, и если бы не прививки бабушкиных сарказмов, думаю, она бы и вовсе преуспела, пряча исторические концы в воду.

Хотя нашей вины я тоже не отрицаю. Точнее, моей: ведь сестру бабушка Дуня не учила штопать. А с другой стороны — ну кто же тогда, в семидесятых-восемидесятых, штопал! Поднять петлю на колготках — еще туда-сюда, но засесть в углу с дырявыми носками — увольте.

Собственно, о Сергее Тимофеевиче, бабушкином родном брате, мама упомянула почти случайно, когда на каком-то повороте памяти неожиданно набрела на их младшую сестру, Анну Тимофеевну, жившую во Внукове, под Москвой.

Услышав про сестру Анну, я вспомнила конверты с внуковским адресом, хранившиеся в бабушкиной ангельской коробке, — эти письма я видела своими глазами, даже спрашивала: от кого? — и бабушка рассказывала про режущие в небе самолеты, на которые Анна жаловалась в письмах, словно они, то взлетающие с военного аэродрома, то идущие на посадку, — единственное, что мешало ей спокойно жить. Держась за эту тонкую ниточку, я вытянула

собранные в горькую щепотку губы, когда, получая письмо от младшей сестры, бабушка всякий раз шептала — не мне, а глядя в окно: «Бедная, бедная Анна...» — но только теперь, когда бабушки не стало, я узнала от мамы, что в пятидесятых-шестидесятых Анна Тимофеевна зарабатывала индпошивом. Будучи великолепной портнихой, обшивала богатых московских артистов — разумеется, тайно, без лицензии, как не подконтрольный государству умелец, всю жизнь проживший в страхе, что соседи на нее донесут.

Тут-то, словно отдавая дань невидимой исторической справедливости, мама и добавила, что первым на этой швейной дороге была вовсе не Анна, а их самый старший брат, Сергей, который, напротив, не таился, вел ремесло на широкую ногу: вернувшись в деревню с золотой медалью закройщика, организовал собственную швейную артель.

Ступив на эту дорогу, мама двинулась дальше, рассказала, что первые годы, пока артель входила в силу, они перебивались случайными заказами, по большей части индивидуальными, но потом, когда дело окрепло и расширилось, «шили на магазин». Точнее сказать, шил его «штат» — все мужчины, человек восемь-десять портных. Сам глава артели кроил. Жили они все вместе, в его доме. Работали от зари до зари. Вещи, сшитые их руками, уходили влёт. «Владельцы магазинов готового платья стояли к ним в очередь. Анна — другая, не сестра, а его жена, бабушкина невестка, — всех их обслуживала: готовила, стирала. Она же ходила за скотиной — накануне Германской в семье уже были две коровы». Тогда же, перед войной, попусту не тратя заработанных тяжким трудом денег, Сергей Тимофеевич вложил их в дело: приобрел импортное оборудование. Самые современные по тем временам швейные машины и станки.

Я слушала и — словно воочию — видела тот счастливый день, когда в ворота горбовского дома въехали скрипучие подводы, груженные неподъемными деревянными

ящиками, в которых это «самое новейшее оборудование» и было доставлено: сперва на поезде из Петербурга до Тве-ри, далее — 170 километров до Калязина, откуда до Горбо-ва уже рукой подать. Передо мной встала и другая карти-на: той же ночью, дождавшись, пока все доставленное на-конец распакуют, Сергей Тимофеевич взялся изучать подробные инструкции, составленные производителями на родном для них языке, но к тому времени переведен-ные на все мировые, чьи носители кроют и шьют.

Знаменитое здание Зингера, где русские толмачи кор-пели над своей переводческой работой, увенчано полу-прозрачным, сияющим в лунном свете глобусом: этот сте-кланный глобус — зримый образ мира, над которым аме-риканские инженеры одержали победу. И весь подлунный мир их техническую победу признал.

С этих пор, заглядывая через плечо Сергея Тимофееви-ча и различая русские буквы, я ему завидовала — жалела о потерянном времени, которое трачу, пытаясь угадать за немецкими словами и терминами то, что он — еще в те, дореволюционные годы — мог с легкостью прочитывать.

Завидовала, поскольку не знала главного, того, о чем мама умолчала: чем это успешное дело закончилось. Для него, для артели, для семьи.

Теперь, когда все немецкие инструкции даны мне в русском переводе, я — раскатывая кальку по листу-вкла-дышу, или снимая чехлы с машин (в распоряжении моей доморощенной артели — где я сама себе и закройщик, и швея, и обслуга — неплохое оборудование: швейный по-луавтомат плюс, отдельно, оверлок), или перенося детали выкройки на ткань: из всего перечисленного «отечествен-ная» одна калька, — гадаю, где была бы российская швей-ная промышленность, если бы ларвы не раскулачили мое-го двоюродного прадеда, чьей стезей (не имея о том ни малейшего понятия) я шла и шла долгие годы, не сворачи-вая с его швейной дороги, будто мне, его двоюродной

правнучке, было на роду написано продолжить его дело. *Завершить* его прекрасное, его умелое и умное — организованное по уму — ремесло.

В том грустном смысле, что никто кроме меня (ни сестра, ни тем более наши дочери) этого ремесла не перенял. А с другой стороны, «завершить» — неподходящее слово. Ведь я работаю на себя и свою семью. А его артель — судя по тому, как решительно он взялся за дело, — рано или поздно должна была расшириться, выйти на промышленный уровень. Встать вровень с задачами, которые диктовало время. Если бы оно двигалось вперед, а не вспять.

Время не обманешь. Оно само обманет. Оно и теперь врет, забивает баки: мол, ничего не упущено, мы еще догоним и перегоним...

В отличие от него, моего двоюродного прадеда, я это понимаю, но все равно иду. Будто это мне, а не ларвам, пустившим под нож всё, на что он ставил, на что в глубине души надеялся, придется отвечать за то, чего он не успел. Что я скажу, когда мы с ним встретимся? Бог не дал мне таланта закройщика, но я, его двоюродная правнучка, старалась, как могла... Быть может, там, на небесных пажитях, где нет ни смерти, ни печалей, ни вздыханий, мы начнем все заново. Организуем домашнюю артель. Он, золотой медалист петербургских швейных курсов, будет у нас закройщиком. А я — швеей...

Раскулачили его в 1929-м. Отобрали все: деньги, скотину, а главное, швейные машины. Но отчего-то не сослали. Оставили доживать. В тот год его сын заканчивал школу, был отличником, шел на золотую медаль. Его, как «сына кулака», немедленно исключили. Они-то думали: из школы. Оказалось — из жизни. Через месяц Володя бросился под поезд. Покончил с собой.

Об этой давней семейной истории мама, родившаяся через два года после Володиной гибели, рассказала мне спустя восемьдесят семь лет.

Рано или поздно, когда мы с Володией встретимся, я тоже расскажу — ему, семнадцатилетнему мальчику — как шла по Университетской набережной, отгоняя темные мысли: свести счеты с жизнью, опозоренной их подлой несправедливостью. Мне, семнадцатилетней девочке, мнилось: опозоренной навек. А еще я расскажу, что, прожив долгую жизнь, доподлинно знаю: у каждого поколения ларв свои ухватки и ухваты. В твоё время — отец-кулак; в моё — неподходящая кровь. А потом я скажу ему: не делай этого. Не надо им поддаваться. Тем более теперь, когда нас ждет вечная (читай: свободная и содержательная) жизнь. В этой новой жизни ты станешь генеральным директором огромной швейной фабрики — до которой с течением вечности разрастется наша маленькая, но на диво успешная семейная артель. Скажу: кому как не тебе.

Ведь если существует посмертное воздаяние, там, за краем земного времени, ты уже закончил школу с золотой медалью и безо всяких дурацких вступительных экзаменов поступил в институт. У тебя, Володя, прекрасная специальность: менеджер, специалист по управлению производством. Разве не за этим — доделать то, что ты не успел при жизни, — я закончила не филологический факультет Ленинградского университета, куда меня не приняли (завалили на первом же экзамене), а Финансово-экономический институт. Самой мне он сто лет не нужен.

Я знаю, что Володя ответит. Скажет: теперь-то я понимаю, ты пошла правильной дорогой. Не им, ларвам, пушкавшим под откос наши молодые жизни, пришлось за все ответить. А тебе — видно, так было на роду написано: купить (годами ответственных усилий, красным дипломом финансиста, защитой кандидатской диссертации — «единогласно», ни единого черного шарика) незавершенность моей судьбы.

Да, я кивну. Так уж получилось. Ты ведь знаешь, в нашей семье мальчики не живут. Ну да, он улыбнется, вам,

девочкам, приходится за нас отдуваться. Вот именно, я снова кивну, и знаешь, ежели моя догадка верна, если им мало было твоей безвременной смерти, если на нашей с тобой семье еще оставалась (тут мне придется поскрести по сусекам своих финансовых, ни на что не пригодившихся, знаний) *дебиторская задолженность* — пусть подавят-ся моими потерянными годами.

А потом, когда Володя отправится по своим важным директорским делам, я скажу — уже не ему, а глядя в их черные, мерцающие абсолютным Злом глазницы:

— Наш семейный «долг» погашен. Но вы, листающие свои разбухшие от крови grossбухи, не надейтесь на нулевое сальдо.

XI

Делая первые шаги на поросшем советскими будылями поле, я довольно скоро поняла, что моя «швейная школа», давшая мне начальные уроки независимости, — не более чем подготовка к долгому и трудному противостоянию, которое мне еще предстоит: если я не смирюсь, если найду в себе решимость — мало-помалу и шаг за шагом — вытягивать себя из провинциального болота, навязанного окружавшей меня действительностью. В надежде выбраться на твердую почву мировой гуманитарной культуры, где нет ни госуниверситетов, ни главливтов, ни спецхранов, ни прочих кишечных непроходимостей нашего, навязшего в зубах, новояза. Тех самых, за которые — по коварному замыслу наших семейных недругов — нам не было позволено шагнуть.

Так, по юности своих лет, я рассуждала, еще не догадываясь, что, принимая это решение, становлюсь (подобно моему отцу) ополченцем. Ухожу на войну.

И, разумеется, не я одна.

Мысленно возвращаясь в то загнивающее время (позже аккуратно названное эпохой застоя), время тягостное и душное, как все, что вырастает на почве хтонической — в нашем случае хронической, готовой вот-вот рассыпаться, и по этой причине упорно молодящейся — тотальности; время странное и противоречивое, с одной стороны, полное невосполнимых утрат, но с другой — важнейших обретений, недостижимых ни в каких иных, скажем, более благоприятных, условиях, — могу засвидетельствовать: нас, тайных ополченцев, было *много* (курсив означает оговорку: много-то много, однако не стоит преувеличивать числа), — тех, кто, отвергнутый оккупационной властью, действовал на свой страх и риск, ориентируясь не по университетским учебникам, а по косвенным признакам, мало что говорящим глазу чужака.

Открывая книгу, снятую наугад с домашней или с библиотечной полки, я сверяла звуки слов с внутренним (я называла его *блокадным*) камертоном, чтобы отложить эту книгу в сторону или, уловив духовное сродство с автором — мгновенно, по принципу *свой-чужой*, лежащему в основе любых партизанских действий, — прочесть ее от корки до корки. И на всякий случай еще раз, с начала и до конца. Лишь бы ничего не упустить.

Со временем (а оно, кто бы что ни говорил, все-таки потихонечку, подспудно, но двигалось, хотя чаще, прямо скажем, топталось на месте) это вошло в привычку, которая бог весть куда могла меня завести, не научись я полагаться на советы людей сведущих: в ком позже, через много лет, опознала «паломников в страну Востока». Или Запада, хотя не исключено, что и Юга, а быть может, и Севера — любое направление условно, равно как и сравнение с паломниками и крестовыми походами: в оккупированных землях о таких высоких материях не приходится говорить.

Скорее, отряд — небольшой и не слишком хорошо экипированный, состоящий из молодых-необстрелянных, только-только закончивших какие-нибудь краткосрочные военные курсы (в память моего деда Василия назову их *артиллерийскими*) и вступавших в бой вместо перемолотой в жестоких боях регулярной армии. Влекомые самомнением юности, мы были готовы сражаться — но тут-то и выяснилось: сражаться, собственно, не с кем. Не потому, что противник отступил. А потому, что он *везде*.

Вот причина, по которой нам — в обход блокпостов вооруженных до зубов, но до изумления тупых, хотя и упертых, оккупантов — пришлось выходить из окружения. В надежде добраться до не занятой врагами Большой земли.

То пригнувшись, короткими перебежками, то горелым лесом, то полями, напрямик по не сжатому еще с первых революционных лет хлебу, чьи перезрелые зерна упали на землю не с тем, чтобы вновь заколоситься, а чтобы сгнить в родной земле; то прокладывая путь сквозь будылья, разросшиеся соцреалистической дурниной, то ползком по колкому, даже сквозь плотную гимнастерку, идеологическому жнивью; то и дело рая руки острым, точно лезвия опасной бритвы, осотом страха — мы шли по пересеченной местности, по которой в военную пору хаживали наши героические деды и отцы. (Спасшие мир от немецкого фашизма, но так и не завоевавшие свободы. Ни для себя, ни для нас¹.)

¹ Гражданская несвобода задевала моего отца самым непосредственным образом. На все письма-приглашения, приходившие по его инженерскую душу, васьковские тульи Первого отдела, курирующие профильное министерство, отвечали вежливым отказом: дескать, мы *страшно* сожалеем, но господин главный инженер занят, прямо ни минутки свободного времени, чтобы посетить, как ее там, ах да, Японию (варианты незакрытых карточек: Германия, Англия, Китай). Не иначе, мстили по-мелкому за давнюю, новгородскую, историю — *мамино скажи им там*.

Я — следом, в арьергарде отряда, нет, все-таки я ошиблась, не такого уж малочисленного, особенно если, встав во весь рост, поднять глаза от земли.

Ведь во главе этого интернационального суперотряда, вместо навязанных сверху командиров и комиссаров, шли (где-то далеко, впереди, за тысячелетними дубами Мемврийской долины) — Гомер, Геродот, Софокл, Платон и Аристотель, Катулл, Тибул и Лукреций, Данте, Монтень и Плиний Младший (принадлежа к регулярному воинству «Литературных памятников», они отличались от всех остальных одинаковой защитной формой — цвета хаки с густой примесью темно-зеленой травы); за ними, одетые кто во что горазд, следовали Фома Аквинский, Гёте, Кант, Сервантес, Свифт, Лоренс Стерн, Элиас Канетти и еще десятки тех, кого один из нас — через много лет, по окончании похода, — памятуя о тех славных днях, перечислил в своем знаменитом списке.

Кстати, он-то, в отличие от многих, не допущенных к гуманитарному гособразованию, отказался от него сам, по доброй воле, и, может быть, по этой причине именно ему, бросившему школу после седьмого класса, Большой Совет партизанского отряда предоставил редкую и драгоценную возможность: обратиться к городу и миру с речью о языке, в которой он, среди прочих тезисов (один из которых, касающийся «языка и морали», кажется мне сомнительным), говоря о своем поколении — родившемся тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, а Сталин пребывал в зените богоподобной славы, — сказал, что именно его поколение, входившее в сознательную жизнь в конце пятидесятых, обнаружило себя на пустом, точнее, пугающем своей опустошенностью месте, где прежде росла гуманитарная культура, — тем самым отняв пальму этого первенства у моего поколения, идущего след в след.

К его списку, позже ставшему знаменитым, я — пользуясь тем, что список не закрыт и далеко не исчерпан, —

добавляю как свое, кровное (наряду с уже упомянутыми мною Галичем, Солженицыным, Томасом Манном, Гессе и Андреем Платоновым), Марселя Пруста, Умберто Эко, Вирджинию Вулф, Кобо Абэ, Акутагаву Рюноске, Варлама Шаламова, Юрия Домбровского, Роберта Музиля. И (раз уж теперь этот список мой, мне и решать) Бориса Раушенбаха «Пространственные построения в древнерусской живописи» — нежданно-негаданное счастье, в которое я погрузилась, когда вытянула его наугад, по наитию, из-под книжных завалов и неподъемных, точно кирпичи, словарей.

Коль скоро речь о языке, о его роли в восстановлении культуры, в нашем мобильном партизанском отряде существовала, более того, активно использовалась особая система связи, не имевшая отношения ни к военным приказам (в любой их форме: хоть засургученных пакетов с пометкой «секретно», вскрыть тогда-то и тогда-то; хоть катушечных телефонов, чьи провода в боевых условиях то и дело рвутся), ни к обычной партизанской практике природных звуковых сигналов: кукушкой, лягушкой или селезнем — которые подают, складывая пальцы специальным образом или прикладывая ладонь к губам.

У каждого из нас, рядовых бесшумного войска, имелся в распоряжении невидимый походный приемник, способный улавливать и безошибочно расшифровывать даже самые слабые сигналы, поступавшие от тех, кто шел *вперед*. (Вопреки всем земным законам, по которым те, кто родился и умер раньше, всецело принадлежат прошлому, в этом партизанском отряде все обстояло ровно наоборот: наши невидимые командиры давным-давно пребывали в будущем. Туда, в будущее, они и вели нас твердой рукой. Твердой, но не как ссохшаяся на солнце глина, а в другом, твердо-иерархическом смысле.)

Бывали дни, когда на этом кружном пути выпадали передышки. По молодости лет я им радовалась, полагая,

что даже самый героический и преданный своему делу партизан имеет право отдохнуть и отоспаться. Да мало ли у нас, у партизан, дел: по дому или на службе, в моем случае институтских, связанных с написанием и защитой диссертации (ее название, насколько теперь я могу припомнить, касалось статистических методов управления производством, каких-то математических корреляций; данные для их расчетов я собирала в цехах ЛОМО). Кроме официальной работы, отметка о которой ставилась в трудовую книжку и тем самым включалась в «трудовой стаж», большинству из нас приходилось прибегать к приработкам, самым разным, — я, например, давала уроки английского: по тем временам отличный способ пополнить бюджет.

Передышки, такие желанные вначале, очень скоро надоедали. Нас начинала мучить совесть: какими глупостями, ни уму ни сердцу, мы, право слово, занимаемся, в то время как наши боевые товарищи давным-давно покинули привал. Впрочем, эти приступы нечистой совести, связанные с пустым, хотя и деятельным временем привалов или простоев, искупались острым наслаждением от новых, отвоеванных у врага, книг. Я имею в виду не только те, что были опубликованы официально, но — едва ли не в большей степени — сам- и тамиздат.

Так мы и шли, стремясь вперед, краем глаза отмечая, как нашего полку то прибывает, то убывает — время от времени от него отделяются маленькие мобильные отряды, уходящие куда-то в сторону, в ночь. Каким образом эти отряды формируются, а главное, какое они получают задание, когда скрываются в настороженном переплетении темных, оседающих от влаги, еловых лап, — этого я знать не могла. Но смутно уже догадывалась: рано или поздно и мне придется оставить большой отряд, уходящий в будущее, чтобы присоединиться к нему позже

и при условии, что я сумею выполнить то скромное, но важное задание, обращенное в прошлое, которое наше партизанское командование доверит лично мне.

Помню день, когда, завершив череду житейских испытаний — как обычно, тягостных и никому не нужных, — я уловила нечто похожее на ультразвук, на который с отважной и решительной готовностью (ни дать ни взять полковой конь на зов боевой трубы) откликнулся мой внутренний камертон. Повинуясь этому звуку, я (как и все, кого он настигал раньше) сошла с общей дороги — к тому времени мы успели выйти на прочную лесную грунтовку — и, различив едва заметную тропинку среди лесных деревьев, пошла, первое время двигаясь на ощупь, то и дело переступая через поваленные стволы елей, осин и сосен — будто еще недавно, чуть ли не накануне, по этой местности прокатился чудовищный по силе ураган.

Но мало-помалу я освоилась и, стараясь перенять манеру наших вожатых, не признающих земных законов, шла почти свободно, не замечая лежащих поперек дороги стволов; не чуя холодных капель настоящего времени: срываясь с потревоженных еловых веток, они попадали мне за шиворот или, обжигая холодом, падали на лицо.

Ориентиром мне служил мох, покрывающий стволы сосен, уцелевших вопреки тотальному урагану. Судя по этому (моховому) признаку, двигалась я на север — ничего более определенного сказать нельзя. Лишь на рассвете, выбравшись наконец из лесной чащи и оказавшись на высотах — последние километры тропинка вела в гору, — я поняла, где я нахожусь: по левую руку громоздились руины Пулковской обсерватории, обломки ее купола, разрушенного прямым и на удивление точным попаданием; справа внизу (по разным приметам, вроде поваленных указателей и дорожных знаков — их можно

было различить, встав на цыпочки и приглядевшись) угадывалось шоссе; впереди, в направлении города, если мысленно продолжить прямую шоссеиную линию, открывалась широкая и хорошо знакомая мне перспектива бывшего Забалканского, потом Сталинского, а теперь Московского проспекта — неузнаваемая: заваленная обломками зданий.

Не деревянных (древесину давно бы растащили, чтобы пустить в растопку), а монолитных, кирпично-бетонных, в которых я опознала останки сталинских домов. Между фрагментами стен и перекрытий, заваливших проезжую часть в результате, по всему видно, организованного взрыва (с грехом пополам обломки оттащили к линии прежних, осевших на землю, стен; забегая вперед: со временем эти сталинские дома начнут восстанавливать более или менее в прежнем виде), — образовался узкий проход. По которому я, втянув голову в плечи и стараясь не оглядываться (пытаясь сделать вид, будто я — не партизан, выходящий из леса, а мирный житель, не успевший эвакуироваться, застрявший в оккупированном городе), двинулась в сторону Невы.

Миновав бывший Новодевичий монастырь (его оккупанты превратили в складское помещение), больницу Коняшина (кажется, она еще действовала), я дошла до перекрестка Московского и 1-й Красноармейской, постепенно убеждаясь: если не считать взорванных «сталинок», в остальном город не слишком пострадал. Так, во всяком случае, казалось на первый взгляд.

Как и раньше, в моем довоенном детстве, люди спешили по своим делам. Кто-то шел на работу; дети — в школу, где их (об этом я думала с горечью) будут учить родному языку и истории по учебникам, одобренным оккупантами. Работали и магазины. Впрочем, опасаясь выдать себя, на витрины я не особенно заглядывалась. Разве что, по своей швейной привычке, на те, где было выставлено «готовое платье», обвисяющее на безголовых манекенах.

Однако время от времени — и на продуктовые. Мне запомнился один, судя по всему, молочный: его задняя, кафельная стенка, если мне не изменяет память, была заставлена одинаковыми голубовато-белыми консервными банками, своей однообразной многочисленностью образующими по-восточному замысловатый — будто сотканный умелыми мастерицами — узор.

Здесь, у входа в магазин, и случилась та мимолетная встреча — однако навсегда мне запомнившаяся. Женщина, пожилая, но вроде бы еще не старуха — черты ее лица были стерты, точно ластиком, — поймала мой взгляд, полный горечи, и, оглядев меня с ног до головы, сказала громко: «Ишь, зажрались. Сгущенки с сахаром им мало — им, вишь, сыру швейцарского подавай! — И, отвернувшись от меня, процедила зло, сквозь зубы: — Блокады на вас нет», — ее слова, заставившие меня, забыв про осторожность, отпрянуть, отдались в моем сердце печалью и тоской.

Перехватив черную дерматиновую кошелку в левую руку, женщина скрылась в дверях магазина, а я пошла дальше, чувствуя, как тоска перетекает в жгучую боль за мой бедный, истерзанный унизительно-трудной советской жизнью город, и в этом плотно закупоренном сосуде створаживается, вступая в реакцию с остатками стыда.

Ощущая на дне души эту комковатую субстанцию, я уже не удивлялась тому, что люди, населяющие город, не замечают разрушений. А если и замечают, обходят стороной. Чему немало способствуют и по-своему аккуратные дорожки, по которым горожанам предписано ходить; и высокие плотно сбитые фанерные щиты-заграждения, прикрывающие редкие (повторю) развалины. Тем более что на этих щитах намалеваны — руками не слишком умелых художников — картины светлого будущего, которое наступит очень скоро. Надо надеяться: вот-вот. И ради этого стоит потерпеть.

Но моя-то дорога (так, во всяком случае, я поняла свое задание) лежала не в будущее, а, наоборот — туда, где за широкой невской полосой маячили контуры прошлого. Точнее, его крепости. Издалека эта крепость казалась земляной, но чем ближе я к ней подходила, тем явственней из пелены и взвеси тумана проступали стены, сложенные из кирпича с добавлением камня — не мрамора, добытого в каменоломнях Рускеалы, а самого обыкновенного, зарекомендовавшего себя прочнее прочного, известняка.

В отличие от города, кое-как, но уцелевшего, крепость «петербургского текста» сильно пострадала. Если говорить прямо, она лежала в руинах. Между обломков копошились люди — кто-то разгребал завалы, кто-то, пустив в ход мощные резак, распиливал каменные глыбы, кто-то лепил и обжигал кирпичи, кто-то замешивал раствор. Подобно нашему партизанскому отряду, здесь наверняка были свои признанные командиры, но, как я ни вглядывалась, различить их так и не смогла. По первости у меня даже сложилось впечатление, будто каждый, кто подвизается на этом раскопе, сам себе и прораб, и реставратор, и инженер.

Несмотря на то что сама крепость была разрушена (некоторые, самые важные, фрагменты рavelинов и стен обвалились, другие ушли под землю), более или менее сохранился ее о-стров. И, по счастью, замковый камень, два с лишним века назад заложенный самим Петром. (Позже именно это, последнее, обстоятельство дало повод одному из двух главных реставраторов — чье непререкаемое главенство с течением времени окончательно и бесповоротно определилось, более того, было всеми и повсеместно признано, — сравнить императора Петра с его евангельским тезкой, а Петербург — с Римом, на развалинах которого выросла новая духовная цивилизация, бросившая вызов прежним *urbi et orbi*. А значит, может вырасти и теперь.)

Прежде чем присоединиться к группе, лепившей и обжигавшей кирпичи, я внимательно осмотрелась. В отличие

от меня, вышедшей из леса, эти люди работали давно. Но, глядя на плоды их трудов, даже новичку становилось ясно: несмотря на общую вдохновенную решимость, в полной мере крепость восстановить не удастся — уж слишком много образовалось провалов, разрушений и утрат. К этим проблемам добавлялась нехватка рабочей силы — я имею в виду не нас, молодых-необученных, чьей квалификации хватало разве что на то, чтобы лепить или, в лучшем случае, обжигать сырые кирпичи. Впрочем, и это бы еще полбеда. Беда в том, что в строю — за редким и драгоценным исключением — практически не оставалось тех, кто перенял свои знания и умения из первых рук: от непосредственных носителей тайны, которую хранил в себе «петербургский текст».

На практике это означало, что им (не пленным, а пленникам идеи), решившим именно на этом поле реализовать свой врожденный талант ученых-гуманитариев, приходилось доходить до многого собственным умом. Вплоть до особого языка, одновременно явного и тайного. Не в последнюю очередь он был создан для того, чтобы ларвы, шнырявшие туда-сюда подобно городским крысам, при всем желании не могли его разгрызть. Время показало, что эта цель была достигнута. Как ни тщились, как ни точили зубы ларвы, как ни привлекали на свою сторону его ослабевших носителей — из числа перебежчиков, которых и на этой войне нашлось немало, — овладеть этим новым языком, во всяком случае в полной мере, им так и не удалось.

Упомянув перебежчиков, я должна сказать, что причины, по которым они могли переметнуться в стан врага, были самыми разными: от вульгарно-меркантильных — пожрать, типа, вволю — до условно уважительных. Не надо забывать, что еще недавно, именно здесь, на месте свежего раскопа, действовала тюрьма: словно темной не-вской водой ее стены пропитались всеобщим страхом, лавиной и не таких как мы храбрецов. Тех времен я (во

всяком случае, в полной мере) не застала, однако помню челноки и барки, когда, оттолкнувшись от узкой кромки уцелевшего песчаного пляжа, они, перебежчики, устремились вверх по течению, курсом строго на восток в направлении Большого дома: серого здания, маячившего за пролетами и быками Литейного моста.

Что касается тайного языка, они, выбравшие свою судьбу кто добровольно, а кто и по принуждению, вскоре стали его забывали (к тому же и сам язык не стоял на месте, с годами он развивался и креп) — причем до такой степени, что, улавливая в наушниках отдельные языковые пассажи, слышали, как говорится, звон, но уже не могли определить, где он. (Стоит отметить, что следы той, теперь уже давней драмы, разыгранной на подмостках застойного времени, можно обнаружить и по сию пору, когда в речах отдельных ораторов от официоза нет-нет да и мелькнет словцо или выражение, заставляющее мою память вздрогнуть.)

Так или иначе, мы, оставшиеся, делали общее дело — никаких сомнений в этом у меня нет. Как, впрочем, и в том, что, оставаясь в границах общего дела, каждый из нас преследовал и свою собственную цель. Таким же двойным (а если угодно, двойственным) образом действовала и я, когда, копошась в своем углу, затворяла смесь: из глины с некоторой толикой песка.

Уходя за рамки символических смыслов, цель, которую я, помимо общих, для себя ставила: добиться верной пропорции языковых средств, литературных приемов, внутреннего смысла и наложенных на него слов — при том что сами слова, а равно и их сочетания, должны обладать тем особым, подлинным звучанием, которое возникает лишь там, где небесные звуки пробиваются сквозь навязчивые и одновременно невнятные шумы земли.

Преследуя эту цель, не порывающую с настоящим и глядящую не столько в будущее, сколько в прошлое (и именно

по этой причине наводящую прочный понтонный мост между этими, разделенными настоящим временем, берегами), цель, прямо скажем, идеальную и, как любой идеал, вряд ли достижимую (но такая уж нам досталась эпоха — поиска идеалов¹), — я держала ушки на макушке, внимательно наблюдая за результатами ученых штудий наших признанных вожатых, применявших в своей работе щадящую «римскую методику», согласно которой подлинные фрагменты не скрываются под новой кладкой, а ею окружаются — тщательно и со всеми возможными предосторожностями. Позже я приноровилась использовать ее в своей работе. И делаю это до сих пор, восстанавливая историю семьи.

Ошибется тот, кто из всего сказанного сделает поспешный вывод: будто мы, работавшие бок о бок, были сплошь единомышленниками. Когда речь о человеческой деятельности, единомыслие — идеологическая химера: из тех, коими уснащены средневековые соборные декоры в предупреждение либо в назидание беспечным потомкам. Как никогда со времен европейского средневековья, это универсальное правило дало знать о себе в наши черно-белые, те, мутные времена, отравленные отчаянием, принимавшим порой самые разные формы — от безотчетного страха до глухой тоски.

Остается только гадать, не по этой ли «формальной» причине наше тогдашнее новоначалное братство оказалось не таким уж, теперь я смею это сказать, невинным. Ведь в нем (кроме универсального, подстерегавшего всех и вся соблазна вступить в коллаборационистскую связь с оккупантами) был силен и прочен элемент обыкновенного бытового эротизма. Некоторые из нас (кто по недо-

¹ Речь, разумеется, о нашем стане. Те, что приглядывали за нами из-за периметра, искали защиты от безвременья в крайнем, чтобы не сказать — махровом, цинизме.

мыслию, а кто и по склонности своей нехитрой натуры) принимали эту соблазнительную сторону жизни за главную жизненную цель. А с другой стороны, быть может, им, вступающим в *эти* беспорядочные связи, казалось, будто тем самым они избегают *других*, упорядоченных, худших, к которым власть — желая направить энергию населения в русло ее собственных безумных задач и целей — надеялась их склонить.

Так или иначе, обетов — за редким исключением — мы друг другу не давали. Во-первых, обет сродни присяге (в партизанской среде присяги не практикуются). Однако нас останавливали и другие соображения: ведь в глубине души и положив руку на сердце мы знали: настанет день, когда наша общность рассыплется. Каждый из нас пойдет своим путем.

Надо признать, что, кроме вышеозначенных аспектов, был здесь, увы, и некоторый элемент театральности — вдохновенной игры в непреходящие европейские ценности, которые всяк из нас понимал по-своему. Возможно, именно по этой причине потом, уже в новую эпоху, когда оккупационная власть на короткое время пошатнулась (многие даже поверили, будто вражеское всевластие закончилось), далеко не каждый из нас выдержал этот новый искуc. Правда в том (говорю об этом с горечью), что — после долгих лет испытаний — эфемерная, сиречь дарованная свобода не всякому застоявшемуся коню оказывается в корм.

Дошло до того, что в своем стремлении угодить постепенно приходящему в себя начальству некоторые, кто не выстоял, подвергли осмеянию наши и свои тогдашние устремления — с той же легкостью, с какой во всех предательских средах принято лгать. Конкретно же в нашем случае: ложь в первую очередь коснулась внутренних смыслов и моральных механизмов истории — чем дальше, тем успешнее их стали подменять мифами.

Однако, кто бы что ни говорил, то время не прошло для нас зря. Из долгих лет дневной, а чаще ночной работы, когда каждый в меру сил (я имею в виду нас, послушников «петербургского текста» или, по мнению чужаков, его запоздалых данников) не то восстанавливал, не то охранял разрушенную врагами крепость, был вынесен ряд непреложных правил, оставшихся с нами на все последующие годы. Нам эти правила пригодились позже, когда, причастившись восстановительных работ: отработав положенное, выполнив — каждый свое — задание, мы углублялись в прежние лесные дебри, чтобы вновь, уже на новом витке своей творческой дороги, примкнуть к основному партизанскому отряду, с которым мы когда-то попрощались, свернув на узкую петербургскую тропу.

Но лишь по прошествии времени стало очевидно, что пренебрежение этими правилами сродни литературной и одновременно гражданской смерти. Кто именно сломает над головой ослушника шпагу, подпиленную заранее, когда его выведут и поставят на широкий, сбитый из неструганых досок помост, — заранее неизвестно. Но тем, кто еще только выбирает жизненную стратегию, нелишне понимать: рано или поздно такой день настанет. Точнее, утро хмурого дня, посрамляющего все тактические соображения — какими бы мудрыми они ни казались изначально. Выражая эту мысль короче: поперек стратегии, заложенной «петербургским текстом», не позволительно идти никому.

Сколько их осталось в живых (не в физическом, а в ином смысле), сказать трудно, но именно по этим непреложным правилам, которых они придерживаются в своей самостоятельной работе, их, выживших, я и узнаю¹.

¹ Если обратиться к самим правилам, суть дела такова. В здешнем высокоорганизованном пространстве любой текст, претендующий на то, чтобы называться «петербургским», должен быть высокооргани-

Одним словом, петербургская душа — мечтательница. Однако не прежняя, расслабленная, не знающая, как себя применить. Уж если какая мечта-идея втемяшится нам в голову, пиши пропало. Ведь, пройдя сквозь ленинградские испытания, львиная доля которых досталась не нам, а нашим родным и близким, мы, потомки их скромных династий, не ноем и не жалуемся, а, засучив рукава, беремся за дело — как какие-нибудь голландские ветряки, ловящие на свои лопасти ветер, так и мы перерабатываем энергию мечтаний в нечто более существенное. А уж плохое или хорошее — покажет время.

Впрочем, петербургское время не Бог, чтобы все хранить.

Или бог — но хитрый, языческий, который так и норочит, стоит нам, потомкам, зазеваться или расслабиться, замести за собой следы.

зован (выражаясь швейным языком: сложно скроен). Безо всяких ужимок и уверток: читатель-де попроще не поймет. Расчет на опытных читателей, читателей-профессионалов, каждый из которых сродни археологу: под верхним, нарративным, слоем он способен, а значит, имеет право обнаружить и другие слои.

В свою очередь это означает, что по самой своей природе здешний текст сугубо иерархичен. Он — сложная конструкция, обладающая разветвленной внутренней структурой, строя которую, необходимо осознавать, где у нее — а, значит, и у вас — «верх», а где «низ». Плохая новость в том, что выбор между бытописанием и трагедией заведомо исключается: в пространстве нового «петербургского текста» меж ними, как меж Невой и небом, стерлась грань. Есть, однако, и хорошая: коли выбор сделан правильно, все, что ушло в подтекст, проявится само.

Еще одно, но непреложное: новые экзистенциальные и культурные смыслы (граница так же сомнительна) вырастают не на пустом месте, а пробиваются из недр генетической памяти. Иначе и заводить-ся не стоит: в здешних гнилых и топких болотах сгинет все, что лишено корней.

XII

Об этом я могла догадаться и раньше, когда размышляла над «темой тканей», объединяющей четыре поколения моей семьи: прабабушку, которая, выполняя общественное поручение, терпеливо выстаивала очереди за «мануфактурой»; ее дочь Капитолину: эти, из бабушкиного сундука, отрезы она меняла на уральские масло и сахар, а бывало, что и на хлеб; маму — единственное, что моя мама за всю свою жизнь накопила: ткани. Как документы в иных семейных архивах, эти мертвым грузом лежащие отрезы хранятся в ее шкафах (единственный род покупок, от которого мама никогда не могла удержаться — словно в расчете на неопределенное будущее, в котором их придется обменять на что-нибудь жизненно важное: скорее всего, съестное); и, наконец, я, замыкающая эту череду женщин, знавших толк в тканях, но, в отличие от меня, так и не поверивших, что ткани следует не только покупать. Из них следует шить. Как это делаю я, послевоенное

дитя, не хватанувшее шилом патоки и потому покупающее не впрок, а в немедленный и нетерпеливый пошив.

Не в оправдание себе. Теперь, когда уходящее время приподняло завесу над нашей последней семейной тайной, я осознаю с той же нетерпеливой ясностью: моя ошибка даже не в том, что, строя эту, в сущности, очевидную последовательность, я позволила этой очевидности, раздающей всем сестрам по серьгам, запорошить себе глаза — а в том, что, оказавшись в маленькой *ротонде*, составленной из двух лестниц-спиралей, я выбрала ту, которая вела к дверям бабушки-Дуниной квартиры. Начисто упустив из виду другую спираль ДНК.

Лишь по прошествии десятилетий, взглядевшись в перипетии и контуры нашей общей семейной истории, я пойму, а вернее, почувствую: что-то в ней *не бьется*. Будто все, что мне известно об их далеком прошлом, — своего рода водопроводный кран. А труба — она там, в глубине.

Да и сам этот жест, которым я (задумавшись и уйдя в себя) пропускаю ткань сквозь наторевшие в нашем семейном мастерстве пальцы — с чего я, собственно, взяла, что унаследовала его от бабушки Дуни, ведь она, сколько я ее помню, держала в голове самые утилитарные цели: проверить, не мнется ли, не идет ли катышками — словом, действовала как чистый ремесленник, которому неведомы муки творца.

Почему — раз за разом то отворачивая, то приворачивая кран, ловя в ладошку последние капли, — я, запоздалая наследница, не потрудилась задуматься над тем, что могла получить этот безотчетный, генетически обусловленный жест — движение пальцами — из другого источника, само упоминание о котором будет означать переход к иным, отнюдь не ремесленным масштабам: ведь одно дело, когда пользуешься чем-то для себя; совсем другое — создаешь это *что-то* для нужд огромной страны.

Как некоторые, находящие соломинку в чужом глазу, не видят бревна в своем собственном, так и я — словно простой, доверчивый читатель, — не сумела разглядеть несоответствий, по которым читатель-профессионал, прошедший суровую выучку «петербургским текстом» (его разбросанными то тут то там подсказками), умеет реконструировать тайные внутренние смыслы и слои.

Дошло до того, что в слепой самонадеянности: мне, мол, рассказчице, виднее, — я упускала из виду характерные сценки, которые разыгрывались на дощатых подмостках 1-й Красноармейской, когда бабушке Дуне — беру первый подвернувшийся под руку пример — случалось зайти за внучкой: ведь она, с самых первых дней и до смерти Марии Лукиничны (другой маминей бабушки), так ни разу и не вошла в комнату, ждала в коридоре — словно эти пространства разделяла не дверь, а невидимая преграда, за которую бабушка Дуня не пожелала заступить. Да что там сценки! Я не ловила даже прямых проговорок, которые мама нет-нет да и допустит, когда, рассказывая о довоенном времени, вдруг упомянет, как бабушка ее ругала.

Не кобылой дурдинской и даже не ведьмой киевской (эти стрелы летели в меня, правнучку). В маму, когда та своевольничала, летели совсем другие: «Мануфактурщица! Рябининское отродье!» — с непрямым тяжеленьким довеском, шипящим неугасимой классовой ненавистью, все ингредиенты которой бабушка держала сухими, как ее муж-солдат — порох, и они, словно заложенные в ее крестьянскую душу от рождения и крепко запаянные в консервной банке ее же городского опыта, казалось, только и ждут вспышки раздражения, чтобы самый кончик шнура, торчащего из этой неразличимой простым глазом банки, запалился, завился, побежал — шипя и разбрасывая искры — опаснейшим живым огоньком: «Иш-ш-шь!»

Тут бы мне и наострить уши, прислушаться к его резкому шипению. Или — по взрослому обыкновению филолога-самоучки — заглянуть в словарь. То, что я ни того ни другого не сделала, — мой грех. Но всякому греху милосердие, в особенности невольному, едва не скрывшему от меня ту, воистину и в прямом смысле «тканевую основу», на которой наша семейная история, будто мало ей «крой-ки и шитья», делает еще один трагический зигзаг. Другими словами, ведет себя как советская швейная машинка с ее косыми-кривыми строчками и вечным пропуском стежков.

Но пора положить конец запоздалым сетованиям и — лучше поздно, чем никогда — обратиться к словарю.

Мануфактура (от латинского: *manus* — рука; *factura* — изготовление) — капиталистическое предприятие, основанное на ручной ремесленной технике и разделении труда; вторая стадия развития капиталистической промышленности, предшествующая крупной машинной индустрии.

От трудовой артели (скажем, артели Сергея Тимофеевича) ее отличает не только размах деятельности, но и сам принцип производственных отношений, с одной стороны, соединяющий работодателя с работниками, а с другой — их разделяющий: «мануфактурщики» и рабочие не живут в одном доме, не ведут общее хозяйство, не садятся за один стол. Да и жена работодателя никого не обслуживает (в том самом распространенном случае, когда работодатель — муж).

Какое отношение все это имело к маме? Самое прямое. Хотя и с поправкой на то, что к 1917-му, последнему «царскому» году, капиталистическое предприятие, коим владела Мария Лукинична Рябинина (единолично или на паях — вопрос открытый), та самая бабушка Маня, мамина родная бабка по отцу и, стало быть, другая моя прабабушка, — в строгом, словарном значении *мануфактурой*

уже не было. Это слово осталось лишь в названии. Но дело опять-таки не в слове, а в том, что, не случись в стране революции, мама (наряду с другими ее братьями и сестрами, которые не умерли бы и не погибли: ведь, не случись революции, не было бы ни Гражданской, ни Второй мировой, ни ее следствия — блокады) стала бы богатой наследницей знаменитых на всю Россию Рябининских мануфактур.

В координатах советского времени тайна сия велика — вот почему, узнав ее от бабушки Дуни, мама молчала десятки лет, скрывая от детей и внуков. Как иные — давний семейный позор.

Теперь уже трудно сказать, чем руководствовалась бабушка, когда снимала завесу с этой, в высшей степени чреватой опасными последствиями, тайны. Быть может, пережив всех — и в своем, и в идущем за нею следом поколений, — боялась унести ее с собой (резонно полагая, что *по ту сторону* времени сам факт утаивания правды — обстоятельство скорее отягчающее¹), либо, как порой бывает, пришлось к слову, но разговор, расставивший некоторые точки над «i» — всех точек и запятых рассказчица и сама не знала, — случился не *до*, а *после* войны, когда непосредственных участников событий (за исключением «дяди Саши», служившего в органах) давным-давно не было в живых. И что еще более важно: та, перед кем бабушка приподняла непроницаемую завесу с этой тайны (мне, знающей толк в тканях, она видится муаровой:

¹ В пользу этой версии говорит и другая история. Тогда же, году в 1963-м (за точность даты не ручаюсь), в Русском музее проходила выставка дворянского портрета. Услыхав объявление по радио, бабушка Дуня заявила, что должна непременно ее посетить. Опираясь о мамину руку, она обходила выставочные залы, ненадолго задерживаясь у каждого мужского портрета, пока — остановившись напротив одного и не глядя на маму — сказала тихо, но твердо: «Это — твой дед».

плотной на ощупь, на взгляд же — тусклой), успела обрести достаточный опыт советской жизни, чтобы, не доверяя зигзагам то слабевшего, то крепчающего времени, держать рот на замке. Что мама до последнего и делала — пока мы, непуганные следователи, ни приперли ее к стенке, загнав (чередой прямых или косвенных вопросов) в логический тупик.

Меня же эта история поразила отнюдь не «потерянным наследством» — ведь, если разобраться, даже мамины права на это богатое наследство (что уж говорить о наших с сестрой) писаны вилами по воде.

Но — допустим: никаких революций и прочих великих потрясений. Тишь да гладь, одни сплошные реформы, нотариальные конторы, священные права собственности, оформленные в виде завещания. Но именно на этом, благотворном для страны фоне, нас с сестрой *нет*. По самой простой причине: трудно представить череду обстоятельств, при которых Василий — отпрыск богатой промышленной династии — сочетался бы законным браком с Капитолиной. Мало того, что девушкой безродной, но и не блиставшей красотой. Разве что бабушка — я даю волю воображению — все-таки вышла бы замуж за своего графа, и он девочку Капу удочерил.

С одной стороны «благородная кровь», с другой — «солидное состояние»...

До революции такие, условно говоря, смешанные браки нет-нет да и случались. Со временем — если бы время не сбилось с толку, не шарахалось как пуганая лошадь, а тащило по российскому бездорожью свой тяжелый капиталистический воз, — они, полагаю, и вовсе стали бы обыкновением; зримым воплощением традиционной формулы сватовского обряда: у вас-де товар, а у нас — купец. При этом левая часть — с ее «живым товаром» — отдавала бы дань уважения тяжкому крепостному прошлому, а правая, купеческая, уверенно смотрела бы в будущее, в кото-

ром не пахнет ни народными смутами, ни пролетарскими безобразиями типа «отнять и поделить».

Но именно в контексте такого, гипотетического, брака, чьим отпрыском должна была бы стать моя мама, нелепо и смешно говорить о лопухом еврейском мальчике, только-только выбравшемся из-за черты оседлости, — о моем отце. Тут в довесок к классовому наверняка сработало бы национальное чувство (его зеркальное отражение: моя еврейская бабушка Фейга, до глубины души оскорбленная тем, что любимый сын «женился на шиксе»¹): вот конечная причина, по которой я — в ряду будущих возможных наследников — не числю нас с сестрой.

Равно и не примеряю на себя — разве что тайком, как горничная барынино бальное платье — жизнь в богатом промышленно-купеческом доме, которой в любом случае (ну допустим, они все-таки встретились, и мама, характер-то дай бог, в Марию Лукиничну — не зря бабушка Дуня ругала ее «рябининским отродьем», — наплевала на все семейные предрассудки и «традиционные ценности» в пользу скандального, ни в какие ворота не лезущего выбора) я была бы лишена.

Мне, полукровке, наученной опытом того, отцовского, своеволия (следствием которого и стала моя короткая встреча-невстреча с бабушкой Фейгой, так и не простившей своего любимого сына), легко распространить этот опыт на русскую половину моей крови, словно они, эти генетически равнозначные половины, отражаются друг в друге как в зеркале, составленном — на манер трехстворчатого складня — из боковых створок и неподвиж-

¹ Вы спросите: а как же Васса Борисовна, в девичестве Храпова, и ее невестка Рашель, жена любимого сына? Но, согласитесь, одно дело, если сын женится на красавице иудейке, другое — отдать свою, православную, красавицу за нищего еврея. Да и где им было бы встретиться — в какой, Господи прости меня, булочной, в которой мама, богатая наследница, сидела бы за кассой?

ного, меж ними, полотна. Такое, приобретенное незадолго до революции, но, в отличие от комнаты, не доставшееся Марфушке, стояло у нас на Театральной. И называлось: трюмо.

Ему я обязана минутами незамутненного счастья, когда, обвязавшись разноцветными лентами, купленными на скромную пенсию моей русской прабабушки, танцевала перед ним с той сосредоточенной и безоглядной храбростью, не обусловленной земными законами, с какой, не ограничивая себя степенными притопываниями и сдержанными шагами — в такт ритуальной музыке, — а кружась, вертясь и даже подпрыгивая, танцевал пред Ковчегом Завета маленький, не сравнить с поверженным великаном-Голиафом, царь Давид... (Ой! — я умиряю воображение: ну пусть не царь, не Давид, а его далекий потомок, танцевавший — мысленно, мысленно! — на всенародных поминках по макабрически бессмертному, вопреки наветам буржуазных прихвостней, всех этих чейнов-стоксов, вождю.)

Быть может, именно за то, что не побоялась дать волю воображению, мне открылось тайное свойство нашего домашнего зеркала, когда, сдвигая вперед и на себя боковые створки (тут важно не переусердствовать, не тянуть, сколько позволяют петельки-шарниры, — иначе оконце времени схлопнется), получаешь бесконечное число ракурсов (ближайшая аналогия: трехгранная призма, выставленная преградой солнечному лучу). Вглядываясь долго и пристально, словно в надежде проникнуть в следующее, четвертое, измерение, я обнаружила многообещающую странность: это только кажется, будто все отражения одинаковы. На самом деле они разные — на чем, сводя и разводя створки, я ловила их не раз.

Вот и теперь: в правой створке моего затуманившегося зеркала стоит мозырский дом; невысокое крыльцо — к нему ведет гаревая, прибитая дождями, дорожка, на

ней — словно пальцы на чистой зеркальной глади — отпечатались мои детские следы.

Перенаправив взгляд на левую створку, я вижу, ее поверхность зыбится, дрожит отсыревшей от неминуемых ленинградских протечек амальгамой: но там, в глубине (зеркальной глади? моей души?), мерцает не скромный мозырский дом — а другой, белый, с колоннами и широкой гравиевой дорожкой: начинаясь от кованых ворот, она опоясывает цветочную клумбу, чтобы сделать крут почета у высокого (в моем воображении оно тоже белое) крыльца.

Почета-то почета — но не для меня.

Я, включенный в игру наблюдатель, слежу внимательно, хоть и издалека.

Вот мы (вдвоем с мамой, отец остался в Петербурге — мама сказала: от греха) идем, шурша гравием, будто это не гравий, а сухие листья. (Автомобиль, нанятый на станции, подвез нас до ворот.) Обойдя клумбу — или это она обводит нас вокруг пальца, — мы подходим к высокому крыльцу.

Ах, какие же ровные, какие пологие ступени!

На верхней, опершись о колонну, нас ожидает белая фигура, не согбенная, но все-таки немного сгорбленная (нет, я помню: Мария Лукинична, мамина бабушка, до самой смерти *держала спину*, но в этой воображаемой сценке мне четыре года — а значит, от ее подлинной, ленинградской смерти прошло без малого четверть века: срок, который не выдержит никакая, даже самая прямая, спина).

Ее лица я не вижу — там, где полагается быть лицу, лежит густая тень (когда вырасту, я узнаю: такими, окутанными вуалью времени, становятся фотографии, не попавшие в семейный архив). Зато я вижу руку: старческую, полупрозрачную, с голубоватыми, будто слегка подпухшими прожилками — этой рукой она гладит меня по голове. Ее пальцы дрожат. Мамины тоже. Легкий тремор пере-

дается и мне: ведь мы — сообщающиеся сосуды, моя рука в маминой руке.

«Бабушка... Это — твоя правнучка». (Мама называет имя, но я его не слышу. Быть может, там, в зазеркальной жизни, у меня другое имя.)

Белая фигура кивает и уходит в дом, забыв нас на крыльце.

Зыбкая поверхность подергивается рябью, темной, как вода во облаках...

В зеркале моей памяти остается образ руки. Но мне до-вольно и этого, чтобы *вспомнить* свою прабабушку, Марию Лукиничну, которую я никогда не видела — даже на фотографиях. И *восстановить* — точно перпендикуляр из точки, вспухшей на оси моего воображения, — всю ее в высшей степени и в полной мере удавшуюся жизнь¹.

Этой, еще недавно твердой рукой она, моя прабабка по материнской линии, вершила дела огромной ситценабивной фабрики, особенно разросшейся в начале сороковых годов блистательного, каким он мог бы стать для России, двадцатого века, когда ею — единолично, сыновья (так мне представляется) возражали — было принято стратегически безупречное решение: о полной замене старого, отслужившего свое оборудования на самые современные, с числовым программным управлением (и — блистать так блистать — пусть они будут наши, отечественные, а не выписанные, скажем, из Германии) станки.

Акции «рябининского», на диво успешного, предприятия — известного далеко за пределами России, по всей Ев-

¹ Повторю: при том необходимом и, похоже, достаточном условии, что российская жизнь не подвергнута колесованию. Как ни странно, ни горько осознавать, но именно крутовращению этого пыточного колеса, на котором ломались социальные и национальные суставы-сочленения, я (не абстрактная дочь своей матери, а я как таковая: в русско-еврейской плоти и крови) обязана своим появлением на свет.

ропе, куда продукция уходит на экспорт, — стали бы и внучкиным наследством. Не выкинь эта самая внучка коленце, вступив в нелепый, даром что законный, брак.

Меня — настоящую, а не ту, воображаемую девочку — это нисколько не смущает. Что мне фабричное наследство! Вырасту — сама заработаю. Слава богу, голова-руки-ноги есть.

Заработаю, если захочу. Ведь даже отринутая, непризнанная, я все равно остаюсь ее правнучкой — и не маме, а мне она оставила в наследство то, что называется вкусом к предпринимательству. И твердую руку — в такого рода делах.

Оно, прабабкино наследство, даст знать о себе в начале девяностых, когда я — от полной безнадёги — ринусь, окунусь с головою в бизнес. И немедленно преуспею. Но там не задержусь.

Разница отражений в том, что «свою» фабрику — в моем случае не ситцевую, а мебельную, где я за короткий срок дослужилась до весьма высокой позиции (выше только сам владелец), — я оставила не под гнетом исторических обстоятельств, а ради острого, необоримого желания: послать все к черту и писать.

Ну и в цене.

Свою цену я, впрочем, тоже заплатила: отчаянием, смертной тоской, одиночеством — когда годы и годы, слипающиеся в десятилетия, живешь, не чуя под собой не токмо страны, но и своей собственной, ради которой явилась на свет, судьбы.

Но теперь меня занимает другое: не ее ли жестом я оцениваю качество ткани, когда, перетирая подушечками пальцев краешек выбранного на глаз отреза, чувствую ток, струящийся сквозь пальцы, — не генетическая ли говорит во мне память: о самой Марии Лукиничне и о том производственном токе, которым давно, еще до большевистской революции, питались ее ситценабивные станки...

Ко времени, когда бабушка Дуня благодаря дочери вошла в их большую и до поры крепкую семью, ни о каких станках речи уже не шло. Тем более о ситцах (*тех*, прочных и шелковистых на ощупь, коими не брезговали даже взыскательные парижские модницы). О прежнем семейном достатке тоже говорить не приходится. В конце 1920-х они вели жизнь простых советских обывателей, у которых и в помине нет никакой собственности, если не считать кроватей с латунными шариками, деревянного резного буфета и дубового, на массивных купеческих ногах, стола. За этот стол они садились по вечерам (сперва в полном, потом — после смерти отца и мужа — в урезанном составе), когда старшие сыновья возвращались с работы, а младший, Гриша, из школы.

Весь вопрос в том, каким образом они оказались здесь, на 1-й Красноармейской, в голимой коммуналке; за этим, на массивных ногах, столом; рядом с этим резным буфетом, в самой резьбе которого хранилась память об их родном ярославском доме.

Ведь это только в моем воображении тот, купеческий дом обратился в белокаменный — в действительности же был он деревянный, обильно украшенный резьбой. Дом не сохранился. Его подлинная судьба мне неизвестна. Но если прислушаться к бабушки-Дуниной памяти: первое, что в припадке классовой ненависти учинили восставшие народные массы (до семнадцатого года — те самые фабричные рабочие, которым — умом и предпринимательским талантом моей прабабки — были предоставлены рабочие места, оплата по больничному, пенсии в случае потери кормильца и прочие «гримасы капитализма»), — они этот дом сожгли.

И дело не только в соблазняющем *малых сих* разрешении — ломай, круши, растаскивай, — которое прабабкины рабочие получили от новой, классово близкой им власти. И даже не в пресловутой темноте «народного созна-

ния». (Уральские крестьяне тоже не светочи разума, но своего барского дома не тронули: стоит, и пускай стоит. Мало ли, пригодится.) Эти, ярославские, палившие все, что попадалось под руку (а уж красного петуха под высокие фабричные стропила они запускали с осо-о-обенным удовольствием), судя по всему, рассуждали примерно так: инда петух — не гусь; в теплые страны не потянется, полетает-полетает, да и сядет обратно.

Сел. Но не сразу, а по прошествии времени, в продолжение которого эта варварская птичка, красная в обоих смыслах — сперва в народном, а потом и в советском социалистическом, — порхала над ситценабивными фабриками, пока до основания не выжгла все, чем и по сию пору могла бы гордиться Россия. Та, какой она должна была стать со временем — если бы время себя не исчерпало. Дырявым ведром.

Глядя на фотографию их родного дома (единственное, что могло сохраниться), я думаю о гордости: за семейное дело, за страну. Ей залогом служили и крепкие стены, бревенчатые, венец к венцу; и резные наличники по всему периметру; и тесовое, доска к доске, крыльцо. Все сработано прочно и, как тогда казалось, на века. Мастеровито, однако без нарочитых излишеств, что наводит на мысль о староверческих корнях, к которым восходит их долгая семейная история — как и многие другие истории русских промышленно-купеческих семейств.

Они, внуки и правнуки православных протестантов, и есть бродильное вещество русского промышленного капитализма, но не «государственно-монополистического», двоедушного, готового на все ради классической формулы: *деньги-товар-деньги*; а того, что, явившись из не затронутой городскими соблазнами народной толщи, зиждилось на строгих моральных правилах, передававшихся из поколения в поколение с тех давних (для нас, ныне живущих, баснословных) времен, когда в 1666 году (три ше-

стерки — число зверя) Великий церковный собор предал анафеме их предков, и за анафемским словом, брошенным с высшей духовной кафедры, грянул не колокольный звон, а массовые расправы, дотоле неслыханные: повешением и огнем. В этом пламени сгорали мирные поселения. И шли-и — по широким русским рекам, — покачиваясь на волнах, плавучие виселицы: во утрашение живым.

Живые, но не смиренные спасались бегством: кто-то двинулся на запад, в Польшу или в Прибалтику; кто-то — на север, на берега Белого моря; другие — в Сибирь, на Северный Кавказ, за Урал. Но были и те, кто осел в Центральной России — по медвежьим углам и урочищам, куда не добраться чужаку. В этой темной глухомани они сохраняли себя, как в скиту. Пройдет немало десятилетий, прежде чем их потомки, дождавшись послаблений, решатся выйти на свет.

Местность, откуда с высокой долей вероятности (ни подтвердить, ни опровергнуть ее высоту некому) берут начало мои исторические корни, называется Гуслица — регион на юго-востоке нынешней Московской области, объединявший южную часть Орехово-Зуевского района и северную — Егорьевского: край, славный своими промыслами (перекос в сторону промыслов современные исследователи объясняют неплодородием здешних земель). Мои пращуры-гуслики обрабатывали пряжу, хлопчатобумажную или льняную, из которой изготавливали «просто-народные» ткани: тик, нанку, сарпинку с крашением и набойкой. Со временем они освоили выработку шелка и полушерсти (с добавлением хлопка либо льна); наряду с тканями выпускали наборы для сбруи, трудились на торфяниках. А с середины XIX века — на фарфоро-фаянсовом производстве Товарищества М.С. Кузнецова (это фарфоровое дело, не дав ему зачахнуть, продолжил — подхватил — мой отец).

Не тратить заработанное тяжким трудом впустую, не благоволить позывам бременного тела и социальной гордыне — вековая привычка умерщвлять ради спасения души мирские соблазны, закрепившаяся в семейной памяти, создала условия для гигантских финансовых накоплений: к началу XX века 40% промышленного капитала Российской империи сосредоточено в старообрядческих руках. Эти умелые руки монополизировали целые отрасли, в частности, производство тканей. Ситца и льна.

Среди честных и порядочных гусяков (как говорится, в семье не без урода) попадались и такие, кто, попирая строгие семейные традиции, промышлял разбоем, изготовлением фальшивых денег, конокрадством и нищенством. В здешней криминальной среде даже бытовал особый, «масойский» язык: от слова «мас», что означает «я». (Не на этот ли язык — с поправкой на реалии советского века — перешел мамин «дядя Саша», когда устроился охранником на зону?) Впрочем, законопослушные гусяки тоже не робкого десятка: тем, кто прошел жестокую историческую выучку, палец в рот не кладут.

Бог весть, какими путями-дорогами текстильное производство распространялось в направлении Ивановской губернии и дальше, вплоть до Ярославля, родины Марии Лукиничны — но у тех, кто этими путями следовал, постепенно, от века к веку, менялся образ жизни. В начале двадцатого он уже не столько «крестьянский», сколько «промышленный»: фабрично-заводской. Что касается живых подробностей — им свидетелей нет. Как нет моего деда, Василия Семеновича. Его — не сложи он голову под Ленинградом — я могла бы порасспросить. Узнать, например, чему его учили. К какому его и братьев готовили поприщу. Что-то же он должен был запомнить — чтобы потом, войдя во взрослый возраст, заливать свою память водкой. Как мертвой водой.

Единственное, что известно достоверно: в семнадцатом, крайний срок — начало восемнадцатого, они были вынуждены бежать. Всей семьей, с пустыми руками — если сравнивать с тем, чем они владели раньше. Держали в своих руках.

И все-таки каким бы стремительным ни мнился их отъезд, ему, надо полагать, предшествовали раздумья: бежать-то бежать, но — куда? (Могу себе представить, как она, моя прабабка, дождавшись, пока домашние уснут, сидела в гордом одиночестве, терла жесткую память о памяти — свою о память предков, *бегунов* или *скрытников*, знавших доподлинно: русской землей овладел антихрист; спасение — в беге.)

В каталоге семейной памяти вариантов не так уж много: Сибирь, Северный Кавказ, Урал. Но уж больно далеко, да и кто знает, как еще встретят... Медвежий угол где-нибудь поблизости? Еще сомнительней. В Центральной, густо населенной, России больше не осталось темных, до которых чужакам не добраться, углов. Тем более когда чужаки — не пришлые, а местные. Из своих.

Отдельный пункт: заграница.

Для отпрысков дворянских фамилий, привыкших коротать время в баден-баденах, — нормальный ход. Равно для интеллигентов, нищих, легконогих: уехал — приехал; скорых на подъем.

В глазах потомственных фабрикантов-староверов Европа — баловство. Не за тем они копили, приумножали, складывали — и ведь не «из воздуха», на манер новомодных банкиров, а потом и кровью поколений, — чтобы спускать накопленное на всякие дурости, вроде заграничных курортов. Особенно когда в глубине души еще теплится надежда: переждать, пока все ушумкается — рано или поздно должно. Как в девятьсот пятом. Тогда ярославские тоже бунтовали. Пока власть не ввела войска.

Пережить решили поблизости. Точнее: в деревне Большие Погорелки — так значится в Гришином военном билете (графа «место рождения»). Учитывая дату в соседней графе (год рождения), второй этап побега пришелся на начало двадцатых.

И снова пришлось решать: куда? В окрестностях Ярославля, тем более в самом городе, их, Рябининых, знает каждая собака; как ни скрывайся, все одно на виду. От враждебных глаз укроет крупный, столичный, город. В столицах и обустроиться легче.

Так-то оно так, но почему не Москва? Казалось бы, от Ярославля ближе, чуть не вдвое. Но, обдумав и, верно, обсудив с мужем, Мария Лукинична выбирает Петроград. Будто в глубине души знает: чем дальше от родных мест, тем надежней. Потому как дело уже не о том, чтобы скрыться на какое-то время. А о том, чтобы затеряться. На всю оставшуюся жизнь.

Петроград, столица обезумевшей империи, встретил их холодом и пустотой. Как выяснилось вскоре, иллюзорной. На улицах пусто, в домах густо. Двадцать какой-то — это вам не семнадцатый, когда в каждой квартире по семье. Пусть большой, с чадами и домочадцами; пусть и с квартирантами, которым сданы «углы». И даже не революционный, восемнадцатый, когда все, кто мог, уносили ноги. (Кто не мог, тоже уносили: все, что плохо лежит. Хоть во дворцах, хоть в чужих квартирах. Дворники грабежам не препятствовали, а иные и сами пользовались — по мере возможности и сил.)

В начале двадцатых первое «великое переселение народа»¹ в общих чертах завершилось: кто-то унес ноги из России, иных услали принудительно (кого на запад, а кого и на север); кто-то (как бабушка Дуня) успел уехать из Пе-

¹ Второе начнется в середине тридцатых и пойдет с этих пор крутыми перекатами — вплоть до смерти «Отца народов, Великого вождя».

трограда, а потом вернуться; другие, теперь сказали бы «понаехавшие», сбежали в город из родных деревень — лишь бы спастись от комиссаров и ихних прихвостней, грабивших старый деревенский мир без зазрения того, что при прежних властях называлось совестью, а при нынешних превратилось в «классовую целесообразность».

Подбивая дебет-кредит: городского населения прибыло. В большинстве — за счет тех, чье сознание не отягощено буржуазными предрассудками, вроде стойкой привычки ходить по-маленькому в унитаз, а не ссать с крыльца. Свой вклад в ползучую люмпенизацию внесли и рабочие окраины: с каждым годом подступая все ближе к центру, они привносили в жизнь привычную им скученность. И ее неизбежное следствие: вонь. По свидетельству очевидцев, воняло везде — на улицах, в квартирах. Но в особенности на лестницах.

Первые дни она, открыв входную дверь, вздрагивала. Потом не то чтобы принялась — свыклась.

Всей семьей, с младенцем Григорием на руках, они обходили город, надеясь наткнуться на объявление: сдается-де внаем — пока не убедились: беда-то не в вони, а в том, что все отлаженные механизмы заклинило. Ни тебе найма, ни продаж. Долго ли, коротко, добрые люди объяснили, ввели в курс дела: нынче — не давеча. Нашел пустую подходящую жилплощадь — селись.

Дивясь этим новым правилам, они выбрали что поскромнее. Район не самый дальний, но и не в центре. Да и квартира, хоть и большая, но не «барская». (На 1-й Роте, будущей 1-й Красноармейской, баре не обосновывались. Все больше офицеры средних чинов.) Для порядку «сунули» дворнику — какая-никакая, а гарантия: вроде как не самовольно. Он и открыл своим ключом. Две комнаты. Которая поменьше — для них с мужем. Вторая, побольше, — для детей. В остальных комнатах соседи: хочешь не хочешь, а находи общий язык.

Потом, когда начальные страхи миновали, они вернулись к привычной лексике, но по первости, строго-на-строго наказав старшим сыновьям молчать побольше («здрасьте»-«до свидания» — и хватит), старательно, к месту и не к месту, подпускали всяческих *надьсы*, *инда* и *третьеводни*, с которыми давно распрощались. Кажется, еще в прежнем поколении: моих прапрадедов.

Важнейший элемент социальной мимикрии — внешний вид. С этим, судя по всему, проблем не возникло. За время, пока жили-перемогались в Больших Погорелках, прежний, промышленно-купеческий лоск успел сойти. То, в чем они явились в город, вряд ли зипуны или поддёвы — но от сермяги, грубой крестьянской *одежи*, недалеко.

Мало-помалу приноровились. К соседям; к жизни в общей квартире, «коммуналке» — хотя само это слово, ставшее базовым в последующие десятилетия, тогда, в начале двадцатых, еще звучало не так широко.

Оставалось приспособиться к своей новой роли в пост-революционном спектакле, за перипетиями которого мы, потомки, следим с последнего, третьего яруса — если вообще следим.

Известно, что кульминация экономической депрессии прилась на 1923-й. Но продовольственные карточки упразднили раньше, с началом НЭПа. Эту *новую экономическую политику*, если продолжить театральные сравнения, можно назвать антрактом между двумя актами: «военным коммунизмом» и «великим переломом», иными словами, насильственным переходом к мобилизационной экономике с предельной концентрацией людских и материальных ресурсов в руках государства и политическими репрессиями против целых классов и социальных групп — прежде всего «кулаков».

Но так — переломом российского станового хребта — этот акт видится с нашей исторической верхотуры. Сами

действующие лица об этом не догадываются. Их тактическая задача — выжить.

Когда объявили НЭП, мой прадед устроился работать конторщиком — говорил, ничего, большевики не дураки, видно, одумались. Жена не возражала, но про себя знала твердо: именно что не дураки. Одумались бы — и что? Возвращать награбленное? Заводы, фабрики. Автомобили, на которых они, эти ларвы в кожанках, разъезжают...

С такими мыслями, ни с кем ими не делаясь, она и жила. Вернее, ждала.

Первым звонком ко второму акту стал хлебозаготовительный кризис 1927 года. Среди причин, его породивших, историки называют, с одной стороны, нехватку промышленных товаров, а с другой, низкие закупочные цены на зерно. Как результат, горожане, наученные горьким опытом, кинулись скупать все, что попадется под руку. Той осенью магазины являли собою забытое за годы НЭПа зрелище: стремительно, в одночасье, с прилавков исчезли масло, сыр, молоко. Начались перебои с хлебом — теперь за ним выстаивались длинные очереди. По причинам, известным только им, власти медлили. Вновь карточная система была введена в 1929 году.

С открытой формой государственной селекции Мария Лукинична столкнулась впервые — крестьянскую «дурную боль» (как сами «болящие» именовали голод) прежние власти по возможности скрывали, обходясь обиняками и полумерами. Нынешние объявили битым словом: рабочие, граждане I категории, получают по 800 г хлеба в день (члены их семей — по 400); II категория — служащие, по 300 (члены семей — по 400); III категория — безработные, инвалиды, пенсионеры — по 200. Остальные — «нетрудовой элемент». К каковым относились и «домохозяйки» моложе 56 лет.

Ни на работу, ни за продуктовой карточкой (для себя) она не пошла. Не из гордости, дескать, не имею такой при-

вычки: просить, кланяться. Склонись хоть до земли, хоть бейся лбом об землю — все равно не сжалятся. Над такими, как она, — вдвойне. Ибо сказано, как отрезано: «бывшим» карточек не полагается. Про «бывших людей» — не ей, другой женщине, но она услышала — еще раньше, года два назад, растолковал дворник. Услышать-то услышала, да сперва не разобралась: по ее прежним, старорежимным понятиям, люди — прислуга.

Бросается в глаза тот факт, что, промедлив с карточками, власть не промедлила с репрессиями¹.

Главный репрессивный удар пришелся по зерновым районам: Украина, Центральное Черноземье, Северный Кавказ, Дон. Слухи о голодоморе, надо полагать, просачивались, но что в действительности творилось в деревне, мало кто из горожан знал. Доподлинно им известно другое — арестовывают «бывших», каким-то чудом не попавших под первый, революционный, каток: помещики, капиталисты, мануфактурщики, попы и церковники; в одном ряду с ними представители старой русской интеллигенции, включая тех, кто перешел в стан большевиков.

Уже не звонок — колокол, грянувший, когда по городу поползли новые слухи: хватают прямо на улицах. Глаз у захватчиков наметан. Им и паспортов не надо. Глянут — различат. Не по платью — по растерянности, похожей на надежду, слабенькую, теплящуюся на глазном дне тех, кто своими глазами видел списки расстрелянных «врагов революции», когда их что ни утро вывешивали на всеобщее обозрение — лепили к театральным тумбам и фонарным

¹ Формальным поводом послужил дипломатический конфликт с Великобританией, порожденный политикой СССР по «экспорту революции». Его следствием стало расторжение торговых отношений. Внутри страны этот, в сущности, провал советской внешней политики преподносился как подготовка к новой интервенции со стороны иностранных государств. На его фоне и началось нагнетание «предвоенного психоза».

столбам: «В целях социальной защиты, в соответствии с законами революционного времени...»

Теперь, в конце двадцатых, время уже не революционное — а черт знает какое. Но дело-то не в названиях, а в лицах, в которые она вглядывается, смешавшись с толпой. Пытаясь угадать: чему эти люди радуются? Один — должно быть, из мещан, морда поперек себя шире, — только что рук не потирает: пустят в расход, и правильно. И другие ему вторят: а то, вишь, разбогатели, разъелись на нэпманских хлебах... Ужо! Попили народной кровушки... Таперича наш черед.

Тут-то она и увидела. Не глазами — материнским нутом: подвал, стена. Кирпичная, выщербленная на высоту человеческого роста. У стены — во весь рост, друг подле друга — сыновья. Против них — эти, с маузерами, с пустыми лицами; не лица, а личины... Не успела ахнуть — кровь. Родная. Сыновняя.

Стало быть — ее. Пока шла обратно, все думала, ломала голову: а наша? Разве наша кровь не народная?.. Словно кто-то сжалился, склонился, шепнул ей в самое ухо: народная — значит, нищая. Нынче оно так.

Тем же вечером, растопив печь, она сожгла бумаги на собственность: береженого и Бог бережет...

Другие семейные бумаги, те, что мама называет метриками, судя по всему, сгорели еще раньше (если вообще существовали: до революции учет рождений и смертей велся в церковных книгах), — а иначе трудно объяснить перекрестные ошибки, которые встречаются в новых, советских метриках, выписанных, надо полагать, *со слов*. Со временем эти метрические несоответствия перекочевали в военные архивы. Так, в «Именном списке безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава» в качестве «места рождения» моего деда, Рябинина Василия Семеновича, указаны даже не Большие Погорелки

(где семья, бежав из родных мест, по первости скрывалась; где родился их четвертый сын, Гриша), а Борские (точнее: Барские — замену гласной оставим на совести полкового писаря), плюс к тому ошибочный год рождения: 1906 (в действительности 1905).

Когда мама рассказывает о своем отце и его братьях, первые строки звучат сказочным зачином:

— У бабушки Мани было четыре сына: старший — Александр, потом Василий, мой отец. За ним Андрей. Самый младший — Григорий, мой любимый дядя Гриша. Я звала его Гришей. Он старше меня на одиннадцать лет... — сказочная интонация сменяется будничной: — У Александра была жена, Екатерина Васильевна. Их — две родные сестры: Екатерина и Мария. Мария Васильевна вышла замуж за Андрея, у них было трое детей: Лидия, дома ее звали Лилей, Валентина и Алик, их младший брат. Алик умер в блокаду. А Витя, мой родной брат — в Финскую. Я тебе уже говорила: в нашей семье мальчики не живут... У Александра была дочка Женя. Перед войной он уволился с завода и перешел на новую работу. Охранником на зону. Вскоре его перевели. В Сибирь, на восток. Больше о них не вспоминали. Даже про Женю. Потом, уже после войны, Лиля, моя двоюродная сестра, говорила: никакой Жени не было. Дескать, я перепутала. Но я-то помню: Женя была...

Прошел год. Мы снова на даче. Мама ведет рассказ, я записываю на диктофон: кто-кем-кому приходится — слушаю, не запоминая подробностей. Потом, если понадобится, можно включить и послушать.

— Гришина жена — Александра. Такая простая девушка. Он с ней долго встречался, а потом они расстались, и она забеременела от другого, но Гриша все равно на ней женился. Потому что Гриша — это Гриша, из всего нашего рода самый необыкновенный человек... У нее, — мама опережает мой вопрос, — родился мальчик. Перед самой войной. В блокаду он тоже умер...

Вечер, веранда. Над столом, дубовым, на массивных деревянных ногах, висит желтый абажур, сделанный моими руками. Стол еле жив. Если приподнять, выпадает одна нога. Теперь его можно только двигать. И столешница местами вспухла от времени или от влаги — вода рукой по поверхности, я различаю каждую неровность...

Не то диво, что вещи переживают людей. А то, что и они хранят память.

Тень, лежавшая на моей памяти, уходит. Сквозь мамины, измененные временем черты проступает другое лицо. Лицо моей прабабки. Не мама — она, Мария Лукинична, сидит напротив меня за пустым столом. Ее спина прямая. Руки лежат на столешнице, пальцы едва заметно вздрагивают.

Мы — сообщающиеся сосуды: я чувствую внутреннюю дрожь. От осознания того, что эта старая женщина — ствол когда-то густой, раскидистой кроны рябининского дерева. Его нижние ветви давно обломаны: на крутых поворотах истории мужчины ломаются скорее. Женщины живут, тянут детей. Потом тоже умирают.

Из двух крайних дат, ее рождения и смерти, мама помнит только одну.

— Бабушка Маня умерла в тридцать седьмом, мне было шесть. Когда я увидела ее мертвую, я выбежала в коридор, билась головой, плакала. Мама меня потащила. Больше я ее не видела... Похоронили на Волковом кладбище. Рядом с мужем, Семеном Михайловичем. Потом, через два года, в бабушкину могилу подхоронили моего брата Витю. Помню, что слева от дороги, недалеко от церкви... На Волковом все было деревянное. Вот все и сожгли. В блокаду. Потом и могилы срыли. Восстанавливать ничего не разрешили. Да и как восстановишь, если документы пропали в войну...

Одни пропали, другие сожжены в печке: суть времени, заматающего следы.

Сидя за дубовым столом, я, ненадежная наследница, вслушиваюсь в ход ее мыслей: словно не только стол, но и мысли моей прабабки достались мне.

Раньше ей мечталось: сыновья вырастут, получают образование, хорошее, университетское. Продолжат семейное дело. Даст Бог, станут вровень с Мамонтовыми, Путиловыми, Третьяковыми. Ее детьми будет гордиться Россия...

Вчера, когда она вышла на улицу, мимо двигалась похоронная процессия. Навстречу, из-за угла, показалась рабочая колонна. Шли с флагами, с транспарантами, похожими на хоругви. Она подумала: переждут, уступят. Но гроб с кучкой провожающих оттеснили к обочине. Когда скорбная процессия двинулась дальше, только тогда она осознала, что не слышит литии, «вечной памяти». Идущие за гробом шли молча. Пели другие, шагающие в ногу: *кто был ничем, тот станет всем*.

Значит, вот как у них задумано: вывернуть наизнанку. Будто жизнь — костюм, который можно перелицевать.

Ну распороли. А дальше-то? Ведь так и лежит спорком. Сколько лет от их дурного переворота, а в продуктовых хоть шаром покати. Куда ни глянь: хвосты. За хлебом, за спичками, за постным маслом, за керосином.

Но ее боль — ткани. Штапели, ситцы...

Тайком, пока в ее сторону не смотрят, заходила, прикладывала руку (чтобы оценить качество, ей, мануфактурщице, всего-то и надо, что пощупать) и, едва коснувшись, отдергивала — такая от них исходила смертная тоска.

Петли изнаночного времени затягиваются, будто только и ждут своего часа. Да не просто ждут, а требуют: ты — мать, ты и решай.

В прошлой, лицевой жизни она научилась принимать решения. Ее тогдашними решениями российское время двигалось вперед. Теперь, когда время вздыбилось, вывернулось наизнанку, выбор не между прибылью и убытками.

У большевиков своя бухгалтерия — система счетов. О том, что стоит за кредитом, страшно подумать. Но она думает.

Чтобы опередить.

Выдвинуть ящик буфета, достать из ящика спорок жизни, прогладить горячим утюгом по старым швам — чтобы и следов не осталось: от успешной, год от году растущей фабрики; от роскошных, шелковых на ощупь ситцев; от весомых университетских дипломов — от планов на будущее: сыновей, а значит, страны.

Остается вывернуть наизнанку и сшить заново.

Что она и сделала твердой рукой. Материнским непрекаемым решением: «Семь классов — и на завод. Простыми рабочими».

И больше не говорила о прошлом. Вынула его из памяти, как занозу. Чтобы часом не загноилось. Жила, отгородившись от жизни. Радио не слушала, производственными успехами «молодой советской страны» не интересовалась — ни чугуном на душу населения, ни выплавками стали. К невестам сыновей не приглядывалась. Какая разница, кто на ком женится: женился — живи. К внукам относилась ровно: не то чтобы не любила — не возлагала надежд.

Вспоминая Марию Лукиничну, мама рассказывает о ней так: «Позовет, погрееет обед, но сама за стол не сядет — поставит тарелку и уйдет к себе». Будто не только я, правнучка, будто и внуки — «полукровки». Половина крови — своя, «рябининская», другая половина — советская.

«Из дома бабушка Маня не выходила. Даже в церковь». Со временем отстранилась и от домашних забот. По очередям мыкались невестки, они же колготились на кухне. Окружающие считали ее старухой. Но странной. Мама до сих пор удивляется: «Можешь себе представить, ни одного седого волоса. Голова — цвета воронова крыла».

Могу. Ведь если посчитать, прикинуть, пусть приблизительно: в тридцать седьмом, когда она умерла, ей едва перевалило за пятьдесят.

Тридцать второй, третий, четвертый... Она, благоразумная дева, сидит и ждет. Держит едва горящий светильник — не ее вина, что светильник, заправленный прогорклым маслом, нещадно чадит.

Мама помнит: «Последние годы бабушка Маня кашляла. Иногда жаловалась: дышать тяжело. И вообще она сильно похудела».

Сыновья, влившись в советскую жизнь, чада не замечают. Слыша глухой материнский кашель, грешат на туберкулез. От настойчивых просьб — показаться врачам — она отмахивается. Стараясь держать спину, сидит за пустым столом. Так и сидела до самого тридцать пятого, когда сын Андрей был вынужден бежать. (Он-то думал, будто стал всем: шутка ли, друг самого Кирова!..) Его побегу она не удивилась: чему удивляться, если вся ее жизнь — побег.

Месяца не прошло — новое дело. Старший, Александр, устроился на зону охранником.

Первое время навещал. И всегда днем — то ли смены у них ночные, то ли нарочно подгадывал, пока братья на работе. В комнату не заходил. Придет, постоит в коридоре. Будто и сам знает: он — отрезанный ломоть.

Если рассуждать здраво, его резоны понятны: «Дело Кирова» — кнут, занесенный над ним, братом своего беглого брата. Есть, однако, и пряник: отдельная жилплощадь. Да и зарплата: с заводской, рядового работяги, зарплату охранника не сравнить.

Но глядя ее глазами: он, ее сын, пошел в услужение к ларвам.

Тогда в ней и завязалась раковая опухоль. Унесшая ее жизнь раньше, чем она успела осознать: не она, мать, а он, ее старший сын, выбрал правильную стратегию. Стратегию спасения. Но не души, как в той, еще не вывернутой наизнанку, притче.

А жизни. *Этой ценой.*

На фронт его не отправили. Военные годы он отслужил на зоне. Вместо него погибали другие.

Другие ее мальчики погибли. Все.

Рябинин Василий Семенович. Ст. сержант. Погиб в бою 27.01.44. Место захоронения: Ленинградская обл., Лужский район, деревня Красные Горы.

Рябинин Андрей Семенович. Призван в Ленинграде. Военское звание неизвестно. Пропал без вести 3.08.41.

Рябинин Григорий Семенович. Сержант. Погиб в бою 03.03.42. Место захоронения: Ленинградская обл., Слуцкий район, поселок Усть-Ижора.

Рябинин Алик. Умер от голода в блокаду. Место захоронения: ров.

Рябинин Витя. Умер в 1939-м. Похоронен на Волковом кладбище. Место захоронения сровняли с землей.

Переживи она войну и блокаду, этот список безвозвратных потерь она вывела бы своей рукой. На последней странице семейного евангелия, где ее (мои) предки-староверы вели учет рождений и смертей.

Со духи праведных скончавшихся...

А дальше — тишина.

Интервью длиною в жизнь закончено. Мама устала. Она идет спать.

Из-за оврага, граничащего с нашим дачным участком, тянет сладковатой гарью. Под этот осенний запах, как под музыку небесных сфер, я пытаюсь понять: а если б дожидла — о чем бы она думала, перебирая их имена как четки? О давнем ли своем выборе, когда, выстраивая жизненную стратегию, решила сыграть на понижение? Или утешалась бы тем, что от русской судьбы не скроешься, какое решение ни прими...

Что я могу сделать в ее память... Жить, не разжимая кулак? Или разжать и сложить пальцы двоеперстием. Чтобы перекреститься твердо и непреклонно. Как это делала она.

Жест, свертывающий в жгут мою память.

Не безрассудство ли с моей стороны, идя у него на поводу, умножать догадки и домыслы — лишь бы заштопать малюсенький клочок ткани, протершийся до дыр задолго до моего рождения, как какое-нибудь платье на локтях.

Пора, пора мне прийти в себя. Закрыть трехстворчатое зеркало, на амальгаме которого «большая история» оставляет ускользающие следы. Чтобы встать лицом к лицу с тем очевидным фактом, что и я — моя личная история — ускользающее отражение. Как ни старайся договориться с зеркалом, сей факт невозможно отменить.

И тут уж ничего не поможет — даже то, что по странному стечению обстоятельств я родилась на свет памятной девочкой, чья жизнь — в отличие от многих детских жизней — началась с конца. С того памятного мгновения, когда, открыв глаза во тьме (младенческого беспамятства? вечности?), я осознала, что Смерть — есть. Она стоит за ширмой. Тогда, в свои четыре года, я задумала ее посрамить.

То, что на этом пути я потерпела поражение, не умаляет величия замысла.

Кому, в самом деле, не известно, что Смерть посрамляет и не такие замыслы — в особенности здесь, в моем родном городе, где она привыкла чувствовать себя хозяйкой и барыней, перед которой мы, бедные бесправные жители, обязаны ломать шапки. И горе тому, кто откажется сломать.

Снявши шапку, по волосам не плачут. Но и таким, опростоволосившимся, нам не мешает задуматься о времени, которое, застав нас врасплох в конце восьмидесятых, устремилось вперед. Оглядываясь на тот короткий его промежуток, впору задаться вопросом: что если время предприняло этот демарш с единственной целью — доказать, что мы, во всяком случае в его глазах, ничтошеньки не стоим; что не пройдет и дня (в переносном, историческом смысле), и нас, словно селевым канатом, потянет обратно. В изнаночную жизнь. А если это так,

не лучше ли признать добровольно, без предъявления иных, неопровержимых, доказательств: ему — вдохновителю и разоблачителю одновременно — удалось нас посрамить.

Неужели мы, дети «легкой» половины советского века, привыкнув к образу страны, для которой мы все, кого ни возьми, — пасынки и падчерицы, переносим эту пагубную привычку на образ смерти, полученный из вторых, а то и из третьих рук? (Хотя что это меняет? Ведь, как ни крути, мы родились и выросли в городе, где смерть — явление не отвлеченного, а самого что ни на есть реального порядка, и каждую минуту человеческого существования ее следует иметь в виду.) Неужели мы и явились-то на свет, чтобы всеми правдами-неправдами убедить ее в том, что *тоже* хорошие, не хуже ее любимчиков, которых давным-давно, еще во дни оны, она забрала, присвоила себе. Ах, как же нам хочется это доказать: мол, втайне, в глубине души, мы *тоже* не прочь совершить коллективное самоубийство, отказаться от неизвестного будущего ради неведомого прошлого, о котором только и умеем, что строить догадки — ведь до дна, до твердого донышка, нам никогда его не узнать.

Но, может быть, дело вовсе не в «нас», возмнивших себя победителями, а во мне — в моей жизненной стратегии, во всех отношениях подозрительной, зараженной тотальными, гибельными, смыслами. За которые рано или поздно придется дать ответ. (Тому, кто задавал вопросы, грешно бегать от ответов.)

Зато теперь я знаю: к смерти ведет та дорога, по которой время движется вспять.

Как знаю и то, что о ней, ленинградской смерти, ходят самые противоречивые легенды. Говорят, она бывает благоволительной. Если это правда, пусть исполнит мое последнее желание — единственное, что я по старой памяти о нашей встрече-невстрече у нее попрошу.

Что она потребует взамен, мне неизвестно (как-никак, а договор наш предварительный), но, если мы все-таки сумеем договориться, она закроет глаза на житейские обстоятельства, в силу которых я оказалась не на левом берегу Невы, где родилась и вошла в сознание, а на другой, Петроградской, стороне; подарит мне толику времени, позволит встать и собраться в дорогу, когда наступит срок.

Мое легкое на подъем воображение видит эту малую толику во всех подробностях — так, будто я уже встаю.

Чтобы не уходить из дома с тяжелым сердцем, я обязана все проверить: форточки, свет в кабинете, кофейную машину — убедиться, что она выключена, рычаг стоит на «off».

По привычке, оставшейся с давних пор, я приворачиваю газовый кран, хотя это совсем не обязательно: в немецких плитах за утечкой газа предусмотрен строгий контроль. Впрочем, здесь, на моей кухне, работает целая интернациональная бригада, которая все держит под контролем: посудомойка, стиральная машина — обе с функцией «аква-стоп»; японский холодильник — стоит не закрыть дверцу, подымает писк. Из отечественного одни электросети: если их перегрузить, вырубается электричество. Но и это не беда. Скорей, незадача, с которой легко справиться: всего-то и дел, что вздернуть рычажок.

Прощаясь с ними, своими умелыми помощниками, я делаю мысленную зарубку: надо не забыть рассказать о них Капитолине. Хотя... Все равно ведь не поверит. Махнет рукой: не выдумывай. Такого не бывает — скажи еще: электрический уют!..

Марии Лукиничне я представляю их иначе: они — работники моей домашней фабрики, служившие мне верой и правдой, не злоумышляя, не вынашивая тайных планов затопить или спалить мой дом.

Выйдя на лестничную площадку, я запираю дверь на оба замка. Так и не решив, как мне поступить с ключами

(сунуть в карман? оставить в почтовом ящике?), я спускаюсь во двор и, проскользнув дворовыми арками, сворачиваю в сторону Невы.

Пусть это будет не ночь, когда разведены мосты. Для одинокой дороги больше подходит сумрак — предвечерний, а лучше предутренний, когда еще не погасли фонари. Растворяясь в светлеющем небе, они, светильники, в которых вот-вот закончится масло, горят из последних сил.

Прежде чем выйти на мост, я оборачиваюсь в сторону крепости. Триста лет назад с нее начался город, по которому ходили герои моих мыслей — потом книг. В этом городе прошла и моя жизнь.

Безо всяких преувеличений ее можно назвать счастливой, ведь мне не выпало и сотой доли страданий, которые вынесли те, чей скромный мартиролог я столько лет держала в голове. Но теперь, отправляясь в последнюю в моей жизни эвакуацию, я смотрю не их, а своими собственными глазами.

Мои глаза видят небесную линию, над которой главенствует купол Исаакия. На него, как на маяк, я держу путь.

Мимо ангелов, облаченных в мраморные доспехи; мимо арки Сената и Синода, мимо замершего всадника, который все расставил по своим местам, сказав: «Здесь все божье и мое» — иду и думаю: всякая ленинградская душа рождается петербургской; всякая петербургская — ленинградской. Не на этом ли роковом несоответствии здесь все и держится? Не с него ли, как с подточенного водой постамента, все и рухнет? Но куда этого не случилось, мой город-памятник стоит.

Миновав здание Почтамта, я замедляю шаги. Сколько раз мне хотелось сюда вернуться, на эту улицу, теперь переименованную в Почтамтскую, где прошло мое дворовое детство, а значит, тут все мое и все мне под стать: и эти дома, довольно обшарпанные; и темная подворот-

ня, где мы играли в «вышибалы», и поднятая из руин — руками пленных немцев — парадная, в ней стоит сырая ленинградская *здохлоть* — запах, который не спутаешь ни с каким другим; и высокий чердак, где мы собирались дворовой компанией, где я травила романы.

Быть может, там, на краю пажитей, словно на чердаке моего детства, я соберу их всех, своих родных, кого никогда не видела, и буду рассказывать им о жизни, которой не видели они...

Но это потом. А пока я возвращаюсь на родину. Иду по Театральной площади — не одна, а с родителями: молодой мамой и не таким уж молодым отцом. Мы переходим на ту сторону, где стоит композитор Глинка, опоясанный полукружьем перил.

Дома ждет меня моя бабушка. Сейчас она скажет: ты устала, тебе пора спать.

Да, я очень устала. Осмысливать неосмыслимое. Отличать образ от подобия. Сокрушаться о том, что образ искупается образом, а подобие подобием — нет. Отделять видимое от невидимого. Вести себя опрометчиво и безрассудно.

Даже не верится, на что я потратила свою единственную жизнь...

Долгий день кончился. Родители спят. Не спит только бабушка, разговаривает со своим тихим Богом.

Мне надо уснуть, чтобы проснуться среди ночи и,глянув во тьму широко раскрытыми остановившимися глазами, убедиться: там, за ширмой, отгораживающей время от вечности, стоит смерть.

Вот я просыпаюсь, сдвигаю одеяло, вылезаю из кровати. (Осторожно, лишь бы ненароком не коснуться ширмы.) Бегу босиком по холодноватому полу, не оставляя следов.

Прежде чем пустить меня к себе, бабушка спрашивает: Хорошо заштопала?

Мне не хочется ее расстраивать, признаваться в том, что прошлое — не рваный носок. Скорее, игра — *пазл*: ма-

ленькие кривые кусочки; если сложить их правильно, получится картинка.

Я молчу, но бабушка все равно меня слышит.

Ишь ты! А если неправильно?.. Ладно, она говорит, не плачь, не надо плакать. Завтра мы их перемешаем, и ты начнешь заново.

Чтобы начать заново, нужно время. У меня его нет.

Ты про смерть? — бабушка улыбается (ответ ее улыбки бежит по потолку, ложится на темную ширму). Не надо ее бояться. Смерти нет. Она — ничто. Пустая выдумка. Когда мы проснемся, я все тебе расскажу...

Ах, как же мне уютно и тепло. Утром бабушка мне расскажет. Все, чего я еще не знаю. Про жизнь, про любовь, про радость. Про своего тихого Бога.

Зарывшись лицом в бабушкину подушку, я успею подумать: какое счастье, господи, какое счастье...

И тогда умру.

Оглавление

Раньше я знала, она бывает...	7
ГЛАВА ПЕРВАЯ	11
I	13
II	31
III	44
IV	65
V	85
VI	96
VII	105
VIII	117
IX	131
X	153
ГЛАВА ВТОРАЯ	157
I	159
II	168
III	176
IV	187
V	197
VI	205
VII	223
VIII	237
XI	248
X	259
XI	267
XII	283

Литературно-художественное издание

Чижова Елена Семеновна
ГОРОД, НАПИСАННЫЙ ПО ПАМЯТИ

16+

Главный редактор *Елена Шубина*
Редактор *Дана Сергеева*
Художественный редактор *Елисей Жбанов*
Корректоры *Ирина Волохова, Надежда Власенко*
Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 31.05.2019. Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.

Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 5483.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2019 г.

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,
пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Прозаик Елена Чижова — петербурженка в четвертом поколении; автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург, «самый прекрасный, таинственный, мистический город России», так или иначе (местом действия или одним из героев) присутствует в каждой книге писателя.

«Город, написанный по памяти» — роман-расследование, где Петербург становится городом памяти — личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам восстанавливает поистине захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-полукровка, которая «травит романы» дворовым друзьям на чердаке, — четыре поколения, хранящие память о событиях XX века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, тяжелое послевоенное время...

«Километров за тридцать до конечной станции мама сошла с поезда... До Ленинграда она добиралась на попутном грузовике. Одна. Дома, на 1-й Красноармейской, ее ждала пустая комната: из довоенной мебели осталась железная кровать. Впрочем, это маму нисколько не расстроило: главное — Ленинград.

Из радостей первых дней: все говорят по-ленинградски. Это чувство языка — чистого, вновь обретенного после долгой разлуки — осталось на всю жизнь».

ISBN 978-5-17-114492-0



9 785171 144920



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ